

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

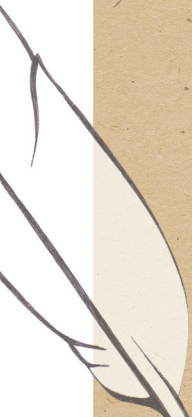
Журнал русской литературы

Книга седьмая

(III - 2006)

Verlag "Partner"

2006



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Ольга Бешенковская
Борис Вайнблат
Сергей Викман

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА СЕДЬМАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Кабанов. Поэзия — странное дело... Стихи	2
Юрий Малецкий. Конец иглы. <i>Неоконченная повесть</i>	8
Марк Харитонов. Геометрия невест. Стихи	79
Владимир Жуков. Три рассказа	87
Гонец из Пизы	
Доминирующий самец	
Сыворотка правды	
Мария Киселёва. Двойка. Рассказ	93
Сергей Шелковый. Там, где Камознс одноглазый... Стихи	95
Юрий Кудлач. Прометей, метро и Шурик. <i>Свободные вариации на полуантическую тему</i>	103

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Из немецких поэтов. Фридрих Гёльдерлин. Пауль Целан. Герта Мюллер. Перевод Бориса Шапиро	131
--	-----

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

Игнатий Ивановский. Фрагменты	137
--	-----

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Кирилл Померанцев. Сквозь смерть. Георгий Иванов. Владимир Алексеевич Смоленский	146
--	-----

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Кураев. Два эссе	154
Ключи от «Миргорода»	
Памятник Гоголю...	
Майя Туровская. Еврей и Достоевский	174
Марио Корти. «Откуда есть пошла»	176
Евгений Кочанов. Вращая разноцветный глобус (<i>продолжение</i>)	183

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Алексей Абакшин. Стихи	194
Коротко об авторах	199

Август, 2006

ПОЭЗИЯ – СТРАННОЕ ДЕЛО...

ОТКРЫВАЯ АМБАРНУЮ КНИГУ ЗИМЫ

Открывая амбарную книгу зимы,
снег заносит в нее скрупулезно:
ржавый плуг, потемневшие в холках – холмы,
и тебя, моя радость, по-слезно...

...пьяный в доску забор, от ворот поворот,
баню с видом на крымское утро.
Снег заносит: мычащий, некормленный скот,
наше счастье и прочую утварь.

И на зов счетовода летят из углов –
топоры, плоскогубцы и клещи...
Снег заносит: кацапов, жидов и хохлов –
и другие нехитрые вещи.

Снег заносит уснувшее в норах зверье,
след посланца с недоброю вестью.
И от вечного холода сердце мое
покрывается воском и шерстью.

Одинаковым почерком занесены
монастырь и нечистая сила,
будто все – не умрут, будто все – спасены,
а проснешься – исчезнут чернила.

* * *

Вот мы и встретились в самом начале
нашей разлуки: «Здравствуй-прощай»...
Поезд, бумажный пакетик печали, –
самое время заваривать чай.
Сладок еще поцелуев трофейный
воздух, лишь самую малость горчит...
Слышишь, «люблю», – напевает купейный,
плачет плацкартный, а общий – молчит.
Мир, по наитию, свеж и прекрасен:
чайный пакетик, пеньковая нить...
Это мгновение, друг мой, согласен,
даже стоп-краном не остановить.
Не растворить полустанок в окошке,
не размешать карамельную муть,

зимние звезды, как хлебные крошки,
сонной рукой не смахнуть. Не смахнуть.

ПТИХ

Моему ангелу

1.

Вот берешься за что-нибудь старое
и ненужное людям вообще.
Там, где окорок – виснет гитарою
у бессмертья на правом плече.

Где живешь голубиною почтою
в темноте на четыреста ватт.
И прибрежную рифмой неточною,
и любовью своей – виноват.

Вот берешься заделывать трещину
в небосводе чужих потолков
и с похмелья придумашь женщину,
феминистку, – и будешь таков.

В смысле этого масла прогорклого,
в свете льда на Каширском шоссе:
так пустынно и гарсиалорково,
что в себя – возвратятся – не все.

2.

Здесь – пригнись, осторожно – ступеньки,
видишь пьяный ларек у дороги?
За смешные для Киева деньги
я тебе напишу на хот-доге:

золотою горчицей – о Боге,
о любви – майонезом вчерашним,
я тебе напишу на хот-доге
быстро-быстро, нестрашно-нестрашно.

Что – вокруг небеса и потемки –
уподобились картам игральным...
...напоследок – немыслимо тонким,
острым кетчупом артериальным.

3.

В лошадином саду, где стреножены яблони, яблони,
чьи стволы до рассвета усыпаны дятлами, дятлами.

Если лошади – в яблоках, значит, и яблоки, яблоки –
над землею висят – в лошадях, будто бы дирижаблики!

Это самая честная в мире рекламная акция:
у меня в голове – революция и менструация.
Выбирайте, что хуже, и с ней выходите на площади,
лишь оставьте мне яблоки, там, где рифмуются – лошади.

ДИВЕРСАНТСКИЕ ПЕСЕНКИ

* * *

И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде.
Желтый провод – к песчаной косе, серебристый – к звезде над дорогой,
не жалей, перекусывай все, лишь – сиреневый провод не трогай.

Ты не трогай его потому, что поэзия – странное дело:
все, что надо, – рассеяло тьму и на воздух от счастья взлетело.
То, что раньше болело у всех – превратилось в сплошную щекотку,
эвкалиптовый падает снег, замедляя навеки слободку.

Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, потерявший империю злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок поцелую.
Липнут клавиши, стынут слова, вот и музыка просит повтора:
Times New Roman, ребенок иа., серый волк за окном монитора.

* * *

Если финики будут в финале,
значит – гоблины сменяют редут.
И меня на Обводном канале –
вокруг пальца опять обведут.

Этот город – сплошное коварство:
два билета на полный провал.
Повторяешь, как будто лекарство:
целовал, целовал, целовал.

Каждой твари влюбленной – по паре
в туристический сядет ковчег.
Не играй мне на синей гитаре
деревянными пальцами, снег.

Не протягивай фляжку с абсентом
и за ляжку меня не хватай.
Я родился секретным агентом
и в меня влюблена Гюльчатай.

Что ж ты, Господи, неразговорчив?
Я опять угодил в переплет –

и его разрисовывал Горчев,
потому что – Житинский не пьет.

Будто счастье всегда бестолково,
а любая легенда – ацтой.
И не выдаст меня Ямакова:
«Золотой, – говорит, – золотой...»

* * *

Рыжей масти в гостиной паркет –
здесь жокей колдовал над мастикой.
И вечерний бутылочный свет
был по вкусу приправлен гвоздикой.
За щекой абажура опять –
то ли Брамс, то ли шум Геллеспонта...
Хоть кента приглашай забухать,
хоть кентавра купай из брендспойта!
Вот стихов удила – поделом,
видно, выдохлись лошади эти...
И осталось уснуть за столом
и проснуться. В грядущем столетье.

СОБАЧЬЕ

Перед явкой с повинной, перед выходом во тьму –
люди пахнут мешковиной и зевают, как Муму.
И в рождественскую стужу, в ночь, протертую до дыр:
высыпается наружу – весь невыспавшийся мир.
Сколько радости щенячьей – столько бешенства в груди,
что с удавкой и удачей ты к нему не подходи.

Сын гипербол, внук парабол, в зимнем небе над Москвой
Саша звезды процарапал, словно в женской душевой.
Там, увы, не край державы и не крайские сады –
кафель в трещинах и ржавый, лошадиный шум воды.
Там фривольная монголка моет ноги при свече
и у Пушкина наколка «В.В. Путин» на плече.

Я – люблю тебя, наверно, ты – копаешься в вещах,
все мы – жертвы постмодерна и мадеры натошак.
За испорченные нервы, за пожизненный бардак –
нам подарены консервы для летающих собак.

Ждут Гавана и Сейшелы, ждут Аляска и Апсны...
И пускай скулят е-мейлы. В ноутбукке. До весны.

АППАНСИОНАТА

Море хрустит леденцой за щеками,
режется в покер, и похер ему

похолодание в Старом Крыму.
Вечером море топили щенками –
не дочитали в детстве «Муму»...
Вот санаторий писателей в море,
старых какателей пансионат:
чайки и чай, симпатичный юннат
(катер заправлен в штаны). И Оноре,
даже Бальзак, уже не виноват.
Даже бальзам, привезенный из Риги,
не окупает любовной интриги –
кончился калия перманганат...
Вечером – время воды и травы,
вечером – время гниет с головы.
Мертвый хирург продолжает лечить,
можно услышать – нельзя различить, –
хрупая снегом, вгрызаясь в хурму, –
море, которое в Старом Крыму.

* * *

Какое вдохновение – молчать,
особенно – на русском, на жаргоне.
А за окном, как роза в самогоне,
плывет луны прохладная печать.
Нет больше смысла – гнать понты, калякать,
по фене ботать, стричься в паханы.
Родная осень, импортная слякоть,
весь мир – сплошное ухо тишины.
Над кармою, над Библией карманной,
над картою (больничною?) страны –
Поэт – сплошное ухо тишины
с разбитой перепонкой барабанной...

Наш сын уснул. И ты, моя дотрога,
курносую вселенную храня,
не ведаешь: молчание – от Бога,
но знаешь, что ребенок – от меня.

КУРЕНИЕ ДЖА

Что-то потрескивает в папиросной бумаге:
как самосад с примесью конопли,
как самосуд в память о Кара-Даге,
и, затянувшись, смотришь на корабли.

Вечер позолотил краешек старой марли,
и сквозь нее проступают: мачты, мечты, слова –
складываются в молитву, в музыку Боба Марли,
в бритву, в покрытые пеной – крымские острова.

Мокрые валуны правильными кругами
расходятся от тебя, брошенного навсегда.
Но кто-то целует в шею и обхватывает ногами,
и ты выдыхаешь красный осколок льда.

Не зарекайся от сурьмы,
от охры и холста.
Когда январварство зимы
и Рождество Христа.

Херсонских плавней – мятный снег
в изюминках следов:
синицы, сойки – вниз и вверх,
с ветвей и проводов!

Не зарекайся от Днепра,
когда подледный лов.
Где прорубь на язык – остра,
и вся – в чешуйках слов.

О безбилетный ангел мой,
любитель постных щей,
останься, не спеши домой,
не собирай вещей.

Не расплетай на крыльях шерсть,
не допевай куплет,
в котором – Бог на свете есть,
а вот бессмертья – нет.

Что просто сгнули во тьме
и Пушкин, и Басе...
Ведь это будет, как по мне, –
нечестно. Вот и все.

Прощальный привкус коньяка,
посуды – вечный бой.
И день, надтреснутый слегка,
с каемкой голубой.

КОНЕЦ ИГЛЫ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

От автора. С незапамятных времён бродил я вокруг да около одной темы. 25 лет тому, как я впервые решился подступить к ней — и написал что-то вроде повести, встреченной теми, кто с ней ознакомился, в целом сочувственно; мне, однако, с тех пор и по сию пору всегда казалось, что *про это* я сказал тогда не так, не на том уровне, на котором *про это* надо говорить. То есть, за исключением лучших страниц, именно что сказал — и только. А сказать-то надо так, чтобы «слово стало плотью». Надо, непременно надо будет когда-нибудь это переписать... Когда-нибудь потом, когда напишем всё остальное.

Всякому «когда-нибудь» выходит срок, любое «когда-нибудь» — когда-нибудь становится «сегодня». Раньше или позже, но я был обречён подступить к теме ещё раз, попробовав одолеть поставленную ею самой планку со второй попытки. Вот оно и наступило, меня не спрашивая, — сегодня. И я написал повесть заново. Рано это или поздно — через четверть века? Это не вопрос. Вопрос только в результате.

Для автора-то, впрочем, и это не вопрос: с него, то есть, получается, с меня — «довольно сего сознания», простого ощущения, что сейчас повесть такова, какой и должна быть: что называется, «тема раскрыта» — и раскрыта, как мерещится автору, в уровень с темой. В смысле — именно такой я, как сегодня ретроспективно кажется, и хотел видеть повесть 25 лет назад. Или скажем иначе: теперь, в том виде и объёме, который она впитала, я ею «доволен» как «взыскательный художник» — пусть всякая взыскательность в отношении себя-любимого и самозвана, но для написавшего лакмусовой бумажкой является тот «медицинский факт», что, поставив последнее многоточие, автор с тех пор, наконец, мирно спит без сновторных.

По всему по этому вопрос — один единственный — только в том, будет ли доволен *взыскательный читатель*. Что ж, возможность ответа есть у каждого, кто пожелает дочитать эту принципиально не оконченную повесть до конца.

Да, напоследок: в детстве, отрочестве и юности я знал одну старуху, которая жила-жила да и умерла; знал и некоторые обстоятельства её жизни; ещё до первой попытки я уже знал, что тему надо будет «пропустить сквозь неё»; не знаю почему, но я счёл обязательным сохранить её точное имя-отчество-фамилию, а равно и часть жизненных обстоятельств, как и точные приметы времени её последних дней; остальное додумано или вообразено — «как вам больше понравится».

Юрий Малецкий

Памяти Г.А. Атливанниковой и каждого человека

...Живая жизнь давно уж позади.
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Ф. Тютчев

Старуха должна была умереть в простом порядке очередности: ей шел восемьдесят восьмой год; все ее знакомые сверстники умерли; теперь ее очередь.

Последним между нею и смертью стоял Марк. Марк Борисович Иткин, ее троюродный брат, стародавний, с детства, друг и некогда, в смутные времена 20-х, ее фиктивный муж и фиктивный отец ее дочери Зары. Вся его жизнь была сменой навязчивых целей, подчинявших его себе без остатка; уже несколько лет как эту целью стало – «умереть завтра». «Умереть? Да бога ради. После того, что я пережил и все время продолжаю переживать, пока живу, смерть – это чистый мед! Это бальзам на все мои раны! Да, да и еще раз да. Но не сегодня. Как раз сегодня я занят. Вот завтра – умру с превеликим удовольствием. Для того и живу еще, чтобы завтра – умереть с удовольствием». Очевидно, именно с этой целью Марк ежедневно ложился в 9, вставал в 5.30 и отмахивал не менее трех километров, следя по секундомеру, чтобы сделать в минуту не менее ста двадцати шагов. Ту же процедуру повторял он и перед сном; и что же? За свои усилия был он вознагражден, перенесся уже три инфаркта, а все оставаясь, если ему верить, «свежим, как рыночный творожок».

Такому торжеству оздоровительной физкультуры, помноженной на человеческую дисциплину, можно было только поаплодировать. Марк выигрывал «всухую»; увы, противник его был не из тех, у кого выигрывать можно до бесконечности. Последовал четвертый инфаркт – и смерть догнала скорохода. Игра была прервана самым бесцеремонным, да к тому ж и нечестным образом: продолжая вести в счете 3:1, Марк вынужден был унести свой выигрыш в могилу. Он умер.

Значит, перед ней – никого. Она крайняя; умирать теперь – ей.

Что ж, надо признать: вовремя. Восемьдесят семь это 87. Галя Абрамовна Атливанникова ослепла на один глаз – катаракта – и плохо видела вторым. Кончики пальцев ее словно ороговели, онемев от слишком медленного движения крови, почти не давая более осязательного опознания даже самых знакомых вещей. Еще в 34-м, после скарлатины, перенесенной во взрослом возрасте, она стала туговата на ухо, а в 57-м, похоронив единственную дочь, умершую во цвете лет нелепейшей смертью – от укуса клеща, – Галя Абрамовна от горя оглохла совсем.

Из пяти органов чувств в ее полном распоряжении оставались только два: обоняние и вкус; ноги еще как-то таскали ее, но давно уже не далее пределов ее квартиры. Она постоянно зябла и не снимала даже ночью зеленой шерстяной фуфайки, сохранившейся от времен средних классов гимназии; теперь та опять пришлась по росту; а если оставались силы, Галя Абрамовна наполняла еще грелку горячей водой и клала ее под одеяло в ноги.

Организм ее подобен был дому, где все коммуникации, когда-то устроенные на славу, с запасом прочности, попросту отслужили свое, продолжая как-то служить, расходуя запасной ресурс: батареи еще теплы, но горячими уже не станут, напор воды ослаб (но все же достаточно силен, чтобы рано или поздно пробить ржавые трубы), потолки протекают... Старуха постоянно чувствовала, как внутри ее что-то осыпается, словно кто-то там непрестанно отряхивался, и сознавала, что это не та экстренная, но частная авария, которую можно ликвидировать, а общее аварийное состояние, с которым ничего уже не поделаешь, – такие дома ставят на снос. Случается, о них забывают, а они неведомой силой стоят еще, живут еще, случается, живут годами своей невозможной жизнью – до тех пор, пока о них не вспомнят-таки, чтобы снести, парой ударов гири прекратив это безобразное чудо...

Но если б и можно было что-то починить в себе, Галя Абрамовна все равно не стала бы связываться. Давно уже чувствовала она: стоит пошевелиться, как сразу становится ощутимым, тяжелеет вокруг нее воздух и, словно бы загустевая, сдавливает слабеющее тело; как трудно это – сделать целое движение рукой или ногой. При всякой попытке движения она чувствовала себя как человек, бредущий

в воде по грудь, и это сопротивление давлению извне — только отнимало, понапрасну изнуряя, последние, такие необходимые силы.

Жизнь старухи была — остаток после вычитания почти всех физических способностей организма, работы почти всех органов чувств и, следовательно, утраты всех почти впечатлений бытия. Вернее сказать, жизнь ее и была — самое бытие, бытие не в-себе, а — как бы это сказать? а так, как скажется, — бытие не в-себе, а гуляющее само по себе, ничем почти, кроме себя самого, не заполненное, не вдающееся в собственные подробности за неимением их, почти уже бесформенно-чистое бытие. Существование ее из-жило, из-было себя — и, однако же, зачем-то задержалось здесь, на этом островке, окутанном туманами проваливающейся все время куда-то старческой памяти, на нейтральной полосе между жизнью и чем-то, где она не была ни разу, но знала, что все мы *там* будем. Будем, где нас не будет.

Но временами, временами — ее сознание выныривало из тумана, и вдруг выяснялось, что оно, ее *полное* сознание, и ум ее, рассудок — совсем не одно и то же, как она привыкла считать.

Рассудок ее явно ослаб, ум одряхлел, обработка простейшей информации, чтобы сделать простой же вывод (например: отключили горячую воду — значит, надо звонить в ЖЭК и выяснить, почему и когда включают, — но как ты это сделаешь, если глуха и даже не услышишь, подошли к телефону или нет? — а вот как: завтра придет Лилия, и если до завтра не включают, вот ее надо попросить все выяснить), давалась ей все с большим трудом, и главное, продолжать работу мысли на одном и том же уровне концентрации, так, чтобы одновременно и не забывать, о чем именно ты думаешь, и еще волоком продвигать свою мысль в дальнейшее рассмотрение того, о чем думаешь (целых два усилия в одном, будто левой рукой с трудом держишь вещь, а правой с трудом ее поворачиваешь в разные стороны), она могла крайне недолго, десяток-другой секунд — и все проваливалось в омывающую ее летейскую воду. Она могла помыслить и о самой этой летейской воде — с тем же результатом: Лета — река забвения (как все склеротики, она давно уже плохо помнила то, что было вчера, но хорошо — многое из того, чему учили незапамятно давно). Так. Река. Река — пресноводна. Это общеизвестно. Еще раз: Лета — река. В ней пресная вода. Тогда почему забвение так непроходимо плотно, не как пресная, а как густая от соли морская... что морская? морская... соль? Густая от соли морская соль? Вздор. Тогда — морская... болезнь? При чем тут болезнь? Какая болезнь? О чем я только что... что «только что»? что — что «только что»?.. А-а, все, ушло — не вернуть... Ну и ладно. Было б чего жалеть...

Так работала ее мысль; тогда как *полное* сознание ее, напротив, стоило ему неожиданно, вдруг, пробиться сквозь склеротические туманы памяти и завалы маразмизирующего ума, появлялось всегда живым, напряженным, болезненно цепким. Возможно, это была особая, самая важная, но, главное, особая часть ее разума, которая и думала, и чувствовала одновременно, только думала не мыслями и чувствовала не эмоциями, а работала... уколами? зарубками? зацепами? Как ни назвать эти действия, производившее их сознание опознавалось старухой безошибочно как *то же самое*, все то же, неизменное с первого момента ее детского опознания себя как *себя*. Это оно, всегда одно и то же, и было той нитью, что сшивает воедино сотни чувств и мыслей, тысячи раз засыпающих, исчезая, ночью и появляющихся сами собой поутру, сшивает их так, что они, могущие ведь, и спроста, всякое новое утро быть чувствами и мыслями другого человека или вообще быть мыслями и чувствами *ничьими*, мыслями и чувствами самими по себе, как зайчик, просто вышедшими погулять, — сшивает эти тьмы и тьмы разрывов, исчезновений и возникновений воедино, обеспечивая каждому из нас возможность

(или обрекая каждого на неизбежность) – от рождения до могилы, всякое утро всецело осознавать себя, сколь бы ты ни изменялся по пути от рождения к могиле и как ни хотел бы, может быть, однажды проснуться другим-собой, совсем другим, с другой судьбой, счастливее во всех отношениях, – все тем же, всегда тем же, совсем не другим, опять и опять все тем же, маленьким, большим, старым, но всегда Самим Собой.

Вот эта-то особая часть ее разума и чувства, опознаваемая ею самой как «я» (то есть сама себя опознающая), да, именно, всегда называемая ею самым коротким, самым распространенным в мире, самым простым и самым непонятным словом «я», – настырно бодрствует, не дает спокойно доживать-доминировать свой век, прорываясь судорожно, мучительными толчками сквозь оцепенение, сквозь все не-могу и не-хочу полумертвого тела, неотвязно коля и цепляя, изводя Галю Абрамовну тем, что еще совсем недавно – три дня или три часа, или три года назад? – она не могла сказать, не помнила, но еще совсем недавно – совершенно не волновало ее, было вне поля ее сердечно- и умо-зрения. Да, еще совсем недавно она по-житейски нормально, частица за частицей, уходила из жизни, но в целом была где была с момента рождения: тут, в жизни; она уходила плавно, а значит, замечая, да не замечая... Да, она была одинока, глуха, почти слепа и трудно движима, а разве ж это жизнь, но это кому как, а ей дали время освоиться с этой жизнью-не-жизнью, свикнуться со своей полужизнью, недожизнью со всеми удобствами, свить в ней гнездо привычки к *вот такой форме жизни*, а привычка – вторая натура, и где привычка – там уже и хоть малый, да комфорт... пожалуй, ей уже и не хотелось бы сейчас, предложи ей, снова стать такой полностью живой, как когда-то: она уже отвыкла от полноценного напряжения жизни и, пожалуй, испугалась бы его – все равно как сунуть палец в розетку.

Все было как обычно, как всегда в ее жизни – *до этого*. Жизнь всегда состояла из плохого и хорошего, то есть – из многочисленно-подробного; это не давало ни времени, ни желания биться над вопросами, на которые никто еще не дал мало-мальски удовлетворительного ответа. Имея на руках пожилую мать, дочь, взрослеющую не по дням, а по часам, и мужа, который до самого своего конца так и не смог, при всем искреннем своем желании, слиться с новым строем, встроиться в него настолько, чтобы сносно обеспечивать семью, Галя Абрамовна жила, с головой уйдя в земные заботы. Нет, правда, один Алексей Дмитриевич чего стоил с его бесконечными попытками вернуть былое благосостояние: с его разведением кроликов, которых раскормил он на славу, так, что они, вместо того, чтобы плодиться и размножаться с положенной им изумительной быстротой, обленились до такой степени, что перестали даже совокупляться, а все только спали да спали самым бесстыжим образом; со стадом коров, которое держал он в кооперативном хозяйстве за Волгой, стадом, в конце концов уменьшившимся до одной-единственной коровы, да и та вскорости околела; к чести его надо сказать, во все эти тяжкие пускался Алексей Дмитриевич, думая, что кто-кто, а он-то понимает в такого рода делах – и никак не мог взять он в толк, бывший безупречный управляющий образцовыми имениями графа Воронцова-Дашкова, что дела его нынешние не идут и не пойдут на лад уже никогда, и вовсе не потому, что допущена очередная ошибка в очередных расчетах, а потому, что новый строй требовал нового подхода... нового зрения...такого, проще сказать, поворота, а точнее, выворота ума, которого у Алексея Дмитриевича не то что не было, а который он именно как человек с хорошо поставленным умом старого образца и представить-то себе не мог, чтобы *такое* – да взять и пустить, как говорится, в пир и в мир и в добрые люди... Все же его знаний хватало на то, чтобы и при новой власти найти себе работу – счетовода; но уже то были далеко не те средства, к которым он

привык, а привычки его были не из тех, с которыми легко расстаться... словом, что с него, нежно любимого, взять? Одно слово – ребенок... Грудь не в крестах, так хоть голова не в кустах, что уже очень даже немало, по тогдашней шкале жизнеизмерения.

Говоря короче, Галя Абрамовна должна была в основном сама зарабатывать на семью из четырех человек; и она зарабатывала. Тогда еще как раз даже в приличных кругах привилось словечко «вкалывать», и, в отличие от большинства новых слов, оно ей пришлось по вкусу. В нем было что-то подходящее именно к ее профессии. Уж она вкалывала, будьте благонадежны; но она и получала. Сколько зарабатывала, столько и зарабатывала. Она зарабатывала хорошо и в 30-е, и в войну, когда на базаре сайка стоила 60 руб., а буханка черного – 399, а мясо стоило 60 руб. 100 граммов на щи; и позже. Она работала в поликлинике на Воскресенской (ныне Самарской) площади – человек предусмотрительный, она думала о государственной пенсии на старость лет – и приватно, на дому. У нее всегда была клиентура, и хотя она никогда не играла ни в какие игры с государством (за исключением одного раза, когда она была вынуждена сыграть, ставка была величиной в дальнейшую жизнь ее семьи – и выиграла, видимо, как новичок, но перепуга от этой игры хватило на десятки лет вперед), а значит, работала под вывеской на двери дома, а значит, декларировала частную деятельность, а значит, платила такие налоги, что мое вам почтение – от заработанного бублика оставалось чуть больше дырки, но при всем том даже в 43-м-44-м годах она могла себе позволить платить Лиле, как в хорошие времена, 10 руб. за стальную коронку (да, она вкалывала на совесть, но и Лиля у нее неплохо *заколачивала* – еще одно недурное словцо, – особенно для начинающего техника-протезиста, во всяком случае, в свои шестнадцать могла наравне с матерью – отец погиб «смертью храбрых» в мясорубке под родным Смоленском, так что мать успела еще получить треугольную похоронку перед их страшной, с бомбежками и вшами, восьмидневной эвакуацией последним эшелонам из Смоленска в Куйбышев, – кормить еще и малолетних брата и сестру).

Возможно (она всегда была самокритична), вполне возможно, Галя Абрамовна и не была дантистом экстра-класса, но у нее было качество едва ли не более важное, чем класс работы: доброжелательность. Ей как-то сразу, каким бы ни был пациент – а пациенты порой бывают капризны до не-могу, да еще и нетерпеливы к боли (а как без нее обтачивать зуб?), – удавалось настроиться на теплую волну доброжелательности, и, поставив коронку или мост, она совершенно искренне восклицала: «Прекрасно! Восхитительно! Совсем другой рот! Другой человек! Красавец!» И человек, только что сплевывавший мукой, смолотой старой бормашиной из его же собственного зуба, только что глухо стонавший, уходил домой с облегченно-радостным сознанием того, что все плохое позади, и вот оно, свершилось то, ради чего он, наконец, решился пострадать, прилично заплатив за свои же мучения: превращение его в человека, избавленного, наконец, от тягостной повинности постоянно следить на людях за своим ртом, чтобы тот не открывался более, чем это строго необходимо для принятия пищи, внятного произнесения фразы или кривоватой полуулыбки. Теперь он мог смеяться во весь рот, пусть обнажая стальные (чаще) или золотые (гораздо реже, с золотом частникам-надомникам иметь дело было опасно: откуда взял золото? скупаешь? у кого? – это грозило тюрьмой и конфискацией имущества, золото ставилось только людям с самой надежной рекомендацией и желательно «со своим металлом») фиксы, это не было красиво, но это уже было прилично, принято: пусть стальной, но мост – или дыра во рту! это отличалось, как раздеться догола в бане – или на улице.

Галя Абрамовна работала с утра до позднего вечера, время нарушилось, и не до того было, чтобы вспоминать, что трудиться в поте лица, то есть вкалывать — заповедано Адаму, мужчине, а не женщине, красивой, выросшей в весьма обеспеченной семье и окончившей классическую гимназию. Она залечила или удалила тьмы тьмущие зубов, замостила сотни ртов, осчастливив тем стольких же их владельцев, к моменту, когда необходимость вкалывать сократилась на четверть: в 54-м с Алексеем Дмитриевичем случился удар, слава богу, он умер сразу, без длительного паралича, она понимала, что так лучше и ему, и всем, но все равно долго не могла примириться с тем, что произошло. Пусть бы он жил, хоть лежал и все под себя, но жил, и пусть бы она вкалывала не меньше, а еще больше и ухаживала за ним, а он бы жил, ее родной, больной голубок, только бы жил. Галя Абрамовна любила мужа ровно и нежно (да, у нее была — кто без греха? — пара скоротечных увлечений на стороне, но и только — за тридцать лет совместной жизни) — она любила в нем все: отменные манеры, неизменную булавку в галстук, серые лучистые глаза, бархатный голос и шелковистые русые усы, откровенно старорежимные роскошные усы, доставлявшие своему хозяину кучу хлопот, которые он нес, лишь бы не расставаться с усладой своей жизни... а всего пуще она любила в нем удивительную, беззаветную любовь к ней и к Заре, которым до конца своих дней не уставал он приносить рано утром с рынка цветы и делать по поводу и без, всегда с полусмущенной, застенчиво-милой улыбкой, всякие подарочки и подарки, порой закладывая для этого, как выяснилось после его смерти, в ломбард свои безделушки, которых оставалось у него от старых времен немало, после всех и всяких обысков и изъятий, неведомо как — просто в прорешку какую-то закатилось да там и осталось, в укромном спокойном тепле. Да, Алексей Дмитриевич любил ее, и Зару любил как родную дочь; любил Зару и Марк, ее фиктивный отец, и тоже баловал, хоть и не так часто, зато, не в пример Алексею Дмитриевичу, был скуповат. У Зары было два отца, один по паспорту, другой по крови (его она не знала вовсе — даже фотографии Мирослава были еще *тогда* на всякий случай сожжены), но настоящим своим отцом она и считала, и любила как родного — отчима, Алексея Дмитриевича. Да, все баловали ее, даже бабушка Софья Иосифовна, мать Гали Абрамовны, женщина феноменально скаредная, умевшая сказать за столом полужнакомому мужчине, да еще пришедшему свататься к её дочери: «Что это Вы, Алексей Дмитрич, второй кусок пирога берете? Вы уж один съели», — даже она держала в своем огромном ларе, на котором и спала, постелив на него перину, и ключ от которого носила на шнурке на шее, конфеты «раковые шейки», «гусиные лапки» и сливочные тянучки по 33 руб. кило для внученьки и, вытаскивая их по одной и тут же заперев за собой ларь, протягивала Зарочке с той свиреполобовной гримасой, что появляется у пса-волкодава, увидевшего своего хозяина.

Все баловали Зарочку и пророчили ей долгую жизнь и светлое будущее; а она взяла и умерла в 57-м, всего через три года после своего отчима-отца, — от укуса клеща! Она была во цвете лет и красоты, унаследованной от матери, и работала уже не где-нибудь — в Москве, чтецом-декламатором, с самим Михаилом Александровичем, знаменитым тенором, — и надо же, чтобы на гастролях на Дальнем Востоке, то ли на Камчатке, то ли на Сахалине, ее укусил какой-то там клещ! Глупо, невозможно... Но — энцефалит.

Нелепейшая смерть! Нелепейшая. Нелепейшая и невозможная. Тогда она и оглохла совсем, от горя. Но и после Зариной смерти, и после смерти мамы еще несколько лет спустя — она продолжала жить нормальной жизнью, насколько это доступно глухому и одинокому. Она еще принимала пациентов, нечасто: много ли нужно ей одной сверх пенсии? Плюс к тому она уже пустила квартирантов, и тоже не столько из-за денег, сколько для того, чтобы не быть одной в опустевшем большом частном доме. Она тщательно убирала свою территорию — по три-четыре

часа в день, побуждая и квартирантов к тому же — с переменным успехом; и общалась чаще всего с Марком и женой его Софьей Ильиничной, давно уже как бы простившей Гале и Марку их когдатошний брак. Собственно, там и прощать было нечего, но Софа так никогда и не поверила, что достопамятный сей марьяж был и оставался чистейшей фикцией до того самого момента, когда он был расторгнут, чтобы заключить уже действительный брак с Алексеем Дмитриевичем; да, странно, что Софа никак не могла в это поверить, тогда как между ними действительно ничего не было, решительно ни-че-го: даже поцелуя, да и быть не могло: беременность, тяжелые роды, Зарочкины детские болезни, да еще мастит, сильнейшие боли в закаменевшей груди... А к тому же видеть мужчину в Марке, с которым она была дружна чуть не с пеленок, с которым они в детстве чуть ли не рядышком на горшочках сидели... увлечься Марком... да еще *тогда*? Дичь! Не понять этого не могла даже Софа. Но что ж она тогда себе представляла? Что она, Галя, могла быть близка с Марком п р о с т о т а к, без страсти или хотя бы увлечения..? «По дружбе», что ли? Чушь собачья. Увольте. Не в ее привычках. Конечно, всеобщая эмансипация захватила и ее, она всегда стояла за равноправие в любви; но именно в л ю б в и. Попросту, скотски совокупляться... Есть же какие-то границы во всем, всюду есть свои «можно» и «нельзя», и среди них — невозможность сойтись с мужчиной совсем уж просто, без тени того, что в ее сознании, воспитанном на Ибсене и Гамсуне, носило имя «любовь». Трижды — дичь.(Но это же — Софа! Надо ее знать!) Не говоря уж о том, что все эти годы не переставала она любить Алексея Дмитриевича, своего, она чувствовала это, суженого — Мирослав просто вовремя (или как раз не вовремя), в ту пору, когда так необоримо хотелось спрятаться в любовь, закутаться в нее от окружающего страха и тревоги, попал на чужое место, волею злого рока был послан заменой Алексея Дмитриевича, закинутого, по несчастью, гражданской войной на юг России, затем в Крым, пока, наконец, перспектива остаться управляющим уже *бывших* имений Воронцова-Дашкова не выяснилась окончательно; у него была возможность сесть на корабль и отчалить, но он остался в России, главным образом из-за нее, Гали; он остался и даже каким-то чудом добыл бумажку, что он — простой бухгалтер какого-то там предприятия, простой служащий, а не графский прихвостень; но и потом еще целых три года своенравная фортуна мешала ему соединиться со своей возлюбленной — только в 23-м задним числом узнал он, что Галин отец, человек убежденно синагогальный, не желавший ни в какую видеть свою дочь замужем за гоем и потому бывший единственным препятствием к их браку, умер еще в 18-м. Но не могло же, в конце концов, у Алексея Дмитриевича быть сколько угодно заместителей! Характерно, что сам он, в отличие от Софы Ильиничны, всегда понимал все правильно, и насчет Марка, и насчет Мирослава: последнего он Гале простил и забыл раз навсегда, в случае же с Марком он, нимало не ревнуя, — еще чего, напротив, горячо одобрил фиктивный брак, саму его столь правильную и своевременную идею — и сказал под конец: «Ну, а теперь он свое отслужил, самое время его расторгнуть и заключить другой, настоящий». Что и было сделано...

Да, она жила по-человечески, общалась с людьми. Завела блокнотик, и карандаш «Смена» с ластиком на тупом конце, и точилку. Ей писали, она отвечала вслух. Впрочем, со временем она как-то, не стараясь специально, научилась понимать большинство слов по движению губ, прося лишь отчетливо выговаривать, отстукивать звук за звуком. Писать нужно было только малоупотребительные или очень длинные слова. Но она любила и когда писали: тогда стачивался карандаш и надо было подтачивать его, а ей по-детски нравилось крутить точилку, и слышать рукой мягкий хруст, и видеть тонкую гофрированную стружку, и обонять запах слегка

нагревшейся от работы крашеной древесины. Для чтения она пользовалась не совершенно уже бесполезными очками, а лупой, прекрасной старой лупой в медной оправе – память о детских годах Алексея Дмитриевича. Галя Абрамовна могла поддержать любой разговор: она выписывала «Правду», «Известия» и местную «Волжскую коммуну» и внимательно прочитывала большую часть газетных материалов; она была в курсе всех событий, будь то космический полет Гагарина, убийство Лумумбы или Карибский кризис. Она могла и поспорить, особенно по поводу разоблачения культа личности Сталина и разгрома антипартийной группировки, всей этой камарильи Молотова, Маленкова, Кагановича и проч... Она решительно поддерживала линию ЦК вплоть до выноса тела из мавзолея: ясно как дважды два, что незаконная расправа со многими и многими честными сынами партии и народа, о чем потрясенно узнавали сейчас и сама эта партия, и сам этот народ, была злостным извращением ленинской линии партийного и государственного строительства.

Сказать правду, чтобы народ – да хоть бы она сама – и раньше совсем уж ничего не знал... Как не знать, когда у твоего же супруга всегда наготове портфельчик со всем необходимым? Как не знать, когда слухами земля полнится? Когда соседа их, отца Ксенофонтия Архангельского, милейшего, пожилого уже человека, взяли в 38-м считай что у нее на глазах. Попадья рассказывала: привечал, а то и прятал каких-то не как надо верующих – или как надо верующих, но слишком откровенно. Фанатиков. Разумеется, взяли и не выпустили, и больше никто о нем никогда ничего: контрреволюционное подполье; какой это подпункт статьи 58-й, тогдашний ребенок отчеканил бы – ночью разбуди. Но и попадья зажила после этого у себя дома еще недельки полторы, не больше, – и о ней тоже с тех пор никто никогда ничего.

Как не знать? И все же она с почти чистой совестью могла сказать: она знала – не зная. Она *как бы* знала одно, а *на самом деле* знала совсем другое. Одно касалось ее мужа, соседей, знакомых, другое – строительства нового мира. В каком-то смысле судьба ее мужа была для нее куда важнее некоего «исторического процесса», а в каком-то, особенно если этот исторический процесс обошел-таки стороной твою семью и вы не влипли в историю, общее было несравненно важнее частного. И ведь правда же, неприятно, но факт: Алексей Дмитриевич, вернись, пусть на минутку, в Россию старый строй, еще неизвестно – то есть именно известно – за кого был бы. А попы, самые приятные из них – это что-то до того отставшее от жизни, не от мира сего, такой пережиток истории, что сам собой просится в мир иной... Были две правды – малая и большая, и они были разведены между собой на астрономическое расстояние. Но теперь, когда и ей, и всему народу даже не то что разрешили или разъяснили, а просто подталкивали соединить «как бы» (оборот-паразит, но по-другому и не скажешь) и «на самом деле», вставить малую правду в большую, – теперь все выстраивалось в единый порядок вещей. В глазах перестало двоиться, и Галю Абрамовну, как и каждого честного, мыслящего человека это возвращение к ленинской норме партийного и государственного строительства радовало. Но из всякого правила есть исключение, и таким исключением был Марк с его вечной вожжой под хвостом. Его не радовало происходящее. Его очень давно уже ничто происходящее не радовало; но он молчал; но она знала. А тут он, наконец, заговорил. «Зачем столько шума? К чему вся эта возня? Я спрашиваю – к чему эта возня? Наломали дров, но все уже успокоилось хоть на чем-то – так пусть лихо лежит себе тихо. – Что ты имеешь в виду? – А ты не понимаешь, да? Она не понимает. Провели границу, установили исторический столб, на 37-м, но ведь сами же подают пример – раскапывать. Так теперь любой энтузиаст – а у нас страна энтузиастов – возьмет и начнет по их же примеру

копать еще дальше назад. Или вперед, какая разница, мы что, не жили все это время взад-вперед с тобой в стране?... в общем, пиши пропало. — Не понимаю — ты против восстановления исторической справедливости? — Что? Справедливость? Геля (он предпочитал ее настоящее имя русскому «Гая», закрепившемся за ней с начальных классов на всю жизнь в качестве полной формы, что придавало этому произведению детски-стихийного, допролетарского интернационализма неожиданную цыганскую удаль, надо сказать, так шедшую к ней в юности и молодости, что это откликнулось даже в том, что и дочь свою она назвала как-то по-цыгански), Геля, перед кем ты лепишь из себя дуру?... Или ты на самом деле? Тогда скажи — где и когда ты в последний раз видела в России справедливость? — Да сейчас. В центральных газетах. — Хе-хе, хе-хе-хе. Срезала. Пять с плюсом. Начетчица! — А ты — ограниченный человек. Мещанин! Ты никогда не слышал музыки революции. Никогда не любил и не понимал Блока. — И не вижу в этом ничего меня порочащего. От него не убудет, от меня тоже. Блок не полтинник, чтобы всем нравиться. А вот музыки этой самой я наслушался не меньше его, а поболее, он почти сразу сыграл в ящик под эту музыку, а мы с тобой еще пожили и послушали, и, строго между нами, не приведи Господь никому снова услышать эту кровавую какофонию. — Как ты можешь? Ты же образованный человек. Ты знаешь историю Европы. Там революции послужили колоссальным стимулом к... — Стии-имулом. Говорю же — начетчица. Во-первых, кто тебе сказал, что, например, в Австрии, где в восемнадцатом веке не было революций, хуже жилось, чем в тогдашней революционной Франции? Во-вторых, и во Франции всякое там либертэ-эгалитэ пошло гулять с простой вещи: одно сословие не захотело больше платить налоги за себя и еще за два сословия, почему-то от налогов освобожденных. И вот это действительно справедливо и, может быть, и стоит многой кровушки... хотя это еще бабушка надвое сказала. В Англии же всего через несколько лет после революции произошла реставрация, и все стало как было, с одной только разницей: воцарился принцип «король царствует, но не управляет». Не лезет не в свое дело, не мешает этому самому, чтоб его намочило, окаянному развитию, которое что при нем, что без него идет себе как идет, так, что каждый кладет прибыль в свой карман. А в Голландии — слышишь? — в Голландии третий переплет: маленькие Нидерланды, конечно, отстаивали свой кальвинизм, но в первую очередь не захотели больше кормить огромную Испанию, которой мало было есть за чужой счет, но ей подавай за чужой счет еще содержание армии — ты подумай, Испания захотела ввести в Нидерландах — кастильские законы. Устроить на севере Европы — юг! Тогда Голландия, просто чтобы не отдать концы, давай воевать, а как победили, то и разбогатели по-настоящему, исключительно для себя пуская в оборот свои денежки. Заметь — страна, в которой победила революция, сразу — с р а з у! — после *революционной* победы колонизирует Индонезию и Филиппины, то есть миллиона полтора-два человек становятся полными хозяевами двухсот миллионов душ населения. Как тебе нравятся такие революцион-нэры?! Словом, переплеты разные, а история одна: все крутится вокруг права самому распоряжаться своими деньгами, собственностью, и как к этому ни отнестись, в этом есть здравый смысл, и потому эти революции и послужили, как ты говоришь, стимулом — А у нас — что? За что боролись, а? Чтобы собственность у каждого — отобрать и чтобы каждый еще этому радовался и кричал: «Да здравствуют!». То есть *они* чтобы здравствовали, а те, кто *их* славят, пусть хоть передохнут, как мухи, но продолжают *их* славить. Как тебе это тройное сальто-мортале? Но ведь — удалось! Так сидите и радуйтесь! Наворочали умных дел, так хоть молчите. Все на новый лад, но как-то устаканилось, как не бывает у живых людей, но — получилось, на честном слове и на одном крыле, получилось возможное разве в Древнем Египте: порядок без собственности, когда — то есть никто, кроме верхних ста человек, в порядке не заинтересован, мыслимое ли дело? Но получилось! — Так и пусть себе его лежит

в мавзолее, кому он там мешает, он же там хлеба не просит, место есть, ну так и пусть, а то начали с него, а там и до второго доберутся, а вот уж тогда такая затрубит музыка, что и твой Блок бы уши позатыкал. — Да мы только что первыми вышли в космос, это значит, что мы находимся на высочайшем в мире витке развития, и ты это знаешь лучше меня, а говоришь, что мы хуже каких-то голландцев! Да я и слушать не хочу твою галиматью! — Космос, говоришь... А на кой черт нам этот космос, когда мы живем на земле, а в той части земли, где живем мы с тобой, Геля, мясо продается только на рынке, а в магазине «Мясо» — мяса-то нет. Ты-то его можешь себе позволить покупать и по рыночной цене, но как раз потому, что ты частница, а частника революция всегда, да и то не всегда, только терпела, по идее, при социализме-коммунизме вообще никаких таких частников, тебя, в частности, и быть-то не должно. Вас — абсолютное меньшинство, вы — отмираете, а революцию, кажется, делали в интересах большинства — по крайней мере, так *они* говорят? Ты старорежимный пережиток, Геля, вот ты кто, дорогая моя — и ты же меня не хочешь слушать! Нонсенс... А насчет «хуже», «лучше» — кто это знает...но мы таки другие, и я тебе так скажу, строго антр ну: русский человек талантлив, но без царя в голове, поэтому ему нужен царь на троне. Как ее ни назвать, нужна сильная рука. Так было при старом режиме, и он жил, пока его рука была сильна, и так еще вчера, плохо или хорошо, но надежно было при новом режиме. Но сегодня власть сама себя сечет, как унтер-офицерская вдова, и этим рубит сук, на котором сидит, и ты увидишь — добром это не кончится. Вот тогда я тебя и спрошу: к чему привела твоя справедливость?» — и Марк, запустивший было, забывшись как обычно, по безобразной привычке указательный палец в нос (ее всегда подмывало в этот момент дать ковыряле по руке, как она и поступала в детстве), вынимал его и поднимал торжествуя вверх.

Галя Абрамовна ценила политическое чутье Марка с той давней поры, когда он предложил ей, просто по давней, с детства, дружбе, подкрепленной каким-никаким родством, желая ей добра, сочетаться с ним новозаконным браком — расписаться, как стали говорить о ту пору, — чтобы дать свою фамилию ребенку. И если бы она его тогда не послушалась и не сыграла в эту единственную в ее жизни игру с государством, и Зара в метрике писалась бы не «Зара Марковна Иткина», то непременно всплыло бы имя ее действительного отца — и не тогда, так лет через пятнадцать, когда пошли по новому кругу, и уже очень тщательно, все эти проверки и перепроверки, выяснилось бы, и очень скоро, что за всем своим якобы искренним просоветским настроем скрывается бывшая любовница белочеха, больше того — имеет ублюдка от матерого вражины и, стало быть, наверняка поддерживает связь с заграничным разведцентром... Ох, как крупно тогда не поздоровилось бы им всем, и ей, и Зарочке, да и Алексею Дмитриевичу с его липовой справкой, тут только обрати на себя внимание, только вызови желание копнуть поглубже — еще достаточно оставалось в городе людей, помнивших его действительный «род занятий до октября 1917 года». (Все же почему на него никто так в те времена и не капнул? Есть, выходит, люди, которые совсем ни у кого не вызывают желания испортить им жизнь, редко, но встречаются; да, она счастливица, у нее был удивительный муж, золото 96-й пробы.)

И все-таки сейчас согласиться с Марком она не могла. Если революция привела только к тому, что одного царя сменили на другого, а демократия в России чревата только развалом, — тогда чего ради вообще произошло то, что произошло? Чего ради ломали все подряд? Ради чего жили и умирали? И убивали! Да, вот именно главное — чего ради столько людей поубивало друг друга? Чтобы ликвидировать неграмотность? Да лучше б жили тогда, неграмотные, но живые...

Нет, все не так, Марк вечно все сводил к собственности, и кроме того, ему хоть умри — но дай поязвить. И сейчас он просто играл на том, что *тогда* и ей самой — все происходящее казалось ужасным. Не таким, каким должно было быть

по всем светлым ожиданиям чего-то великого и прекрасного, по всем тем книжкам, что читали они под партой... Хотя что значит – казалось? Тут он прав – оно не только казалось, это время *было* ужасным!

Ей не забыть небывалый 18-й; не забыть, как вошедшие в Самару белочехи вели под конвоем из четырех солдат Франциска Венцека – председателя ревтрибунала, вели его по Фабричной (теперь, конечно же, улица Венцека). Туда сбежалась, кажется, вся Самара, и она тоже была там. «Зверь! – раздалось в толпе. – Бей зверя!» Какая-то дама кинулась и ударила зонтиком по голове едва волочащего ноги, словно в дремоте *муки* бредущего под конвоем человека, который еще недавно выносил неумолимые приговоры чьим-то мужьям или отцам из находящихся здесь, и сейчас ему не приходилось ждать пощады, да он и не ждал ее, и вообще, вероятно, был не способен чего-то ждать. Его голова качалась, как одуванчик, на тонком стебельке шеи, он поднял ее с трудом и поглядел перед собой, случайно, прямо в ее глаза, и Галя увидела на миг его глаза... цвета сырой печени, наполненной свежей кровью. Взгляд его был непереносим, остро передавая непереносимость того, что чувствовал сам человек с такими глазами; казалось сейчас из них не слезы хлынут, а кровь. Ее распирал крик, чтобы его оставили в покое: что бы ни сотворил этот человек, любой человек, ни одного из людей, даже нечеловеческих, нельзя доводить до того, что стояло сейчас в этих глазах, полных сейчас своей, не чужой кровью... это нельзя, нельзя!.. Но крик почему-то замер в ее горле, а еще через долю секунды вся огромная толпа приличных в большинстве своем людей сорвалась с места, отшвырнув в сторону равнодушных чехов с их винтовками и штыками, куда менее страшными, почти детскими по сравнению с этими грозными зонтами, руками, ногами; она еще успела увидеть разорванное плечо пиджака Венцека, откуда торчала грязно-серая вата, а потом – только ходили ходуном десятки кулаков, ног, зонтов. А сверху шел грибной дождь, прибивая поднявшуюся летнюю пыль, и пахло озоном...

Белочехи и «народная армия» Комуча¹ били красных, красные – белых, где-то неподалеку от Самары, в приволжской степи, в Бузулуке, Белебее, то приближаясь к Самаре, то удаляясь, чтобы вернуться, возникла какая-то дикая дивизия, предводительствуемая, как говорили, каким-то ужасным «Чапаем» (почти двадцать лет спустя она увидела фильм «Чапаев», и с тех пор в сознании их стало двое: один страшно-страшный, по всем слухам и ожиданиям, «лихой человек», и второй, настоящий русский герой, душевный-хороший-прехороший; оба носили одно имя, но кроме наименования их ничто в ее сознании не соединяло), а в октябре уже не дивизия, а целая армия Чапаева вместе с армией Гая вошла-таки в город – триумфально. Ей надо было бы вообще-то встречать триумфаторов, обоих командармов, цветами, победившая сторона была, согласно ее убеждениям, ее, априори выбранной ею революционной стороной; но почему-то желания *их* увидеть, вопреки убеждениям, не было никакого, а вот страх – был... Где-то в отдалении, как детская трещотка, трещал пулемет – тогда она еще хорошо слышала! И так

¹ Комуч (Комитет Учредительного собрания) – остатки разогнанного большевиками зимой 1918-го года всенародно избранного Учредительного собрания, летом того же 18-го года в Самаре объявившие себя верховной властью России. Просуществовал с 8-го июня по 7-е октября 1918-го года; опирался в первую очередь на военную силу Белочешского военного корпуса, сформированного из пленных чехов и словаков ещё царским правительством и отправленным на фронт на стороне Антанты (что оказалось возможным благодаря их сильным сепаратистским настроениям в составе Австро-Венгрии), но в ситуации тройной смены власти в России «забытого» по дороге на фронт большевиками и растянувшегося при этом на территории России от Поволжья до Иркутска; помимо белочехов, имел собственную армию в 30 тыс. штыков, набранную, в отличие от большевистской или колчаковской мобилизации, исключительно убеждением.

продолжалось целых четыре нескончаемых месяца, 4 месяца, с начала июня по начало октября. Вздумшие трупы плыли и плыли по воде, как бревна, пока Самарка не замерзла, — за город боролись, кажется, в основном позади его, не с Волги, где крутой берег и отсутствие мостов мешали и той и другой противоборствующим сторонам, — впрочем, может, были и третья, и четвертая стороны... Она, как и все вокруг, устала вдумываться в происходящее, непосильное для души даже не столько кровавостью своей, сколько невиданной и неслыханной прежде в этом всегда спокойном городе — даже известное на всю Россию самарское хулиганье было каким-то лениво-спокойным, по-своему упорядоченным — буйной неразберихой.

А потом окончательно водворились новые венцеки, в дикарской черной коже, и прилично одетому человеку лучше стало не высовывать носа на улицу; но и дома стены больше не помогали, людей уводили из их домов; и некоторые, случалось, возвращались.

Да, оно было ужасным, то время — и оправдать и его, и то, что было после, лет через пятнадцать-двадцать, могло только одно: историческая необходимость. Но ведь она же явила себя, эта необходимость, мы построили первое в истории, могучее социалистическое государство, ликвидировали неравенство, безработицу и безграмотность, истребили оспу, чуму и холеру, дали всем бесплатную медицину и образование, выиграла великую войну и отстроили страну заново... Наконец, что бы ни говорил Марк, мы таки первыми вышли в космос! Как можно перед лицом этой очевидности не то что согласиться с Марком, но — не назвать все это вздором — или хуже — передергиванием и подтасовкой фактов?..

Так они спорили часами; а Софья Ильинична слушала и глядела нехорошо, ревниво, но, будучи женщиной воспитанной, да и сама понимая, что в ее шестьдесят три ревновать смешно, вмешивалась в разговор только чтобы поддержать беседу на доступном ей уровне, сказав: «Все так, но, между нами, метрополитен имени Кагановича — это звучало». Или: «Ты заметила, что крабы исчезли? Как хочешь, а раньше такого безобразия быть не могло». А прощаясь с Галей Абрамовной, нежно поправляла у той на груди бисерную «летучую мышь».

Было, было ей чем занять свое существование; тем более, что тогда у нее уже квартировали Понаровские, лет что-то пять или шесть, пока Семену не дали квартиру от 4ГПЗ, в ДК которого он работал хормейстером. Одна борьба с безалаберностью этой молодой четы чего стоила; и когда Лиля приходила с работы, в ее комнате ее ждали чулки или туфли, торжественно водруженные в центр обеденного стола, или еще какой-нибудь сюрприз в этом роде.

А еще ведь надо было поддерживать порядок на могиле мужа, а потом и на Зариной могилке, потом и на могиле матери; Зарочке она поставила небольшой гранитный памятник с выбитой на камне надписью, сочиненной ею самой: «Доченька, память о тебе в наших сердцах вечна, как вечна жизнь, безмерно любимая тобою»; а через полгода угол памятника отбили, выкололи глазки на Зариной фотокарточке и нарисовали на памятнике виселицу и на ней шестиконечную звезду. Галя Абрамовна расстроилась, но сочла эту безобразную выходку обыкновенным хулиганством. Она всегда думала и продолжала думать теперь, что с еврейским вопросом в стране на государственном уровне покончено, этого печального наследия царизма больше не существует, бытовой же антисемитизм, может быть, и в самом деле столь же непреходящ, как, например, русское пьянство, но живем же вместе, и трезвые, и пьяные, и ничего, и потом это как к людям отнестись — она, например, никогда не ожидала ни от кого антисемитских выходок — и никто никогда, по крайней мере, в лицо ей не говорил глупых гадостей, даже в злующих очередях военного времени. Но, конечно, есть тип еврея-активиста, правильно она говорит? еще бы нет — всегда и во всех лихорадочно ищущего антисемитов,

а кто ищет — тот всегда найдет. Ей было больно, но она спокойно занялась реставрацией памятника, благо имела вторую такую же, любимую фотографию доченьки, и посадила еще незабудки, и ноготки, и две аккуратные синие елочки, чтобы росли и охраняли памятник с двух сторон.

Словом, у нее хватало дел, подходящих человеку в осенне-зимнюю, пенсионную пору жизни. Безусловно, внутренняя картина мира, ориентация в нем сильно отличала Галю Абрамовну от слышащего большинства, восприятие ее, лишенное, подобно немому кино, идущему без аккомпанемента, того ритмического стержня, который не только обеспечивает постоянное напряжение сюжету жизни, но и делает его именно сюжетом, то есть чем-то, протекающим во времени, следующим от чего-то к чему-то, — восприятие ее превращалось, таким образом, в ряд вспыхивающих и гаснущих кадров, так что она перестала ощущать непрерывность и последовательность временного потока, соединяя все впечатления от жизни вне-временной, не последовательной связью — то, что было вчера, могло казаться ей более поздним, чем то, что произошло сегодня утром; иногда же все и вообще запутывалось, так как вдруг включившаяся слуховая память могла наложить зримое настоящее на фонограмму прошлого, простейшим примером чего мог служить цокающий копытами трамвай, или солнце, светившее на безоблачном небе под сильный шум ливня и раскаты грома, или дети, беззаботно играющие в песочнице под треск пулемета. А могло быть и так, что вдруг посреди людей на автобусной остановке начинал совершенно вслух звучать ее же собственный голос, каким он был в юности; и странно, что никто в автобусной очереди не оборачивался на этот девичий голос, читающий на выпускном вечере отрывок из «Виктории» Гамсуна. «Зажгли лампы, и мнѣ стало гораздо свѣтлѣе, — почти пел этот голос. — Я лежала в глубокомъ забытѣи и снова была далѣко отъ земли. Слава Богу, теперь мнѣ было не такъ страшно, какъ прежде, я даже слышала тихую музыку, и прежде всего не было темно. Я такъ благодарна. Но теперь я больше уже не въ силахъ писать. Прощайте, мой возлюбленный...»² Этот голос, и эти слова, и все утраченные ныне в русской орфографии, но все же чуть слышные при чтении глазами, нежные, как выдох, «ять» и «ер» в них...

Возможно, даже наверное, сознание глухой старухи могло называться не совсем нормальным — в силу особой сосредоточенности, болезненной цепкости, — как сказано уже, не обдумывания, на которые она не была сейчас способна в полной мере, а вот этих зацепов-зарубок, заклиниваний и уколов, — навязчивой боязни уйти в сторону, сбиться, не прочувствовать зацеп-вопрос и клин-ответ до конца, до полной отчетливости, не мыслимой, но осязательно-укольно или режуще говорившей ей, если перевести на язык мысли: «Так, это ясно» — или: «Нет, все равно не могу понять». Работа этого ее внемысленного сознания в высшей степени носила характер охоты, охоты кошки за появившейся и тут же ускользающей мышью (что, впрочем, естественно для человека, лишенного большинства внешних раздражителей, переключающих и рассеивающих обычное сознание); и, однако же, поведение Гали Абрамовны, равно как и самый склад ее представлений о мире, были такими же, как у большинства людей, и даже представленная в последнее, уже намотавшее немало лет время, почти целиком своему одиночеству, она жила делами текущими, ухитряясь находить или изобретать их, эти ежедневные дела. И дни ее шли, и жизнь, плавно убывая, все не кончалась; а значит, она жила; а стало быть, делала все, что положено живому: ела, пила, спала. Спала плохо, зато ела хорошо. Выходит, в целом жила неплохо. И ненормально-цепкая работа ее колюще-цепляющего сознания посвящалась вещам самым обычным. Нормальным. Других не было. Пока не произошло **это**.

² Перевод Ю. Балтрушайтиса

Случилось **это** после очередного разговора с Лилей. Та, давно уже переехав (как и Галя Абрамовна, переехала из снесенного дома в данную ей взамен однокомнатную квартиру), приходила почти всегда два-три раза в неделю по вечерам, чтобы принести ей поесть; ведь сама она уже лет пять как не в состоянии была выйти отовариться, да еще в несколько магазинов сразу, да еще и на рынок. О приходе Лили сигнализировало включение сильной, в 150 свечей лампочки, служившей ей вместо звонка. Лиля принесла две булки, которые теперь назывались городскими, но которые старуха по старой памяти продолжала именовать французскими, половинку черного орловского, превкусные свои голубцы с прижаристой корочкой, наваристый куриный бульон и еще всякую всячину. Старуха привычно сказала: «Зачем так много, Лилечка? И все такое вкусное – ум отъешь. Разве можно так баловать? Чего доброго, и умирать расхочется». Она очень любила Лилину стряпню и даже сейчас, когда следила за Лилей, опасаясь, что та хочет ее отравить, не могла удержаться, чтобы не съесть в конце концов все подчистую. Затем она в который уж раз, почти ритуально, принялась жаловаться: жизнь опостылела, а смерти все нет и нет. А зачем ей жить, глухой одинокой полуслепой почти девяностолетней развалине, которой требуется полчаса, чтобы доковылять до туалета, да и там сил нет потужиться как следует, при ее запорах? Пора, давно пора на вечный покой, отдохнуть как следует. Стряхнуть, наконец, весь этот грязный песок, который из нее сыплется. И кому это нужно, чтобы она жила? Никому. Никому она не нужна. «Галя Абрамовна, что вы говорите!» – возмутилась Лиля, конечно, только для виду, и все равно это было приятно: теперь можно было повторить; и она повторила гулким, каркающим голосом глухого: «Ни-ко-му, Лилечка. Совершенно никому, и уверяю, себе тоже», – прислушиваясь к острому, едкому наслаждению собственным сиротством, вошедшему в нее от своих слов. Ведь у нее так мало осталось удовольствий! Одно только чувство сиротства, будучи высказано, поведано, могло еще привнести какую-то остроту жизни в ее цепенеющую душу, как-то увлажнить ее иссохшее вещество.

Они немного посмотрели телевизор. Галя Абрамовна до недавнего времени любила телевизор, особенно программу «Время»: ей нравилось, что она могла увидеть выступления руководителей страны, а узнать содержание их выступлений и сообщений, зачитываемых ведущими, отдельно, по газетам; это позволяло ей пережить одно событие дважды. Немота телевидения не слишком мешала ей. Собственно, первые телевизоры появились в городе как раз когда она оглохла; таким образом, она раз навсегда восприняла телевизор как систему изображения, отделенную от звука. Но не мешало же ей это в юности смотреть немое кино. Да и вообще она относилась к своей глухоте спокойно, не испытывая обычной у глухих антипатии, а то и злобы по отношению к слышащим, – может быть, потому, что и сама шестьдесят лет находилась в числе слышащих и вполне понимала их психологию. А может, все объяснялось еще проще – все той же ее доброжелательностью, открытостью и отсутствием предубежденности к кому бы то ни было...

(Кстати, это ее счастливое свойство выручало ее постоянно, в особенности в 19-м, когда ее хотя и охлажденные переживаемым – в 18-м-19-м все были равны по яростному спокойствию, если не злорадному сладострастию, с которым проливали чужую кровь, и если красные и отличались в этом от белых, то разве в еще худшую сторону, – но изначально искренние симпатии к большевикам – исключая или почти исключая чекистов: если уж проливать чужую кровь, то кровь вооруженных людей и в бою, – тогда они еще совсем не были так уверены в себе и своей власти и для них еще было небезразлично, кто как к ним относится на самом деле, – то есть симпатия к марксизму, а вследствие того и к его отечественным представителям, как бы они ни свирепели – еще и еще раз: тогда свирепели все, и лучше уж было держаться тех, кого ты уже выбрал ранее, – сложная история,

но эта ее открытость и симпатия принесли ей охранную грамоту на ее дом, выданную «пожизненно». И это несмотря на то, что все то время, пока в городе стояли белочехи, у них квартировал поручик Мирослав Штедлы, адъютант самого полковника Чечека, командующего Поволжской группой Чехословацкого корпуса! Конечно, узнай они потом, когда она родила, что Мирослав – отец Зары, их доброе отношение тут же бы и кончилось; но у Марка вовремя появилась мысль, и удалось эту мысль сделать былью, хотя она была как раз полной небылицей, и теперь – во-первых, она всегда могла сказать чистую правду, что вооруженные люди не спрашивали слабую женщину, возьмет она такого квартиранта или нет в зависимости от ее убеждений – вселили и радуйся, что саму не выселили; во-вторых же – те красные, что, выбив белых, пришли в октябре 18-го на место выбитых белыми красных в июне 18-го, в пальбе и суматохе не очень вдавались в то, кто у кого до их прихода квартировал, и после того, как она сама, безо всякого давления, пришла, молодая и красивая, к *ним* и искренне предложила свой не самый малый, хоть и одноэтажный, дом в качестве помещения для раненых красноармейцев, революционную репутацию «товарищ Атливанниковой» никто больше не ставил под сомнение... Нет, но все-таки, если бы они узнали, что Зара... Спасибо, спасибо Марку, спасибо его вечной вожже под хвостом, из-за которой так тяжело порой было с ним, ехидиной, разговаривать, но которая всегда подхлестывала его к тому, что, если уж у него завелась идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял... И надо сказать, охранная грамота верно хранила ее дом все те почти три года, с 21-го по 23-й, пока она жила у матери в Стерлитамаке, подальше от страшного голода в Поволжье, когда по губернским деревням ели конские лепешки, и голод подступал уже к самой Самаре, да и от великого множества голодных окрест, сжимавших вокруг города все более тесное кольцо, становилось все более не по себе).

Из нынешних руководителей – все они были для нее немые, и оценивать даже самого главного и куда чаще других показываемого по телевидению приходилось только по внешнему виду, – ей и нравился более всех самый главный, Брежнев, лет восемь-десять назад просто импозантный, как она и говорила Лиле, но и сейчас еще очень приличный, она бы сказала – видный мужчина, степенный, как и подобает представителю великой державы, в летах, однако же совсем еще не старый – что такое 70 лет? Во всех отношениях достойный возраст, когда человек уже умудрен жизнью, но еще полон разума и сил; особенно ей нравилось, когда его поздравляли пионеры и Леонид Ильич всегда немного плакал, растроганный: это обличало в нем человека с сердцем.

Однако последнее время ей что-то разонравилось смотреть – не только телевизор, но вообще смотреть. «Что такое, Лилечка? Не понимаю, куда исчезли все краски? Раньше все кругом было цветное, а теперь черно-белое. Как по телевидению. Что это, как думаете? Неужели мир выцветает? Хотя вообще-то, может быть, ему и пора – он уже такой старый, еще старше меня. Столько лет каждое лето выгорать на солнце...» Она с трудом прочитывала теперь даже при помощи лупы одну газету вместо трех и с грустью глядела на книжный шкаф, где, как она знала, должны были стоять дореволюционные томики Пушкиншевского и Гамсуна издательства А.Ф. Маркса, три тома Чехова, «Моя жизнь в искусстве», оставшаяся от Зары, «Анна Каренина», «Женщина в белом», «Консуэло»... Теперь она уже не могла больше читать их более нескольких минут без сильнейшего зрительного напряжения, на которое не было сил. «И это у меня отнято, Лилечка... Пора, пора на покой. Зажилась – и как-то не заметила, что пережила саму себя», – и Лиля снова возмущалась, а Галя Абрамовна снова с удовольствием видела ее насквозь. Потом Лиля привычно рассказывала о своих семейных делах; это была многосерийная семейная хроника, очередное продолжение которой всегда занимало

старуху, привыкшую к одним и тем же, по-домашнему ей знакомым героям и к тому, что всегда следовало продолжение и никогда – окончание. Она сколь могла живо реагировала на очередное награждение Семена грамотой областного Управления культуры или вылет Вити, двадцатидвухлетнего сына Понаровских, с очередной работы. «Но чем же он занимается? Компания, девочки? Выпивает?! Мы как-то ухитрились в его годы обойтись без водки. Чай, варенье, баранки, шарады, буриме... Но водка... в будний день... чтобы девушки позволяли себе?... Не понимаю! А чем он все-таки хочет заняться? Двадцать два – взрослый возраст; тем более, человек уже отслужил в армии». То, по словам Лили, это была макаронная фабрика, то сапожная мастерская, то – работа официантом в летнем кафе «Отдых». «Но это же несерьезно. Чего он хочет на самом деле? Чем занимается для души? Какие книги читает? Что вы написали – “фар...цу...ет”... Что это? А, “спекулирует”, понятно... То есть как раз – непонятно! Витя – спекулянт? Мальчик, которого я учила повязывать кашне и правильно очищать яичко в мешочек и кушать его из подставочки, вырос спекулянтом?! Как можно? Приличная семья! Куда вы смотрите?!» Она принимала все близко к сердцу, но стоило Лиле уйти, как Галя Абрамовна забывала все, до следующей серии, когда перед ее внутренним взором мгновенно всплывало краткое содержание предыдущей. Она успела уже, вовсе не интересуясь специально, узнать тьму-тьмущую сведений о не известных ей вещах из какого-то мира, которого не было прежде: стоимость каких-то «джинсов», да еще различных марок и стран изготовления, и американских сигарет на черном рынке, и каких-то трусиков «неделька», и бог знает чего еще; да, все это было ей совершенно не нужно, но она продолжала расспрашивать и неизвестно зачем узнавала еще какие-то совершенно не нужные ей сведения о потустороннем для нее мире; и вот они-то, в отличие от многого дорогого и важного ей, они-то как раз почему-то не забывались, а какой-то нескончаемой телеграфной лентой шли в мозг: «левиштраус» американского производства стоят 170, а мальтийского производства – 150, как и итальянские «суперрайфл», а английские «ли» – 150-170... На какого лешего они тебе, когда ты и не знаешь, кто они такие, эти ли, и вообще, почему эти ли английские, а не китайские? Да, куда исчез Ваш китайчонок Ли, хотелось бы знать... но эти бессмысленные перечисления неизвестно чего – сами собой всплывали ab und zu³ (да, она еще помнила кое-что из гимназического немецкого, да) и шли в ее мозгу, шли, даже приятные чем-то, как будто читаешь перечисление того, что Робинзону Крузо удалось вытащить на берег из затонувшего корабля или рука капитана Немо выбросила на таинственный остров (в детстве в ней было что-то мальчишеское, она играла преимущественно с мальчиками и любила читать «мальчишковые» книжки); шли, мешая думать о действительно осмысленных вещах, да случалось, еще и дразнили ее – когда ей, например, приходили на память стародавние, каждому ребенку когда-то известные шуточные вирши, вместо «А Макс и Мориц, видя то...» – в мозгу ее звучало издевательски: «А Филип Моррис, видя то, на крышу лезет, сняв пальто»; кто был этот господин, она не знала и не узнает уже никогда, но сигареты имени его стоили на черном рынке целых 5 руб. пачка, это она усвоила прочно... зачем, для чего?... ах, трижды прав был Антон Павлович: ничего не разберешь на этом свете. Да и надо ли?..

... Словом, так вот они посидели тогда, и затем, оставшись одна, Галя Абрамовна со вкусом поужинала, не пронося ложку мимо рта, кряхтя перемыла посуду, – мир мог перевернуться, а она остаться одна-одинешенька, так что и не для кого было поддерживать порядок, но пока она была еще на каких-то ногах, посуду следовало вымыть за собой сегодня, сразу же после еды, не портя картину завтрашнего вставания особенно противными с утра невымытыми, с присохшими остатками еды, тарелками и ложками-вилками, это было всю жизнь нерушимо, – умылась

³ То тут, то там (нем.)

сама, уже еле дыша, выпила слабительное, которое должно было подействовать через 8-10 часов, как-то переделась для сна, положила вставные челюсти в стакан с водой и, выключив ночник и подоткнув для тепла снизу одеяло аккуратным конвертиком — эта давняя, с детства, привычка сейчас, когда старческая медленная кровь почти не доходила до конечностей и не грела их, пришлось как нельзя более кстати, — закрыла глаза. Закрыла с привычным, но не потерявшим от этого силу страхом бессонницы. В последнее время бессонница ночь напролет держала ее на грани сна и бодрствования. Когда перед глазами уже плыла вереница картинок, немыслимых наяву, вроде человека, глядящего в лупу на собственный же глаз, или Алексея Дмитриевича, уверявшего, что он не умер в 1954 году, а как раз ожил и исполняет поручения графа Воронцова-Дашкова по управлению образцовым удельным совхозом «Заветы Ильича», — то есть когда именно начиналось засыпание, которое она так любила, хотя ей показывали невозможную чепуху, но зато зрительно ярко, многоцветно, как раньше наяву, и можно было видеть без усилий, а это делание хоть чего-нибудь без усилий было так отрадно, — так вот, когда начиналось засыпание, Галя Абрамовна без перехода, безо всякого ощущения толчка изнутри или извне вдруг просто открывала глаза, и оказывалось, что она опять бодрa, словно уже наступило утро, но до утра было еще несколько часов, а она оставалась бодрa и шансов уснуть — ни малейших. Но это псевдободрствование никогда не успевало созреть настолько, чтобы старуха приняла решение: встать, зажечь свет и занять себя чем-нибудь до утра. Нет, она успевала только дойти до состояния полного раздражения нервов и изнеможения тела, как тут же опять перед глазами начинали плыть те зыбко-яркие, фантазийные, воспользуемся этим парфюмерным термином? кто мешает — картинки, которые снова уводили ее, если верить журналу «Здоровье», в начальную фазу сна. И эти «кунштшюки» ехидны-бессонницы продолжались всю ночь, и так ночь за ночью она, вместо того, чтобы, отдохнув, набраться сил, лишалась и тех, что еще оставались.

Однако в ту ночь ей крупно повезло: она уснула моментально, глубоко. И что же? Уже не в засыпании, а в настоящем сне — тут как тут, словно лист перед травой, встал перед ней дорогой ее Алексей Дмитриевич, но почему-то без замечательных своих усов цвета гречишного меда, а этого быть никак не могло, поскольку после нее, Гали Абрамовны, и, пожалуй, Зары, более всего дорожил он своими усами; сколько бы ни просила она его хотя бы подбрить откровенно старорежимные усы, предательски-авантажно торчащие острыми стрелами с чуть загнутыми вверх острыми кончиками, Алексей Дмитриевич был неумолим, продолжая спать в наусниках и наутро холя свое сокровище специальной щеточкой-расчесочкой. Но теперь это, небывалое, совершилось. Она ни разу, никогда не видела его без усов и плохо себе его представляла без них, ведь усы так меняют внешность. Но, конечно, она все равно сразу его узнала, ей ли было не узнать любимого мужа. «Разве ты не умер?» — спросила она его как обычно, и он, обычно отвечавший: «Что ты? Я именно ожил», — на сей раз только ухмыльнулся незнакомой ухмылкой странно-безусого рта и спросил: «А ты как думаешь?» После чего немедленно изменился в лице, в цвете лица, ставшего изжелта-серо-зеленым, как бы цвета внутренностей вареного рака; затем лицо сплющилось в блин; затем блин скрутился в блинчик, завернув в себя, словно начинку, глаза, нос и рот, и исчез, оставив, однако, свой безобразный цвет, ровно заливший экран сновидения Гали Абрамовны.

Тогда предчувствие страха перешло в сам страх. Галя Абрамовна сознавала, как это часто бывает во сне, что спит, и надо только очнуться, чтобы избавиться от изжелта-серо-зеленого кошмара, начавшего вдруг облеплять ее и обмазывать со всех сторон, застывая на ходу подобно гипсу, которым она столько лет пользовалась для изготовления слепков зубов, и хорошо знала его оболочивающую, а затем мгновенно затвердевающую мертвую хватку. Она пыталась вылез-

ти из гипсового слепка-мешка, но приказы сознания никак не могли пробиться сквозь толщу сна к глазам, чтобы открыть их. Только это и нужно было – открыть их; но сон не пускал; вдруг выяснилось, что облепившая ее корка – всего-навсего приготовительный этап. Теперь, когда ее одели в гипсовую рубашку и с ней, напуганной до крайности, можно было делать что угодно, – теперь внутрь ее вошло... свечение? Но со светом связывались тепло, покой: свет – он и был свет; теперешнее же свечение было темным, и тьмущий этот свет смутил ее душу до такой степени, что та потеряла контроль над телом, и Галя Абрамовна произвольно обмочила простыню. Но и тогда она не проснулась от мокрого холода, как не просыпаются от него маленькие дети. Но она не была ребенком, с ней явно происходило что-то особенное, и если бы она могла сейчас размышлять, то сказала бы, что сон ее – не простой сон.

Но она не думала ни о чем, не только потому, что плохо умела думать во сне, но и потому, что *увидела* предмет или скорее существо... словом, то, что светилось, и сразу поняла, *что*, точнее, *кто* это. Она видела это незримое существо впервые, но узнала сразу... Такая гулкая тишина наступила, что шаги неслышные смерти стали слышны, проявились на внутренний слух старухи, как проявляется вдруг текст секретного письма, написанного молоком, если подержать письмо над огнем. Она слышала, как существо, войдя в нее, стало ходить невесомо внутри нее будто по лестнице, вверх-вниз, вверх-вниз, светя себе, чтобы оглядеться, собой же, как фонариком. И Галя Абрамовна вдруг увидела себя со стороны – чего в обычном сне не бывает, человек во сне видит все в «первом лице» – словно слабоосвещенную комнату, увидела будто с улицы сквозь окно, сквозь паутинообразную туманность тюля; она смотрела на себя и видела, как истекает, сочась, тихим-тихим свечением.

Инфракрасным свечением смерти.

И тело стало распирать светящейся, зараженной и заряженной смертью душой, ширящейся от страха, доведенного до полноты, распирающей ее, как алкоголь распирает больную печень. Страх этот превосходил все известные ей виды страха не столько силой, сколько каким-то новым, иным качеством. Это был страх-бесбоязни: высоты ли, темноты или насилия. Боязнь неотделима от надежды, что, быть может, все обойдется, пронесет мимо. Боязнь не знает, что на самом деле произойдет через секунду, а незнание будущего лишает ее определенности, твердости страха, что уже и есть бесстрашие. Страх, овладевший душой старухи сейчас, весь состоял из беспощадно-точного знания: **это** – не *будет когда-то*, а уже *есть*, вот оно уже свершается – гляди, еще есть время глядеть, сколько-то долей мгновения, – свершается именно так, а не иначе: запросто, как выносят мусорное ведро, происходит невозможное, противоестественное для живого и потому невообразимо-ужасное – лишение живого жизни, то есть всего, что он имеет, всего, что он знает, всего, наконец, что он – есть. У нее отбирали ее, не оставляя ей – ибо «ее»-то как раз и вывели за скобки, всю целиком без остатка сдали в архив, на ее прежнем, изо дня в день три десятка тысяч дней привычно-непременном присутственном месте не стало никого, кому, если даже захотеть, можно было что-либо оставить, – не оставляя ей ничего. Никого и ничего, даже пустоты. Ибо пустота не есть еще ничто, пустота есть пустота; а сейчас воцарялось – ничто. Ничто навсегда.

Смерть, играя с ней, еще подержала ее у себя, в Ничто Навсегда, еще на какой-то невыносимо-вечный миг задержала ужас в душе старухи и затем вышла из нее столь же необъяснимо мгновенно, как и вошла, – просто прошла сквозь Галю Абрамовну, как луч сквозь стекло, и ушла. Луч тьмущего света ушел в свое темное царство. Старуха больше не видела ни себя, ничего. Видимо, смерть сочла свое кратковременное, каким бы долгим оно ни казалось, пребывание в ней достаточ-

ным для первого раза. Почему-то она решила не забирать ее сразу к себе, а сначала только познакомиться. Представиться. Прощаясь, она пожалала Гале Абрамовне сердце, слегка, по-своему бережно, но от чудовищной боли отдаленного сердца старуха, наконец, проснулась. Она потянулась за валидолом на прикроватной тумбочке, но он не помог, и тут она осознала, что никаким валидолом, ниже валокардином и даже нитроглицерином эту боль не унять, а она сама уймется. И точно, через минуту боль утихла, как будто и не произошло ничего. Осталось только одно зримое свидетельство ночного происшествия – мокрая простыня, но и ту Галя Абрамовна позаботилась застирать (нелегко восьмидесятисемилетней женщине возиться со стиркой, особенно отжимать тяжеленную выстиранную простыню – но не Лилю же просить, скажет потом Семену – старуха совсем впала в детство... стыд-позор, смех и грех). Однако тяжелая работа с простыней оказалась куда более легкой, чем просто взять и вычеркнуть визит незваной гостьи из памяти.

Напротив, чем сильнее она пыталась надавить на свою память, чтобы та захлопнула, наконец, дверь, не пуская новоявленную знакомую даже на свой порог, тем сильнее дверь памяти выдавливалась могучей рукой снаружи внутрь и открывалась, впуская непрошеную. Гораздо лучше работала попытка переключиться на что-нибудь другое, что угодно. Но и этот способ был далек от совершенства, она могла смотреть телевизор, сладко пережевывать вкусную пищу, разговаривать с Лилей, но все это защитное поле то и дело дырявилось, казалось бы, далеко отодвинутой ночной посетительницей, постоянно напоминавшей о себе; даже если удавалось совсем отключиться и не думать ни о чем, с головой уйдя в переживание очередной семейной серии с продолжением, та все равно находила окольные, внесознательные, почему бы не назвать их шкурными? да, почему нет – тропы в глубину, к самому центру окружности ее «я», чтобы нашептывать и нашептывать: «Я тут, я никуда не уходила далеко, ты моя, моя, совсем скоро я приду за тобой и заберу в Ничто Навсегда».

В сказке заяц прячет в себе утку, утка скрывает в себе яйцо. Все они живы и являют собой слоистую глубину жизни в три наката. Живя, роешь, копаешь жизнь, копаешься в жизни и – под одной формой жизни всегда открывается другая. Всюду жизнь, только жизнь и ничего кроме жизни, ее видимой всеохватности, мощи и неостановимости ее бесконечного течения. Конечно, наблюдать эту бесконечность и всеохватность могут только живые, но ведь это и суть все, кто есть, никого другого – нет. Мертвых же – нет; их и вообще нет, по определению: был человек – и нет; но и внешняя их оболочка, труп, он вроде бы присутствует, вот он вроде и здесь, лежит в гробу, но очень быстро становится незрим, уложен под слой кладбищенской земли, став, таким образом, составной частью жизни: где как не здесь, на кладбище, течет самая активная жизнь в форме рытья могил, заказов и установки памятников, то есть кипит пылкая кровь товарно-денежных отношений – наиболее жаркой формы жизни; но течет здесь и тихая, сокровенная жизнь поминовений с живым, греющим стаканчиком водки и живым же куском черного хлеба... живые воспоминания, иногда живые слезы, живой шепотный разговор с покойным – ты здесь? Мы, живые, сделали все по-людски, чтобы ты и мертвым был жив – иначе с кем же я говорю? – упокоенный-упакованный по-людски... Даже во время больших войн или эпидемий, или массового голода – не мертвые берут верх, а живые: очень скоро мертвых на земле опять не становится, их никто никогда не видит, а живые – вот они кругом, отстроились и обступают тебя живого. Жизнь похожа на капусту – сорок одежек, и все без застеежек.

Но на самом деле в сказке говорится о другом. В ней говорится о том, как – на самом деле. Жизнь, как ни похожа на капусту своими сорока одежками, в одном отношении от нее отлична. Капустный стержень ничем принципиально от листьев

не отличается, кочерыжка твердая, но и только, ее можно грызть сырой или квасить вместе с листьями вилок. Капуста не содержит ничего не-капустного. Не то в сказке – в сказке говорится о действительном месте жизни в устройстве всего. В живом зайце – живая утка, в утке – живое яйцо, чреватое цыпленком или утенком; и мы ждем, что так и будет все время, слой за слоем, до бесконечности. Но внезапно все обрывается... В яйце оказывается не живой цыпленок, а игла. Можно сказать, что стержень иглы и держит все сооружение – по крайней мере, придает смысл существования всем слоям жизни, заворачивающим его в себя: если бы не игла, не было бы нужно яйцо, чтобы спрятать ее в себе, ни утка, чтобы спрятать яйцо, ни заяц, чтобы спрятать утку. Сам же этот стержень – по ту сторону живого и мертвого; он стальной, неорганический. Но вот на конце его, на конце иглы – Кашеева смерть. Сам стержень, сердцевина жизни, ее смысла, нужен лишь для того, чтобы на конце своем поместить и спрятать, завернув в жизнь, – смерть.

До этой правды Ивану-царевичу еще предстоит добраться. Но рано или поздно он доберётся.

Рано или поздно – стоит поставить на плиту и разогреть – толстую пленку жира в кастрюле остывшего борща, вкуснейшего из Лилиных произведений, рыжий затвердевший диск вдруг прорывает, и, разламывая застывший жир, обнаруживает себя все то густое варево, ранее сокрытое этой пленкой, которое и есть собственно борщ; так – для кого раньше, для кого позже, для кого перед самой смертью под девяносто – пленку казавшейся всеохватной и непоколебимой земной жизни, принимаемой за всю, абсолютно всю земную наличность, вдруг прорывает, и человека, не ожидающего того, вдруг пронзает игла, несущая не чью-то Кашееву, но его собственную смерть, до поры до времени сокрытую от него плотной еще минуту назад пеленой жизни, и слабая от привычки к жизни – ведь сколько бы ни закаляла иная жизнь человека, но самая суровая и горестная судьбина все равно расслабляет его, приучая к себе-живому; даже злостная привычка к курению может быть побеждена, поскольку существует сама альтернатива – не курить, но жизнь не дает живущему альтернативы – живя, не жить, не присутствовать в жизни, живущий просто не имеет возможности отвыкнуть от жизни, – слабая душа человека содрогается от ужаса перед открывшейся ей картиной безусловного, неперемennого, а главное, чрезвычайно простого – был человек, и нет – уничтожения его земной жизни, бесследного погружения ее мнимой единственности в неисследимую выглубину безмерно великой, чудовищно безразличной пучины, из которой еще никого не выносило на берег.

Вообще говоря, Галя Абрамовна давно уже умела распознавать смерть, читать ее следы. Из боли в почках и в заднем проходе, из глухого шума крови, волнами подкатывающей к вискам, из привкуса кала во рту по утрам, седых волос, пучками остающихся на гребне, из каждой клеточки тела – ибо каждая клеточка ее тела была частицей материи разлагающейся, то есть стремящейся к изначальному состоянию: состоянию праха, – сочилась смерть. Смерть попросту выступала, как капли пота на лбу человека, вкалывающего в поте лица, от самого движения жизни к своему окончанию. К смерти. Можно бороться со смертью от тифа, инфаркта, даже рака, но бессмысленно даже пытаться победить смерть от старости, потому что остановить смерть тут значило бы остановить жизнь.

Но все же до **этого** оставалось место утешению. Оставалась надежда, связанная с самим пониманием смерти, к которому чуть ли не с детства приучили ее и всех вокруг: смерти как таковой нет, «смерть» это только слово, обозначающее угасание жизни до полного затухания вот в этой точке, точке «меня».

Иначе говоря, «смерть» есть то, чего нет. Вот почему Галя Абрамовна, если речь заходила об этом, спокойно повторяла любимую не ею одной чью-то максиму: «Я не боюсь смерти – пока я есть, ее нет, а когда она есть, нет меня». Это лучше

всего выражало логику даже не столько мысли, сколько живого чувства живущего. Потому-то смерть от старости всегда представлялась ей, как и большинству людей, наилучшей из всех возможных: человек просто тает, как сосулька, и не замечает, может быть, даже совсем пропускает момент своего перехода в нуль. Ведь природа как-то же продумала все за нее и за всех; ее родили (говорят, всем больно рождаться, но заботливая природа сделала так, что она и не помнила никогда с тех пор этой боли — кто ее знает, чувствовала ли она тогда свою боль во всю силу, или свежееиспеченный младенец еще не имеет развитых, полноценных перцепторов и страдает, сам того не слишком ведая), ее провели по жизни (в которой были многие горести, но ей послали время и многие способы залечить, *утишить* их до легкого чувства светлой скорби), — ее и уберут, когда надо, самым естественным, самым переносимым способом. Немного боли, пусть сильной, но недолгой — или она будет, за древностию лет, почти или совсем вне сознания и так и уйдет, не чувствуя ничего... Иное дело, когда законы природы нарушаются по воле человека, как при убийстве или самоубийстве, или по воле страшной стихии — и человеческая жизнь во цвете сил и в полноте чувств прекращается внезапно, противоестественно.... это, должно быть, непереносимо; но не было еще ни одного, кто и этого не перенес бы, не умер бы, что уж говорить о ней — в ее возрасте с каждым годом шансы *умереть как нельзя лучше* увеличивались. Сейчас их можно было условно определить, как 87 к 100. Условно, потому что условно само число 100, само слово «век». Но если принять эту условность, ее *век* уже приближался к «веку» вообще. Какой выигрыш!

Выигрыш был налицо. И что же? Сейчас, глубокой старухой, пережившей всех и вся, и, казалось, самое себя, сейчас-то, после *этого*, она как раз и узнала — каждой из оставшихся в живых своей клеточкой, — что такое уму неподвластный ужас смерти. Смертный страх. Потому что она увидела *ее* лицо. И не было лица ужасней. Ничего ужасней того, что — вопреки, казалось бы, безупречно логичной максиме — смерть б ы л а. Живая смерть. Была там, где была и она, Галя Абрамовна, и даже в ней самой, внутри нее. Смерть — была, и она не была только словом; у смерти было собственное имя — Смерть. Имя собственное. И не было никого и ничего ужасней.

Мириады одухотворенных частиц материи, сложившиеся в строгий порядок, стройное целое ее организма под действием стягивающей, центростремительной силы жизни теперь трепетали силы центробежной. Ибо целью смерти был разрыв всего прежнего порядка; и что бы ни было ее дальнейшей целью: строительство какого-то нового порядка, порядка праха, или окончательный хаос, — живые частицы, притершиеся друг к другу, панически-яростно сопротивлялись, ужасаясь уже одному моменту предстоящего разъединения, упразднения многолетнего обжитого товарищества, отпуска и разгона его, ухода по одному в Ничто Навсегда. Это усугублялось тем, что последние тридцать лет ее жизни складывались из потерь, составляли ряд утрат; таким образом, очередное несчастье заставляло Галю Абрамовну вжиматься в себя, снова и снова чувствовать свою отдельность. Миру не было дела до ее потерь — но только ей, ей одной. Бывают злосчастья, тренирующие душу на расширение, приучающие ее к хотя бы временному самозабвению, хотя бы к небрежности памяти о себе: такова, например, война, когда человек, попадая в поле общего сверхнапряжения, ощущает себя в иные миги — минуты, часы ли — не более, чем вибрирующим язычком пламени огромного пожара. Здесь был случай иного рода — потери мужа, дочери, матери, Софьи Ильиничны, еще двух приятельниц, наконец, Марка, растянуто последовательно случавшиеся на ровном фоне оседлой обеспеченной жизни, последовательное обрывание ниточек, связывавших ее с жизнью, — все это заставляло каждый раз заново остро ощущать свою незащищенность, болезненно сжимающееся «я»,

границу между ним и тем, что им не являлось. Такая хроническая гипертрофия «я» лишь усиливала сейчас ужас перед его уничтожением. Но — что бы там ни было, она не привыкла сидеть ни сложа, ни опустив руки. И теперь она готовилась встретить **ее** снова, лицом к лицу, уже ожидая гостью, чтобы, встретив, запереть дверь в себя прямо перед **ее** носом. Старуха не знала, как она это сделает, но во всяком случае одно было ясно: чтобы противостоять Смерти, надо, по крайней мере, успеть обнаружить ее следующий приход — а в том, что он впоследствии вскорости, она не сомневалась — прежде, чем Смерть успеет опять проскользнуть вовнутрь. А это значило — прежде всего нужно непрестанно бодрствовать. Стеречь. Галя Абрамовна теперь оставляла по ночам свет рядом с кроватью включенным. Она завела, точнее вернулась к детской привычке сосать леденцы. Она почему-то никогда не любила шоколадных конфет, хотя держала их для гостей, а так как приходила к ней теперь только Лиля, сделанный давно запас не было нужды пополнять; она радушно угощала Лилю купленными тою же по просьбе старухи конфетами «Чапаев» — вот не думала никогда, что опять встретится с ним, и где же? на конфетной обертке — и «Данко» (тоже что-то напоминало, не совсем конфетное, вроде бы, но пусть их, сами конфеты, кажется, еще туда-сюда), не замечая, поскольку сама не брала их в рот, что те покрылись уже слегка белым налетом, имеют соответствующий вкус; сама же предпочитала им ириски, а того лучше кисленькую, освежающую карамель «Барбарис», подушечки и леденцы. И теперь все, что можно извлечь из сосания леденца: трение языка о ребристую, жесткую поверхность, перекачивание конфетки во рту, заглатывание кисло-сладкой слюны, чаще всего с резким привкусом ментола (если верить Лиле, куда-то окончательно сгнули и «Барбарис», и «Дюшес», и монпансье в жестяных коробочках, и есть лишь вот эти мятные леденцы с дурацкими названиями «Взлетные» — так и не продавали бы их в кондитерском отделе, а раздавали бы на самолетных рейсах при взлете — и «Популярные»; Марк бы наверняка съехидничал: «Хотелось бы знать, среди кого и чем это они так заведомо популярны? Может быть, даже научно-популярны?»), — теперь все это обеспечивало ей ту отчетливую непрерывность вкусовых ощущений, по которой старуха могла знать: она здесь, не провалилась в опасную яму дневного полусна. Конечно, иной раз и леденец подводил, сам собой тихо тая во рту, пока она отключалась минут на 15-20 (а чего вы хотите, если ночью одолевает бессонница?), но все же, все же... В целом система функционировала нормально (любимое выраженьеце того же Марка, почерпнутое им из космических репортажей; на традиционный вопрос о его здоровье он традиционно-торжественно отвечал, письменно, хотя в этом не было нужды, она и так заучила давно его ответ: «На борту корабля все системы функционируют нормально»; да, он был ох-шутник, этот Марк, для тех, кто его не знал, да...) Но вот ночью... Не могла же она вообще не спать! Впрочем, она почему-то была уверена, что в следующий раз Смерть, существо прихотливое, не захочет повторяться и ночью не придет. Все же Галя Абрамовна разбила ночь на несколько отрезков, по два часа в каждом, и давала себе на ночь посыл, задание — просыпаться каждые два часа. Интересно, что не всегда, но частенько это у нее выходило; в любом случае это, вкупе с бессонницей, с которой они теперь, как соседки по коммунальной квартире, попеременно враждовали и союзничали, не позволяло крепко спать, держа в постоянной готовности к бодрствованию.

Так она жила теперь, не желая умирать, но зная, как знает человек, у которого болит, что ему больно: не то что дни ее, но часы — сочтены. И от этого физического знания, от силы сопротивления жизни, упирающейся в дверь, чтобы та не открылась навстречу Смерти, все стеснилось в ней и сдвинулось. Что-то новое произошло в ней, что-то важное, чего не было раньше, все приобрело новый вкус — даже холодок мятного леденца отдавал холодом могилы. После **этого** и началось то новое, чему, казалось, не будет конца: вопросы, которые прежде почти никогда

не приходили ей в голову, а если приходили, так она с легкостью отмахивалась от них, вдруг зазвучали в ней беспрестанно и бесперебойно, опять же не словесно, а вот этими уколами и зацепами, зарубками сознания – и если приходится передавать их словесно, развертывая то, что несли в себе зарубки и уколы эти, то только потому, что другого, более совершенного, чем словесный, способа литературного, письменного изложения чувства и мысли – пока еще, к несчастью, не придумано.

Прежде всего следует отметить, что сам характер бессонницы начал с момента первого свидания меняться. Старуха по-прежнему лежала часами без сна; однако же бессонница все менее походила на ее прежнюю, издевательскую, состоящую из пустот, заполняемых раздражением и злостью, и головною болью под занавес, но скоро перестала походить и на следующую, отчасти союзническую – а все больше шло к тому, что нынешняя бессонница словно была ей *п о с л а н а* специально, нарочно, с одной целью: пропустить сквозь нее поток этих уколов и зацепов, чрезвычайно неприятных для ее сознания, вынужденного, однако, бодрствовать безо всяких поблажек временного отключения в полусон, а значит, пронзительно болезненно, как нерв больного зуба без анестезии отзывается на попадание в него работающего сверла бормашины, воспринимать этот колющий и цепляющий поток.

Когда-то, совсем девочкой, прочла она рассказ «Пестрая лента», который из всех рассказов о Шерлоке Холмсе произвел на нее наиболее сильное впечатление. Ее трясло до зябкой дрожи от самой ситуации: привинченная намертво к полу кровать; девушка, обреченная спать на этой кровати; змея, бесшумно спускающаяся к кровати по шнуру отключенного звонка. Змея может и не укусить сегодня; но когда-нибудь, как-нибудь под утро она укусит наверняка, и раздастся нечеловеческий крик, и отвратительно-слабый, серенький, предрассветный английский луч, проникнув в щель ставни, упадет на искаженное ужасом и болью лицо человека, умирающего от яда тропической змеи в запертой комнате.

А теперь она сама оказалась в таком положении! Не спрятаться, не убежать... Одни и те же крючья, иглы и ланцеты преследовали ее каждую ночь в течение многих ночей. Кроме их регулярности, у них была еще одна, указанная уже пугающая особенность: они явно не принадлежали ей самой, а только приходили, будучи *посланы* – кем? – по ее душе. Ясно было, что к ней подключили какое-то невидимое устройство, словно она подопытная крыса или обезьяна; вот опять – побежали они, режа и коля, цепляя, доводя до помрачения.

Они не только ставили под сомнение все, на чем привыкли строить свою жизнь она и все кругом, все то, что давало чувство выполненного урока, достигнутой цели, не напрасно прожитой жизни, – они сами по ходу доходчиво и неопровержимо объясняли, что урок бессмыслен, цель только кажущаяся, а прожитая жизнь не стоит ровным счетом ничего.

Начиналось все, как правило – так шахматная партия начинается, как правило, ходом e2-e4, – уколом: «Зачем?»; это был сигнал включения, начало пытки. Несносное «зачем?» более чем отчетливо – назойливо возникало на внутреннем экране зрения кудлатой маленькой шавкой с завитком хвоста в виде вопросительного знака – шавкой из числа той пронзительно-визгливой мелюзги, которая на собачьей площадке вечно носится, твякая, – она помнила это со времен, когда была еще слышащей, и сейчас это визгливое твяканье отчетливо раздавалось в ее внутреннем слухе, – под лапами догов, шотландских овчарок, московских сторожевых и афганских борзых, и, заводя ссору между собой, ссорит заодно и этих больших, благородных собак, которым иначе и в голову бы не пришло так плебейски цапаться. Галя Абрамовна, впрочем, и последних-то, с хорошей родословной, не жаловала, невзирая на их красоту, – за равнодушие к опрятности, оставляемый повсюду шерстяной пух и запах псины, а уж мосек просто терпеть

не могла. Зачем? Ей, как уже сказано, в голову не приходило никогда прежде, зачем, чего ради она живет. Она знала и так. Ради? — хотя бы ради близких. Зачем? — а вот зачем: и в девичестве, и в зрелые годы своей женской жизни привыкла она знать априорно: дыхание, питание и питье, ароматы полевых и садовых цветов и вонючие, но необходимые дымы производственных труб, ухажеры-поклонники, сладко кружащие голову увлечения и ровная семейная любовь, плод ее — дети, как и труд, отдых, сон, болезни и выздоровления, жара лета, осенние дожди, зимний снег — все это называлось словом «жизнь» и имело смысл в самом себе. Жизнь, с тех пор, как она возникла, всегда была, есть и будет, кроме нее ничего нет, и значит, в ней самой по себе и есть некий серьезный смысл, разгадывать который не ее дело, а ее дело — жить в полном смысле слова «жить». Смысл жизни — в ней самой; цель жизни — жить полной жизнью. В этом понимании ее еще более укрепляло отменное здоровье, позволяющее ощущать жизнь своего тела во всех ее проявлениях как жизнь *правильную* и уже тем доставляющую удовольствие, и красота, тот не столь уж часто встречающийся в наши дни, но все же сохранившийся в... в штучных, что ли, да, так, — образцах издревле и по сей день еврейский, шире — семитский, левантийский тип красоты, в котором дальше послание Ближнего Востока во всем: форме и величине век с легкой поволокой, глубине тона бархатно-черных глаз, изящно-неправильной линии чуть вислого, но тонкого носа, в костяной точности скул — воспринимается как привкус и пряная ароматическая добавка, не имея густой экстрактивности вкуса и запаха выдержанной еврейской крови, ее — если верно утверждение виноделов, что такое-то вино «имеет корпус», а такое-то «не имеет корпуса», то верно будет и это слово — ее *мясистой*, вызывающих нередко, что уж греха таить, у представителей куда более молодых народов отчетливую идиосинкразию. Галя Абрамовна слишком долго и постоянно пользовалась успехом, усиливающим ее любовь к жизни до полного слияния с ней, оказываясь тем самым настолько внутри жизни, что никак не могла задавать вопросы, возникающие лишь у стороннего наблюдателя, обзирающего жизнь как целое — снаружи.

Так вопрос «зачем?», если и возникал когда-либо на поверхности ее сознания, то тут же отправлялся в самый дальний ящик, а его непринужденно подменял другой, куда более серьезный, потому что этот вопрос в самом деле требовал ответа, неотложно-ежедневно: «Как?» Как обеспечить эту прекрасную жизнь? Понятие *оправдания*: умение заработать, труд вспахать, посеять и пожать, право есть свой хлеб — как-то естественно и незаметно заступило понятие цели и смысла жизни. Живешь, чтобы обеспечивать свою жизнь. Обеспечиваешь — чтобы жить.

И она непрерывно обеспечивала свою жизнь и жизнь еще троих людей на протяжении многих десятков лет. Она вкалывала не покладая рук. И если бы ее спросили, пока еще она вот так вкалывала, а жизнь тем временем вот так происходила, удовлетворена ли она своей жизнью, не кажется ли ей, что жизнь прошла мимо, что в ней не хватало чего-то важного, — она бы искренне ответила: «Нет. Не кажется. Не напрасно. Я не всем довольна, — никому, знаете ли, никому, врагу не дай бог пережить свою дочь, — но мне всего довольно». Так много наполняющего жизнь уже случилось, а что-то еще должно случиться, что-то еще ждало впереди...

И вот — все случилось совсем; впереди не было ничего, кроме Смерти. Ничего, кроме Ничего. Которое одно только и должно было еще случиться. Ничто Навсегда.

И высунулась злая шавка, изогнув хвост колючком вопросительного знака, и залаяла. Зачем? Зачем? Зачем? Чтобы было, что вспомнить. Вот ответ. На, ешь.

«Будет, что вспомнить»... Да... Ну вот, теперь у тебя только и *есть* — то, что можно только вспомнить. Больше ничего, кроме воспоминаний, нет и не будет. Все, что могло или не могло, уже случилось или не случилось — бесповоротно и окончательно. Осталось только то, что вспомнишь.

Что ж, ей б ы л о, что вспомнить: горечь потерь, слезы разлук, боль смертей самых дорогих людей, и страх, страх: во время гражданской – не заметут ли и ее, как других прилично одетых, частым гребнем в Чрезвычайку, и поди там докажи, что ты сама за классовую беспощадность до полной победы труда над капиталом, и только просишь причислить себя к людям труда, потому что это правда, так; и тогда же страх – что там на юге с Алексеем Дмитриевичем; страх много лет спустя после гражданской, что узнают про дочь и про мужа; позже – мелкожитейский, но какой еще противный страх, что муж узнает то, что она скрывала от него, – и тогда, с тем, и еще вот тогда, с этим, обманывала чистейшего человека против воли и сама стыдилась и боялась, до сих пор еще иногда краснеет от стыда, вспоминая; и другие гадости, которые она делала другим, не желая того, а другие делали ей, и какие-то мелкие унижения; и – как Зарочкиной фоточке выкололи глазки, мерзавцы, мертвой красавице выколоть глазки! и... – словом, все, что ранит, болит и ноет, все, что лучше как раз **не** вспоминать – вот это и вспоминалось, то одно, то другое, само собой, без усилий, всплывало, и хорошо хоть потускнело от давности, не так бережит, но все же порой делает больно, и еще как; ну а если напрячься? Тогда наружу лезли совсем уже какие-то гадкие мелочи, грошовые унижения... – и, само собой, работа, работа, работа, разные рты без разных зубов, по-разному, но всегда некрасивые – как может рот быть красивым без сплошной линии зубов? – часто просто безобразные, совсем беззубые или пародонтозные... это, впрочем, вспоминалось привычно, без негативных эмоций, это была ее работа, условие работы, все эти прикусы, дигитальные и прочие, особенно характерно-еврейский, когда нижняя челюсть и с ней нижний ряд зубов выдвинуты вперед, так что верхний ряд западает внутрь нижнего, а нижняя губа перекрывает верхнюю... но – зачем и что тут вспоминать? Это уж точно – о т р а б о т а н н ы й м а т е р и а л. Все же очаровательные, радостные, нежные минуты ее жизни – таких тоже было немало – точно так же (да нет, почему-то сильнее) потускнели от давности, стерлись еще более, чем плохие. Да, но то, что плохое прошлое стирается и не так бережит – хорошо (хотя хуже, чем если бы этого плохого не было и не о чем тяглом было бы вспоминать), а то, что отшелушивается и мертвеет хорошее прошлое – плохо. Но ведь иначе и быть не могло в ее годы. Когда человеку окончательно *есть, что вспомнить*, ему *нечем вспоминать*: онемевшие ноздри и кончики пальцев души не воспринимают больше сам живой запах и фактуру памятного события, зарегистрированного, да еще и неважно зарегистрированного, в кладовке склеротической памяти. Обоняние и осязание памяти немотствуют; только детство, да, только оно одно и вспоминается живо-радостно, только детские воспоминания и греют, но тогда жить, чтобы было что вспомнить, нужно не дальше детства, лет до двенадцати; да, а как тогда доживешь до того времени, когда будет, что вспомнить?... Тришкин кафтан.

Ладно. Еще попытка. Хорошо, детство. А дальше детства? Был какой-то девичий флирт, потом девичий же роман с таким-то, а мог и с таким-то; потом – уже не совсем девичий – с неким Сашей, кажется, военврачом... да, Саша, Александр... Петрович? Допустим. Что значит «допустим»? Вспоминать – так уж вспоминать все как есть. Да в том-то и дело, что ничего н е т, все только б ы л о, так что уж будь любезна допустить, что он именно Петрович – и плавно двигаться вперед в прошлое, так правильно? Да, именно так – не то, если на чем угодно застрянешь, так сядешь на мель, а там и вовсе вылетит все в Ничто Никуда Нигде. Сколько будешь еще наступать на старые грабли? Ладно. Петрович так Петрович. Высокого роста, худой и сутуловатый, с подбритыми усиками, любитель преферанса и всех этих поговорок во время игры, всех этих «заповедей преферансиста»: «Под вистующего – с большой длинной масти», «Посмотри в карты соседа – в свои всегда успеешь», «Два паса – прикуп чудеса» – и прочая. Вероятнее всего – светлый шатен. И совершенно отчетливо – легкий кисловатый перегар медицин-

ского спирта, употребляемого в умеренных дозах. А тот... Виктор? Носил полосатое кашне. Подобно чеховскому Беликову, ходил даже в ясный день в калошах, должно быть, чтобы, сняв их в гостях, остаться в башмаках. Вероятно, стеснялся рваных или не совсем свежих носков; это бывает. Мелочь, однако же из неприятных. Вот почему она всегда следила, чтобы у Алексея Дмитриевича имелся достаточный запас нитяных и шелковых носков. Слава богу, он не дожил до синтетики — запах нейлоновых носков... запах потных ног — самое противное в мужчине после скупости, скупость она могла простить только Марку, и то потому, что с ним у нее амурных дел не было... Или вот — выпало из памяти имя, но — очень красивый румынский еврей. Потом убыл в Киев, где, если верить людям, что это точно тот самый, убит петлюровцами. Как и ее тетя Сима. Любил холодный свекольник, селедочку с лучком под обеденную рюмку водки и кисло-сладкое мясо... с черносливом; именно — с черносливом. А вот, наоборот, имя-то всплыло: Модзалевский, — но вот кто это, хотела бы она знать... Да, обеденная рюмка. Тогда как-то все знали: место водки — за обедом, рюмка-другая для аппетита. Совсем не то, что сейчас, выпить бутылку водки, фу! Как Витя у Понаровских и эти его девочки. Американские и английские «Ли Купер» стоят 150-170, а гонконгские «Пайонер» — всего 110, а блок «Мальборо» — 50, а велюровый костюм — 300, ничего себе!.. Куда тебя опять занесло? Вернись. Да, мужчины любят глазами, но чепуха, что женщины — только ушами. Просто женскому глазу и сердцу важны не всякие там «ноги» — кривые ноги совсем не портят мужчину — и прочие «прелести», а — взгляд (и сейчас еще даже выветрившаяся память удерживает сладкий некогда след чьего-то давно уж анонимного восхищенного взгляда), улыбка (и все-таки — почему «Модзалевский»?)... Вот что важно в мужчине — улыбка, такая вот растакая улыбка имеющего за душой что-то эдакое... словом, то, что интересно разглядывать и разгадывать. Лучше всех на ее памяти, конечно, улыбался Алексей Дмитриевич, но в его улыбке из-под усов не было чего-то такого-растакого, а просто сразу чувствовалось — он твой домашний-роднуля; но осталась в ее не до конца же мышами обглоданной кладовой и еще парочка именно таких-растаких-разэтаких улыбок... от людей, которых в ее памяти — не осталось.

Галя Абрамовна пыталась пойти дальше, припомнить сладостную силу хоть чьего-то объятия, головокружительную крепость поцелуя, вожденную некогда каменную твердыню мужского тела; но на скользких тенистых «таких-растаких» улыбках все кончалось. Тела и поцелуи прошлого оставались, как ни старайся, бестелесными, прозрачно-призрачными, как почти все в прошлом; и ее кололо и цепляло то, чего, как она ни напрягалась, не могла понять, обмозговать, но — чувствовала всем уколотым в межключичную ямочку и подцепленным за диафрагму на крюк своим естеством (между тем это, не дававшееся ее разуму, а только чувствуемое — было, в сущности, не так уж и трудно формулируемой мыслью, что рано или поздно прошлым становится все, а значит, в итоге прожитого, отжитого и отжатого — бестелесно, бесплотно всякое тело, любой поцелуй, и любая бывшая близость — далека и не нужна... Все, все уходит, а если что хорошее и остается живым в памяти, по-живому пленительно-дорогим, оно только понапрасну сжимает сердце, исторгая из сухого старческого нутра не живительную, а убийственную влагу плача о том, чего не вернешь и о чем вспоминать — только добывать себя).

Посмотри, посмотри-ка, нет, ты посмотри на себя вон туда, в зеркало, старая карга, сначала дойди, скрипучая, до него и погляди на себя единственным еще на четверть зрячим глазом — разве с тобой это было, могло быть? Кто ты и кто она, не скрипучая — кипучая, красивая, желанная? Глядя отсюда, старуха видела себя прошлую как другую женщину, и эта другая была для нее, как и все другие в сознании всякого человека, лишь движущейся фигуркой, допускающей произвольные, по своему хотению всякого «я», вспоминающего о всяком «нём», замены и перестановки чего угодно, тем более в пространстве прошедшего времени.

(Многие, очень многие так часто лгут, рассказывая о прошлом, своем и чужом, а другие винят их из-за этого в общей лживости натуры; тогда как обвиняемые, может быть, вовсе не так уж лживы – а обвиняющие, сами того в себе не видя, подвержены тому же, – но просто и лжи-то никакой не видят в том, чтобы передвинуть ту или иную почти неживую, игрушечную движущуюся фигурку на доске смутного, нетвердого, газообразного прошлого – на пару сантиметров вправо или влево. Эка разница, подумаешь тоже, может, именно так с «ней», этой фигуркой, – там, тогда, в какие-то «минувшие» – да и бывшие ли вообще года? – может, именно так тогда и было, и стояла она, эта фигурка, не вот здесь, а вон там, всего-то шаг разницы от близости до дистанцированного приятельства. Человек честно лжет, нельзя упрекать его за это, если прошлое само ведет себя так, что вечно выходит из своего некогда настоящего, твердого, ощутимо определенного тела, становясь газообразным полем игры воспоминаний. Игра бывает честной и нечестной, добавим, именно потому, что это игра, честное и нечестное в ней – играть, так уж играть – часто меняются местами, например, в покере блеф – самое главное, следовательно, общепринято-честное дело; кто блефовать, то есть честно мастерски лгать, не умеет или не хочет, тому нечего и играть в покер; стало быть, единственно честным в любой игре будет – играть по ее правилам; итак, игра может быть честной или нечестной, но нет и не было еще игры истинной или ложной... вернемся, однако, к героине повествования).

Она видела теперь ясно хитрую работу своей памяти, превращающую в Ничто Никогда – все дорогое и милое ей с помощью немудрящего, но хорошо исполненного трюка: объявив, напротив, возможным Все и Всегда. Там, где возможно *все* – там нет ничего. Этого Галя Абрамовна тоже не смогла бы сформулировать, но чувствовала горлом, в которое точно по диаметру вогнали на вдохе пробку четкого глотка чувства: тут, именно тут – обман. Ей не надо было думать, чтобы все видеть ясно, но поскольку победить двурушницу-память, вдруг отделившуюся от нее, затеявшую свою игру, при этом продолжая делать вид, что по-прежнему работает на свою хозяйку, она не могла, где уж ей было теперь победить хоть кого-нибудь – ей захотелось просто лишиться памяти. Если память начала изменять и предавать, пусть лучше уходит. Совсем. А она, Галя Абрамовна, пусть лучше впадет в беспмятство. Пусть так и будет. Теперь жизнь, о которой совсем-совсем ничего не помнишь, казалась ей правильно прожитой, и она с облегчением утонула бы совсем в белесом склеротическом тумане.

Все вздор. Буквально все. Той женщине, которая по всем статьям была «ею» в прошедшем, крупно повезло. Она знала, что такое обеспеченное существование, никогда не нуждалась, красота и здоровье не изменяли ей очень долго – у других за это время вся жизнь прошла, и не такая уж малая; не менее важной, чем красота и здоровье, удачей был от рождения счастливый характер, простота и сердечность, за что все, кроме тех, кого и вспоминать не обязательно, ее любили и ценили – лет до семидесяти с лишним она чувствовала себя нужной, лет до восьмидесяти – не чувствовала одиночества. Да, она знала горе, но у нас горем не удивишь никого, это так уж положено, и считай – не считается; да и горе в дом пришло уже в третьей трети жизни, первые две она отделалась легким испугом, вообще же – за столько лет жизни в стране, живя, как и все кругом, то есть на пять минут не зарекаясь ни от сумы, ни, боже упаси, от тюрьмы, быть однажды на самом краю пропасти – и все-таки ни разу не влипнуть ни в одну историю... да, она знала горе, но не ведала бед; нет, поистине жизнь ее, за двумя-тремя исключениями, была хроническим подарком судьбы. Да, она успела – в ранней молодости – побывать за границей, только в Вене, не так долго, ни разу не побывала ни в Париже, ни в Риме, но ведь много-много миллионов людей вокруг вообще нигде ни разу не побывали, а ей и Вены хватило – какой чудесный, вальсирующий город

– и сейчас она уже и не жалела ни о Риме, ни о Париже, ни о Лондоне, достаточно вспомнить Вену, а смотреть, вспоминая, на фотографии Парижа и Лондона, чтобы и их представить себе – по ней. Впрочем, и Вена вспоминалась спокойно, без радости и без печали, да, город чудесный, но и только, красивый, как Париж и Ленинград, но – и: и в Вене, и точно так же и в Париже – такие же, хоть и другие, каменные здания, такие же, хоть и другие, люди, говорящие на таком же, как русский, только на французском или немецком языках, которые ей тоже были знакомы и не выезжая, теперь подзабылись, но не совсем, – а быть несчастным можно и в Вене, за милую душу: Петербург ее ранней молодости был ничем не хуже Вены (а Ленинград стал сегодня, при стольких годах новой власти, должно быть, даже лучше Вены, да и Парижа), а сколько там было несчастных людей, и так же и в Париже, несчастным быть очень даже можно где угодно, и вполне счастливым где угодно, в Самаре и даже Стерлитамаке, нет, она совершенно не жалела, а не жалела, так не стоило и жаловаться. Зато как ее судьба отличалась в лучшую сторону – от судеб бедных, нуждающихся, совсем нищих, голодных, калек; больных физически и душевно; погибающих на всяких войнах мужчин; некрасивых женщин с тяжелым характером (да и красивая, если у нее тяжелый характер, кому будет надолго нужна?); арестованных, подследственных, обвиняемых, осужденных, заключенных в «мрачные пропасти земли» мужчин и женщин; обворованных, ограбленных, изнасилованных; преданных самыми любимыми, брошенных, одиноких не в восемьдесят пять, а в какие-нибудь ерундовые шестьдесят; а есть и такие, у которых, как у Маяковского и Есенина, было все: талант, громкая слава, деньги, красота, чуть ли не гарем влюбленных в них таких же красивых, незаурядных женщин, их пускали в Париж и Нью-Йорк, когда туда никого не пускали, – а они были всегда несчастны, вечно маялись... чем, почему? Чего им не хватало? Неизвестно, но чего-то такого самого-самого, из-за чего они были несчастнее всех других, голодных и рабов, что привело их к петле или пуле, тогда как последний нищий, не евший досыта, а то и вообще не евший уже бог знает сколько, не полезет в петлю, а лучше останется в своей голодной, в отрепьях, но – жизни; и сколько по всем городам и весям таких маленьких есениных – некоторых она знала – с их маленькими несбывшимися надеждами, маленькими неудовлетворенными амбициями, но, может быть, такой же большой, но урезанной жизнью запредельностью стремлений, делающей их несчастными разве что чуть менее, чем Есенин, разве что не собирающимися вешаться, но так же мрачно топившими свое несчастье в вине и любовничестве без любви... Почему-то именно в России так много всяких страдальцев неизвестно за что и отчего, неудачников-мечтателей неизвестно о чем, охотников неизвестно за какой синей птицей, сидельцев по невесте откуда взявшейся по их душу статье, хронических холостяков и, как теперь говорили, «разведенков» – с явной приспособленностью и даже склонностью к семье, очагу, вместе-житию... Да, как выгодно жизнь ее отличалась от судеб всех этих горемык, мизераблей, несчастных причинно и беспричинно, составлявших даже и сейчас, при шестидесятилетней уже, спокойной, мирной, отечески-справедливой Советской власти, никак не меньшинство знакомой ей – а она многих знавала и о многих слышала, зубной врач и протезист, принимающий на дому, слышит не меньше, чем свой парикмахер и маникюрщица – части населения страны (Марк обязательно отметил бы эту фразу, подняв свой пресловутый палец, который следовало бы назвать «ковырятьельно-указательным»: «Вот именно! А по части можно судить о целом, да? Вот теперь ты говоришь, как разумный человек», – на что она могла бы ответить: «Бога ради, не лови меня на слове. При чем тут власть, когда народ такой? Хороший мы народ, но трудный, даже для хорошей власти. Представляешь, что было бы, если бы дать нам «свободу» на американский манер – свободу спекулировать, тунеядствовать и каждому иметь огнестрельное оружие!»)

И самый большой подарок судьбы – сейчас она видела это как никогда просто и ясно, – то, что она, за исключением одной вещи, всегда жила вровень с собой, полагала счастье не за пределом, а внутри пределов собственного гнезда, умела радоваться тому, что есть, и вовсе не думала, что держит в руках только синицу, тогда как журавль остается в небе. Синица, а особенно снегирь зимой, никогда не казались ей менее красивыми, чем журавль, и держать в руках синицу-жарптицу было очень даже приятно, и оставалось только хотеть, чтобы все и дальше так шло; и оно так шло и шло себе несколько десятков лет – и даже без тех специфических неприятностей, которые были знакомы чуть не каждому протезисту-надомнику. Ее подвид частной деятельности вообще принадлежал, сказала бы она, к группе риска – восемь из десяти частных протезистов ни на минуту не могли расслабиться и не думать о грустном, они тряслись даже ночами со страху быть арестованными по первому сигналу любого недовольного их работой пациента или недовольного их обеспеченной жизнью соседа и получить до пяти лет тюрьмы с конфискацией. Это было более чем реально – это происходило не с одним из ее коллег. Вот почему, не только по идейному убеждению, но и чтобы жить и спать спокойно, она всегда декларировала свои доходы, исправно платила налоги, а с золотом связывалась только и только тогда, когда лично знала человека за порядочного не первый год и доверяла ему всецело; но потому-то она и вкалывала всю жизнь по 10-12 часов в день, чтобы хоть что-нибудь заработать, вызывая жалость и раздражение Алексея Дмитриевича: «Сколько можно работать? Жена ты мне или не жена? Пойдем мы, наконец, в гости, в театр или хотя бы в кино? Этому будет когда-нибудь положен конец? Ты слышишь, Галя? Я с тобой говорю, ты слышишь?!» Ей хотелось ответить: «Конечно. Как только ты спокойно, без вопросов, начнешь носить боты “прощай, молодость”, ушанку с кожаным верхом и драповое пальто вместо приличной одежды и есть котлетки из кулинарии вместо настоящего мяса – вот тут и наступит конец. Будем ходить в кино. На что другое – а на два билета в кино хватит, даже на вечерний сеанс». Вообще же, как ни претили ее гражданскому сознанию уголовные преступления, но ее человеческому сознанию, откровенно говоря («Строго антр ну?» – «Да, Марк, строго антр ну»), было не совсем ясно, почему необходимая и трудная работа на грани искусства, пусть выполняющие ее даже и уклонялись от уплаты налогов, пусть даже и скупали золото, не спрашивая о его происхождении, а то просто покупали кольца и цепочки в ювелирном магазине и переплавляли, – считалась, судя по величине сроков с конфискацией всего имущества, хуже хулиганства, практически приравниваясь к разбою, антисоветской деятельности и другим тяжким уголовным преступлениям. За что работаге, пусть не совсем честно выгадывающему лишнюю копейку для семьи, но ведь выгадывающему не за счет клиента, не за счет качества работы – такие, мягко говоря, цорэс? Не проще ли уменьшить налоги? Не все, но почти все стали бы платить – ведь это плата за страх, точнее, за его долгожданное отсутствие.

Да, этой женщине крупно повезло; и вот еще в чем – в том, о чем только и мечтают: она дожила до спокойной старости, да еще в своей квартире, не в доме для престарелых – и до какой старости: совсем скоро ей восемьдесят восемь. Почти девяносто. Почти век. Вот уж поистине преклонный возраст – и, в общем, не лежащая больная. Редкость. Прекрасно!

А что в ее судьбе прекрасного? То, что было до какой-то черты; но это прошло, от всего хорошего остался только розовато-газообразный сон – как и не было. А потом, после этой черты, пошло, полилось, как из ведра: потери, потери, потери – родных и близких, друзей и знакомых, красоты и здоровья... И вот та женщина, наконец, слилась с ней, сегодняшней Галей Абрамовной; вот, наконец, ее прекрасная, ее *ходячая* старость в своей квартире – глухое, почти незрячее, скрипучее-

сыпучее одиночество-одиночество-одиночество. Жить, чтобы жить... Вздор. Чепуха. Реникса.

Интересно, о чем ты раньше думала? Да не может, не может смысл какой бы то ни было вещи лежать в ней самой! Смысл искусственных зубов вовсе не в них самих, а в том, чтобы жевать ими *вместо своих*, настоящих. Свой смысл фиксы получают от выпавших из-за пародонтоза или умерших от периодонтита настоящих зубов. И так всякая вещь — свой смысл она получает от другой вещи, большей, чем она. А смысл жизни? Если он у нее есть, то от кого большего, чем она, — от кого она его получила? А если смысл ее — в ней самой, то вот она кончается, вот совсем окончилась ее жизнь — и с ней вместе ушел весь ее смысл. Или она его передала чему-то, кому-то другому? Кому? Да известно кому — другому. Этот ответ всегда готов, издавна, у всех мудрых во всех народах. Делай другому добро, передай другому все свое лучшее — ты умрешь, он проникнется твоим лучшим и продолжит. Продлит твою жизнь в том, что ты передала ему, а он, опять же, передаст другому.

Что ж, может быть, может быть, аллес ист мёглих⁴... Делала ли она добрые дела? Кто знает. Специально, наверное, нет. Впрочем, она и сама не встречала благотворителей, за исключением организаторов и участников благотворительных вечеров в ее детстве и ранней юности. К этим добродетелям она никогда не относилась серьезно. Однако же — сама всегда старалась, по крайней мере, никому не причинить зла, что было во времена, в которые ей выпало жить, может быть, не так уж и мало. А случалось, и помогала — почему не помочь, все мы люди — Лиле, например. И, между прочим, правильно сделала, Лиля оказалась благодарным человеком, неизвестно, что нынче она бы вообще без Лили делала. Но ведь это просто удачный случай. А общий смысл? Что остается-то от этого всего? Ты ему помогаешь. Потом он умирает. Тот, кому он помогал, или отдавал свое добро тебе же — как у них с Лилей все замкнулось — тоже, в свою очередь, умирает, как и ты, как и всякий в этой эстафете или передаче по кольцу. С замкнутым кольцом все совершенно ясно — Лиле она что-то доброе сделала, и та ей благодарна, но вот уже Вите до нее нет никакого дела, и «добро» ее через Лилию — ему не передалось; спекулирует себе — пусть, но очевидно, что все ее доброе в э т у с т о р о н у где началось, там и кончилось — на Лиле. Но так же ведь и с «эстафетой». Где-нибудь она прервется наверняка. Не бывает так, чтобы ты ему, он детям, а те — детям детей, и так сотни лет. Не бывает — и все. Жизнь не спорт. В жизни нет тренеров, набирающих команду бегунов из сильных и равносильных (причем жизнь этой команды — максимум несколько лет). В жизни всегда где-то что-то произойдет непредвиденное — на то она и живая — и насовсем. Кто-то обязательно умрет бездетным, или замкнутым и одиноким, так что если и захочет, никому слово доброе сказать не сможет — ни души вокруг; или таким эгоистом, что сколько бы ему ни передавали, сам никому ничего доброго не сделает и не передаст — и тут всему, что в него вкладывали все предыдущие, и конец. Смысл этого всего? Цель? Были, да сплыли. Выработанная золотая жила. От твоего «добра» не останется ровным счетом ничего.

Да, но такова и цена... любого дела! Лю-бо-го. Все эти, как их там, «пароходы, строчки и другие долгие дела» (а уж как Зара читала Маяковского на выпускном вечере — бог ты мой, в какое разное время жили она и доченька: она на своем выпускном читала Гамсуна, а дочь — Маяковского) — все это вздор. Реникса. Какие такие пароходы? Зачем ей, чтобы ее именем назвали пароход? Это просто не-серьезно — плыть на пароходе «Геля Атливанникова». Три ха-ха, как говорили когда-то и она, и ее подружки. А кончают все эти пароходы и паровозы ржавчиной, дырами в них — и свалкой. Как она сама. И никакие не долгие эти дела — ни один пароход не плавал, со всеми ремонтами, целых восемьдесят семь с лишним лет, как она

⁴ Всё возможно (нем.)

сама, ее дело более долгое, чем быть пароходом, да только чем дольше она плывет, тем тяжелее и ненужнее плывется, вот удел всякого действительно *долгого* дела; «и всякая штука», – говорил какой-то герой Антона Павловича, ее всегда смешило, так ей ли во всякую такую «штуку» верить?

Дела. Сверхшения. Они останутся от человека после его кончины. Самые мыслящие, самые умудренные – а кому тогда верить, если не им, – так и говорили. Вот этот... ну, самый главный герой этого... ну, самого главного у немцев, она еще учила-учила его и выучила так, что помнит до сих пор пару строк – этот вот самый-самый умный, вот и он все испытал, в отличие от нее, маленького человека, что с нее взять, и в итоге смысл увидел только в деле. Дельный он был и себя нашел только в великом свершении. Город, что ли, он там строил, дай бог памяти, и болото осушил; то есть – он стал мелиоратором, что ли? Как там написано? А кто ж упомнит все, что там написано; выходит – да, мелиоратором, осушил, построил на месте болота город – и только тогда говорит, наконец, то есть всю свою долгую жизнь всё испытывал и ничего лучшего не испытал, чем осушить болото. Он говорит, как это... подожди, подожди... а, вот: «Verweile doch, – говорит он этому... Augenblick' y⁵ – du bist so schön»⁶ (да-да, еще что-то помню и умное по немецки – вот как умела зазубрить, на семьдесят лет вперед, да... а как его звали, этого... и того, кто его написал, – забыла, начистоту, как жалко...) Жить, значит, стоит для этого. Что там жить – за это не жалко душу отдать дьяволу. Странно, что он не подумал: да, этот «аугенблик» прекрасен, ради него стоило жить. *Мне*. И ладушки. Тебе стоило. Вот только зачем других в свои дела впутывать? Не надо никого никуда звать – в стихах не то, что в жизни. Пишешь-то в стихах, а зовешь ими в дорогу за собой живых людей. А у людей все как у людей: возможности остановить хотя бы одно-единственное мгновение ни у кого на земле – нет, жизнь продолжается и продолжается – и в один прекрасный день и дураку станет ясно: новый город, пусть он лучше всех старых городов, все равно не лучше: люди в нем умирают точно так же, как во всех старых. Все множится на нуль. Так ради чего все это написано? Нет спора, города строить надо, а особенно квартиры планировать лучше и больше, чем у нее, хотя сколько ей нужно, комната аж 15 метров, ей и этого много, кухня за последний год куда-то совсем от нее отодвинулась, было бы меньше места в квартире, некуда было б ей отодвигаться... но при чем тут «Verweilen doch, Augenblick!»? Опять реникса.

Главный гений во всей премудрой Германии, а не понял простой вещи: сколько ни осушай болот, конец иглы надламывают, всего-навсего, и приходит **она**, и берет тебя за последнее живое, и все встает на свои места – Смерть стоит перед тобою, а ты перед ней, и это... ай-ай-ай, как это нехорошо! Только здесь, только теперь ты видишь все, как оно н а с а м о м д е л е. И ты понимаешь, Геля, Галя, ты понимаешь теперь: все, что было и чего не было в твоей жизни, но могло бы быть, если бы тебя родили Анной Павловой или Сарой Бернар, или Клеопатрой, – все-все жемчужины, и цветы и лавры, весь успех и пена всего шампанского, сколько его есть в мире, и даже исполненный тобой «Умиравший лебедь», и даже склонившийся перед тобою повелитель мира Цезарь – все-все это, вообще все – реникса, чушь, пустяк перед огромной, величиной во Вселенную, крокодиловой пастью с четырьмя рядами отборных, без единой пломбы, зубов, собирающей тебя сожрать. А те, кто не видит этой вечно голодной пасти всегда перед собой и всегда открытой... тех просто не клевал еще жареный петух, как говаривала после хорошей стопки «Московской» ее соседка по двору, домработница Понаровских Маша Телегина, покуда упомянутая ею птица не клюнула ее самое, и после очередной

⁵ Остановись, мгновение (нем.)

⁶ Продлись, побудь ещё – ты так прекрасно (подстрочник соответствующей немецкой фразы из «Фауста» Гёте)

стопки не хватил Машу, продолжая ее словами, кондратий, который и стал ей – повезло, что недолгим – провожатым на пути из шестиместной палаты клинической больницы в Шестой Тупик. В Ничто Никогда.

Подумать только, она совсем недавно и сама верила во всю эту ерундику, и даже в строительство городов и запуски наперегонки в космос – несчастные люди, думающие, что космический скафандр отменит скафандр куда более надежный: гроб в могиле в матери-сырой земле. Галя Абрамовна даже выбрала число в этой заведомо проигрышной рулетке (правда, тогда она этого не знала, но сейчас не могла не вспомнить читанное и слышанное весьма часто по разным поводам за свои восемьдесят семь: «Незнание законов не освобождает от ответственности») и поставила на него. Это была – «слава». Желание славы – это и было той одной-единственной вещью, в которой она не была равна себе, тем, что нарушало покой ее самодостаточности. Правда, прославиться надлежало не ей, она все-таки не сошла с ума настолько, чтобы перестать трезво оценивать свои способности. Прославиться должна была Зара – и с собой взять в историю театра счастливую мать. Как Моцарт. Где ни помянут Моцарта – там непременно помянут и его отца, а помянут Гамлета – помянут даже *тень* его отца. Правда, Гамлета не было, но тот, кто его сочинил, сумел обессмертить даже *тень* отца того, кого не было, – вот какова сила искусства. Так она тогда думала, в первую очередь о Заре, а во вторую немножко и о себе – и отдала для начала Зару в драмкружок при Дворце пионеров. Зара всегда была послушной, исполнительной девочкой. Она исполнила все, чего от нее ожидала мать, – начала учиться на артистку в драмкружке и закончила ГИТИСом. Но дальше... – Бог мой, сколько же ты испортила себе и Зарочке крови, когда выяснилось, что дальше вторых ролей в куйбышевском драмтеатре дочь не пойдет! Собственно, распределение домой, в Куйбышев, еще не было так уж плохо – звание академического провинциальному театру за здорово живешь не давали, из него вышли большие актеры, и Николай Симонов, и Толубеев, и многих и сейчас забирают то во Москву, то в Ленинград; но – вторые роли! И если бы по ее малой даровитости – нет же, ее сразу после прихода в труппу вводили на Нину Заречную... И хотя в дальнейшем Зара устроилась в Москве (собственно, и вторые роли, и ее отъезд диктовались одной причиной, обычной историей – романом с главрежем, разумеется, женатым на актрисе, разумеется, больной женщине, которую бросить он как порядочный человек, разумеется, не мог, но которой болезнь, разумеется, не помешала обратиться в партком театра с письменным заявлением), – но всего-навсего артисткой Москонцерта, каким-то чтецом-декламатором!.. Ее материнское честолюбие так и не могло примириться с этой несправедливостью до самой Зариной смерти. Артистка Москонцерта... сколько пролито слез, выпито сердечных капель – все из-за чего? Чтобы после просмотра спектакля, где Зарочка сверкала бы в главной роли, говорили: «Сегодня Иткина была в ударе» – или: «В своем роде она очень ничего. Но сам этот род не в моем вкусе», – а не то просто: «Что вы в ней нашли? Обыкновенная истеричка. Нет? Ну, хорошо, не совсем обычная. Истеричка со своим лицом». О да, ради такого – стоило жить и бороться. Стоило останавливать мгновенье.

Вздор. Никакое мгновение незачем останавливать: останови его – оно перестанет быть мгновением. Тогда, если оно тебе мило, – осточертеет. Если не мило – тем более незачем. Все вздор. И мгновение славы, и долгая слава – такая же реникса, потому что память... что вообще – память?

Слышишь? Живешь с мужчиной. По страстной любви. С кем не бывает. Проходит время – проходит страсть, вы расстаетесь. Житейское дело. Само собой, как в каждой серьезной, не недельной связи, в вашей была для тебя пара неприятных минут. Таких, о которых потом вспоминают, краснея. Связанных с *его* непозволительной грубостью, потребительским отношением к тебе, когда ты точно знаешь,

что ему нужно от тебя только тело, ты для него – живой кусок мяса, не более; с твоей излишней страстностью, когда ты, выйдя из-под своего же контроля, позволяешь себе и ему в отношении тебя – все, буквально все, ничего не стыдясь, а потом, вспоминая все звуки, которые ты издавала, и как вы с ним... и как он тебя... а ты... и говоришь себе, что теперь он перестанет не только тебя уважать, но решит, что ты нимфоманка из тех, с которыми обходятся не как с леди, а как со шлюхой – и так и будет с тобой себя вести. А если на тебе еще случайно оказалось несвежее белье... И что же? Часто ль вспоминаешь ты об этом лет десять спустя? Не дает ли покоя мысль, что *он* все помнит? Горят ли щеки оттого, что по земле ходит где-то человек, чья память, произвольно или случайно, в любую минуту воскресит тебя тогдашнюю и с тем вместе – о тебе – вещи самого непристойного, унизительного свойства? Да ничего подобного! Вот уж три ха-ха. Пусть себе вспоминает, если ему больше нечем заняться. Вспоминает-то он не *м е н я*, а то, что в его голове носит мое имя; что вы, в самом деле, целых десять лет прошло! О чем вы? Да и кто такой «он», скажите на милость? Где «он» бродит? Да «он» сам всего лишь имя в моей голове, точка на грифельной доске моей памяти. А вот возьму тряпку – и нет этой точки.

Да, *его* нет как нетушки в моем мире. А ведь *он* был со мной близок как только возможно. Мы сливались друг с другом. И вот после этого через каких-то пятнадцать лет и он сам, и все, что помнит он обо мне, – начисто перестает меня интересовать. Смех и горе! Что после этого сказать о славе, когда всякая твоя слава – это мысль, воспоминание, разговор о тебе – людей вообще тебе незнакомых (были бы знакомы – это бы называлось «признание в узком кругу»), попросту не существующих для тебя людей, то есть то, что *вообще не должно иметь для тебя ровным счетом никакого значения!* Ну скажите на милость, можно ли после этого представить себе что-либо глупее желания прижизненной славы?

Можно: желание славы посмертной.

Тут старуха, цепляемая, мучимая вне-мыслимыми, вне-словесными смыслами, на внесловесный же вопрос «можно ли представить глупее..?» – у в и д е л а внутри себя, в своем сердце, приведенный выше ответ – или нет, не внутри нее, но перед ней, нет, сразу и внутри и перед ней предстал, ей предстал и одновременно скользнул внутрь, одним быстрым уколом под лопатку, безо всяких слов отчетливый ответ, до того ясный, что она открыла рот с леденцом, прилипшим к языку, и так осталась сидеть, открыторотая, вперившись взглядом в зримое ей одной.

(К представшему ей видению, уколу-ответу, развернув его смысл, можно было бы дать сразу несколько разных, разбегающихся в стороны, но в равной степени верных словесно-мыслительных подстрочников. Впрочем, достаточно двух. Первый: «... желание славы посмертной, когда некому будет даже тешишься идефиксом, будто само количество несуществующих для тебя посторонних, уплотняясь в одно большое число, перерастает в иное качество, где не существующие для тебя порознь люди слипаются в один осязательно-осязаемый, сладкий и теплый ком некоего «благодарного человечества». И «всякая штука» вроде мечты о бессмертии своего дела или имени есть самообман, происходящий от невозможности живого представить как следует – свое *полное отсутствие* – ведь само *его* представление есть уже *присутствие*, – что ведет к обычной неправильной картине своей смерти: представляешь себя умершим, то есть никем, отсутствующим – и тем не менее видящим свою смерть, одновременно *полное ничто* – и мир без себя и продолжение своих дел, завещанных тобою живущим, или живую память о себе в людских сердцах. Это так просто, что мало до кого и доходит; люди продолжают умирать «за родину», «за идею», «за дело своей жизни» или хотя бы говорить о том, что они умрут за это, и вообще – «я и пожил, и был нужен на своем месте, и теперь

приму что мне на роду написано, как те, кто жил до меня; не всё же себе — уступи место другим, входящим в жизнь, пусть они поживут и продолжат мое, а я отдохну, наконец...», — бессознательно подразумевая: «... отдохну, мертвый глядя на бесконечное течение жизни и без меня».

Второй подстрочник: все уместается в величину разницы между почти, казалось бы, синонимами — «все» и «каждый». Все люди — это же и значит «каждый человек». Но это только кажется. Пока жизнь сильна в тебе, ты представляешь свою смерть взглядом «всех», где потеря одного, пусть и «тебя», ничего не меняет в общем потоке жизни; но как только ты даже слегка, но вживую — мертвую — чувствуешь пожатие командоровой десницы, — моментально меняется ракурс зрения, смотришь не взглядом «всех», но взглядом «каждого», одного из «каждых», именно же твоим и только твоим взглядом — и как тогда страшно меняется открывшаяся картина, и куда деваются «все»!)

Посмертная слава — вот вздор так уж вздор. Похлеще всех остальных...

Не она одна осознавала: Смерть — имя существительное и по праву требует серьезного отношения к себе. Были и другие, среди них великие; они куда раньше ее — разве ей с ними равняться? — совсем молодыми в упор, замороженно на **нее** глядели — и не могли оторваться. И что удумали? И пусть у гробового входа-та-ра-ра-ра-ра-ра играть, и равнодушная природа чего-то вечно сиять. Пушкин. Неправда, Пушкин. Не «пусть», ничего не «пусть»! (Не всегда и ты прав... или — сам себе зубы заговариваешь?.. Опомнись, о ком ты?.. Ты понимаешь, о ком? А что, разве и он не живой смертный человек, и разве я не живой смертный? Он уже умер, а я еще нет. Почему я должна соглашаться, если не согласна? Вот бы его, когда он умирал, спросить). Другой, не такой, но тоже великий, тот сказал лучше: «Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть». Вот именно, «не тем», совсем не тем. Заснуть навеки, но быть живым. Это выход из того положения дел, при котором бесконечная жизнь невозможна, да и не нужна — если она сейчас едва справляется с жизнью, то каково же будет ей и какова же будет она всего в какие-нибудь двести пятьдесят, — а смерть невозможно страшна. Да, именно так. Он был молод, совсем мальчик, но разумом не хром, и сказал то, что чувствовала и она в свои под девяносто. Если бы Галя Абрамовна была — поэт, она бы именно такие вот гениальные стихи и писала и так бы утешала себя... довольно долго, в отличие от гениального мальчика, который умел писать *такие* стихи, а жить не умел; долго-долго, пока маячила бы впереди большая жизнь с маленькой точкой в конце... да, а потом точка выросла бы у нее на глазах в пропасть без дна, а ее большая жизнь уменьшилась бы до маленького камушка-песчинки на самом краю этой пропасти — и тогда б она быстро сообразила, невзирая на дряхлость рассудка, как соображает сейчас, что заснет вот-вот, ее, песчинку, сдует туда при малейшем дуновении ветерка, и заснет именно **т е м**, именно **х о л о д н ы м с н о м м о г и л ы**, и тут перестанешь шутки шутить, милая моя, тут...

Самоосуществление. Ха. Перед лицом Смерти. Три ха-ха. Так пятилетний ребенок борется с отцом, крича: «Я тебя заборол! Я сильнее!». Только вот Смерть — не любящий папа. Она не такая киса, чтобы, ласково шутя, ложиться на лопатки (уф, холодно; что-то не греет и пуховый платок).

А еще о чем говорят — о назначенье. Как это?.. о «нравственном долге». Однако она вроде бы никогда ни у кого не одалживалась. Разве что должна была матери — так она по-человечески с ней и расплатилась, содержа ее десятки лет до самой смерти и затем похоронив честь по чести. Может быть, задолжала Алексею Дмитриевичу — да, так; за неверность ничем, никакими деньгами не расплатишься. Разве многолетним чувством вины, если это имеет хоть какое-то отношение к отдаче долга... Но — кому еще? Жизни — за то, что она вообще родилась? Так она

же и платит жизнью, и совсем скоро выплатит все до копейки. Что — до копейки? Если учесть, что вместе с жизнью ей дали в придачу неотъемлемые от жизни страдания, можно сказать, что свой долг она возвращает с процентами. Но смысла выйти из ничего вначале, чтобы стать в конце Ничем Навсегда, смысла в том, чтобы, выполняя свое назначение, вылечить и наставить зубов людям, которые уже стали Ничем, и чтобы на эти деньги содержать семью, которая давно стала Ничем, по-прежнему не видно.. Другого же назначения ей не дали — по крайней мере, она за собой никакого более высокого призвания не числила никогда, без дураков.

Зачем? Зачем? Зачем?

Но человек — издеваясь, говорят эти уколы и крючья, — человек еще в долгу и перед будущим. Но чем этот будущий так уж лучше тебя сегодняшней, что ты должна, живя, все время думать о нем, а не о себе? И потом, если конечного получателя у этой эстафеты нет, все так и живут ради следующего — то кому и зачем мы, я и все, отдаем? Нет ответа. А если он есть, этот конечный получатель, которому уже не надо отдавать, а только тратить все, полученное от сорока сороков пред-идуших, — то сможет ли он столько потратить? На что ему столько? Не спать же на сундуке с накопленным добром, как мама ее Софья Иосифовна. Да, куда он все это денет? Как всем этим распорядится?

Немыслимо. Лучше уж каждому приобретать и тратить свое, чем доверить все невесть кому... и уж во всяком случае не может эта ничем не гарантированная, неизвестно кому (вдруг он будет глуп, эгоистичен, недобр?) адресованная передача из рук в руки стать целью моей одиножды данной жизни. Да. Но если опять вернуться к себе, и только — тут ты уже знаешь, тут все более разумно, но не более. Что в лоб, что по лбу — опять и опять реникса. Дичь.

Зачем? Зачем?

А вот, вот оно; незачем и воспарять высоко и далеко. Вот рубашка, что ближе к телу: бессмертие в детях. Это женское — родить. И мужское: чтобы мальчика. Да, против голоса крови — что скажешь? Она вот тоже, как и все, хотела — и родила; и та, которую она родила, умерла. Ну и вот что она скажет. Кровь, переливающаяся из жил в жилы, не вода. Это так. Но *верить* в это переливание крови как в высшую веру — могут только те, кому не довелось, как ей, пережить собственного ребенка да еще и увидеть его кончину. На этом все кончается, все, всякие представления, что завтра будет лучше, чем сегодня, что твой ребенок увидит это светлое завтра, а его ребенок — светлейшее послезавтра, и тэдэ — и все это светлое так и будет нести тебя, твою кровь, в себе, будет твоим продолжением...

Вот что знает она, она много на себя не берет, но вот что она знает точно: родить человека — значит обречь его на неминуемую смерть. Родить существо, обрекая его тем самым на полное уничтожение, — жестоко. Бессовестно и бессердечно.

Бессмертие в детях! Три ха-ха. Эстафета. Эстафета смертей! Да и та-то... Ведь вот она, Галя Абрамовна, сидит сейчас в кресле, черном дубовом кресле с высокой резной спинкой, с когда-то коричневыми, а теперь вытертыми почти добела сиденьем и подлокотниками, в отцовском кресле; сидит и вмещает в себя весь свой род, происходящий от одного из двенадцати колен Израилевых, верить в это, нет ли, как она не слишком верила, — но уж наверняка очень древний, сотни-сотни-сотни лет. Чего ради старались они, среди которых были наверняка более, куда более ее заслуживающие уважения? Ради того, чтобы на свет появилась она, Геля. Что ж, она и появилась на свет. Она и стала конечным получателем, родив ребенка, который уже никого не родит, как и она сама. Ну и как она распорядится полученным — и прежде всего кровью, текущей в ее жилах? А вот как — в ней свернется кровь рода. Она родилась, чтобы покончить со всеми предками,

жившими ради нее. Она не виновата, что ей придется прекратить своей кончиной течение десятков судеб, сотен и сотен лет, но факт: умерев, она прихлопнет их всех.

Так ради чего были они все? А ради ничего.

А что от них останется? Да ничто. Ничто Навсегда.

Смерть — есть. Но уводит она туда, где ничего нет. В ни-что. Это не минус. Минус — это уже что-то. Ничто же — нуль. Абсолютный нуль. А все, что множится на нуль, каким бы большим и великим оно ни казалось, есть тот же нуль.

Галя, Геля, и ты, дурочка, и каждый, кто стоит сейчас или только еще будет — но обязательно будет! — стоять перед жутким лицом Смерти, все вы всего-навсего падальцы, червивые перезревшие яблочки, и никому-никому-никому не интересно знать, какими налитыми золотом, какими сладко живыми были вы когда-то...

И теперь, когда ей открылось ясно-зримо такое простое, что уже почти можно было думать словами: в земной, временной жизни нет и не может быть ничего такого, что *само по себе* было бы вечной ценностью, действительной целью, служило подлинным утешеньем, — теперь старуха могла бы, если бы хватило ума и сил осознать и пережить, только подивиться хитроумному устройству своего естества. Аппарата, до поры до времени не принимающего сигналов того, что н а с а м о м д е л е. Ведь только поэтому становится возможным исполнение самой долгой, самой трудной работы: дожить до смерти. Да и когда знание входит в человека — старуха, кажется, по крайней мере, отчасти осознавала это, — оно входит не сразу, не целиком, не полнотой страха, а дозированно, появляясь и исчезая, чтобы душа поглощала его более или менее удобоваримо. Она понимала, что надо благодарить столь мудрое устройство, давшее ей прожить почти девяносто лет, подожди, сейчас... возьмем бумагу, подожди, столбиком, столбиком, подожди, не путай... почти 30 тысяч дней, что-то около 720 тысяч часов, более... 700 тысяч минут, ну и значит 240 миллионов — миллионов, это ж надо! — миллионов секунд без того изнурительного, хронического ужаса и безнадежности, одолевающих больного, которому сообщили, что болезнь его смертельна. А ведь каждый и есть смертельно больной от рождения, уведомленный об этом; и что же? — да ничего, живет себе и радуется. Или не радуется — но не по указанной выше серьезной причине, а оттого, например, что его зазноба глядит в другую сторону, или заводителением вызвал его и снял с него стружку по жалобе больного.

Да, это придумано и устроено на славу; но почему-то благодарности в ней не вызывало — ей мешало скверное ощущение, что ее провели за нос. Где-то в милосердии этом таился подвох, какое-то в этой заботе о ней чудилось «якобы»... да, вот, вот — зачем вообще все это затевать? Рождайте людей всего на восемьдесят семь лет, а то и меньше, и всю дорогу заботливо играть с ними в серьезные радость и печаль, чтоб под конец — поиздеваться всласть? Да, вот сейчас, нынче, теперь, когда она вычерпала всю положенную ей порцию радости и горя и думала, что прожила серьезную, в общем, человеческую жизнь — тут-то до ее сведения более чем доходчиво доводят, что нет никаких серьезных и достойных жизней, как нет и несерьезных и недостойных, а всякая жизнь, достойная они или там какая, всего-навсего стремится к Смерти, и всякой жизни, хорошая она или плохая, — что не значит равным счетом ничего — это всегда не мытьем, так катаньем удается: умереть. Потому что очередной глоток жизни это очередной глоток Смерти; стало быть, в итоге жизнь и есть смерть.

Да-да, так, именно так. Да-да. Прожила жизнь, а умирать не умираешь. И теперь точно знаешь, что и не хочешь. У Смерти такие белые зубы; такие большие зубы; такие крепкие зубы — протезы ей ни к чему. Скольких она уже... а теперь твоя очередь — прими как должное. Не хочу-не хочу-не хочу. Значит — что? Значит, хочешь жить? Нет: не хочу умереть. Да, но не умереть это — жить. Пусть. Пусть

так, раз по-другому не умереть нельзя. Но — смысла нет, сама же видишь — согласна? Ну и не надо его. Без него поживу. Так, чтобы только — не умереть.

Так теперь она и жила: чтобы не умереть. Почти безногая, полуслепая, утратившая цветовое восприятие тех расплывчатых пятен окружающего, которые еще были доступны ее зрению, наделенная только черно-белой оптикой, свойственной, как считают, быкам и собакам, с конечностями, эпидерма которых от медлительного кровоснабжения (подумать только, каких-нибудь пятнадцать лет назад она жить не могла без педикюра, к ней приходила на дом за приличные деньги мозолистка, срезавшая ороговевшую кожу с пяток, после чего ноги могли, наконец, дышать), старуха жила, оказываясь способной сразу к двум формам чувствования: обонянию и вкусу. И она ела; она ела, хотя нужно ей было очень немного.

Она ела, чтобы чем-то наполнить свою жизнь. Чтобы убить время. Не потому, что ей было скучно — старческое угасание почти свело на нет ее притязания на утеху и развлечения, — но чтобы заглушить страх Смерти. Самое загадочное, противоречивое в ее теперешнем существовании было то, что, панически боясь следующего, может быть, окончательного прихода **ее** и с тем вместе окончательного уничтожения ресурса времени, еще у Гали Абрамовны имевшегося, она тем не менее вынуждена была сама убивать свое остаточное время, ускоряя его полное расходование, так как медленное и не заполненное ничем его течение было непереносимо — именно из-за наполняющего до краев опустевшее время смертного страха.

После того ночного, ознакомительного визита Смерти страх постоянно жил в ней — как постоянно ноющий зуб, мешающий жить, спать, думать, но не властный совсем, без остатка, прекратить процессы сна и мышления. Изумительная сила всех без исключения жизненных процессов делала даже распад, самое угасание жизни настолько живуче-сильным, что слабое, хотя и постоянное напряжение страха не могло помешать старухе ненадолго отключиться и задремать в любую минуту.

Но стоило **ей** пожелать напомнить о себе, стоило нажать кнопку — и сильнейший страх сотрясал ее позвоночник, сотрясавший в свою очередь то, что на нем держалось — всю ее. Это было что-то вроде пытки электротоком, как старуха представляла ее себе по газетам, описывающим происходившее в Чили. И так как миг очередной вспышки страха был непредсказуем, как миг очередного припадка у эпилептика — доподлинно известно только, что припадок непременно придет снова, — она боялась теперь страха Смерти больше **ее** самой и делала все, что в ее власти, чтобы отвлечься от мучительно-навязчивой боязни страха.

Галя Абрамовна извлекала на свет божий все свои припасы: немного сливочного масла, приносимого Лилей последнее время все реже, — почему? — колечко докторской колбасы, банки и судки с изделиями домашнего стола, так удававшимся Лиле: желтый, наваристый куриный бульон с клецками, от которых бульон мутнел, однако же и вкуснел, пару прелестных, с чесноком и перчиком, котлеток или десятка полтора уже сваренных и начинавших слегка расползаться пельмешков; а в иные дни Лиля баловала старуху теми яствами смешанной русско-еврейской кухни, которые говорят о празднике в доме: паштетом из говяжьей печенки с горькой золотистых шкварок наверху, тертой редькой, заправленной гусиным салом, пирогами с капустой, ливером, зеленым луком с яйцами, фаршированной рыбой-«фиш» со свекольным хреном, холодцом из коровьей ноги или моталыги, домашней бужениной, судаком под красным маринадом или судаком по-польски, политым растопленным маслом с крошеными яйцами — всем, чем умела Лиля радовать ее алчущее нёбо, ласкать трепещущие ноздри и отягощать старушечий желудок. Галя Абрамовна, давно понявшая простой, но важный секрет вкусного стола, раскладывала содержимое по многим тарелочкам и уставляла ими весь

стол; затем наполняла графин – в последнее время в него стало крайне трудно попадать, не пролив, но она старалась – компотом из куряги (так, что-то среднее между «я» и «и», всегда произносили все в Куйбышеве, слыша постоянно на рынке, как произносят слово «курага» сами узбеки: Куйбышев был самым большим железнодорожным пунктом между Ташкентом и Москвой, и на рынке здесь оседали прежде всего нацмены из Средней Азии, а не с Кавказа) и чернослива или клюквенным морсом, тоже Лилиного изготовления, и водружала мерцающий, прозрачно-красный или желтый (увы, лишь по памяти) конус в центр стола. За годы жизни с Алексеем Дмитриевичем, который просто не сел бы обедать, если бы за столом не ждал его графинчик старки или перцовки, хотя больше одной-двух рюмок, как тогда почти все приличные люди (вот же привязалось воспоминание, и с ним снова: ай да Витенька – и это тот ребенок, которого она таки научила повязывать кашне!), Галя Абрамовна привыкла к определенной картине полного, настоящего обеда.

Полуслепая старуха не могла уже насладиться бархатистым коричневато-серым тоном горки паштета, в центре которого отливало золотом жареного лука и шкварок, или нежнейшей мутно-белесой поверхностью хорошо застывшего студня; но с тем большей силой пьянили, кружа ей голову, грубые чудесные ароматы чеснока и хрена, и нежное веяние укропа от малосольного огурчика, сладко-горький запах слегка, правильно подгоревшей капустной корочки голубца, горьковато-терпкий запах печенки и дивное благоухание корицы в еще теплой Лилиной выпечке.

Поняв еще в молодости серьезный смысл материального благополучия, состоящий в его способности оградить от опасностей и тревог, создать устойчивое поле независимости, душевного равновесия и комфорта, Галя Абрамовна, не будучи уже в состоянии окружить себя ворохом вещей, грудой безделушек (а было же, право, было и у нее некогда кое-что, какие-то меха, какие-то даже драгоценности), обносила себя теперь взамен частоколом съедобностей, разумеется, менее долговечных, нежели золото и хрусталь, но столь же надежных в том отношении, что, мертвые, не имеющие свободной воли, они не грозили предать, подвести – обратиться против тебя.

Она всегда, пока была в силах, следила за собой, своим весом и фигурой, и с тех пор по сей день привыкла думать, что ест очень немного; так человек, некогда обладавший пышной шевелюрой, все продолжает, кроме разве что утреннего взгляда в зеркало, представлять себя с нею, даже когда окончательно облысеет. Не имея четкого представления о собственном зрительном образе, что характерно для большинства людей, за исключением тех, для кого постоянно смотреться в зеркало – профессия или удовольствие, человек чаще всего представляет себя таким, каким когда-то запомнился себе, однажды придясь себе по душе, не любящей расставаться с представлениями, ей дорогими. Так и старуха представляла теперь, что не ест, а так, поклеывает; на самом же деле она сейчас ела за взрослого здорового мужчину, а когда ее небольшой от рождения и не раздавшийся за предыдущую умеренную жизнь желудок отказывался вместить много сразу, она возмещала это тем, что ела пять-шесть раз на дню понемногу. Однако продолжала думать, что ест мало, не только потому, что противоположная точка зрения была бы для нее оскорбительна, но потому еще, что, впадая в склеротическое рассеяние, могла продолжать есть, сама того не замечая, и искренне удивляясь потом, куда это подевалась вся та вкуснятина, изобилие которой еще нынешним утром давало ей радость предвкушения неоднократных наслаждений.

Все же поглощение пищи не могло наполнить целиком даже ее уменьшенного, усохшего существования. Слишком уж много времени в праздных сутках, особенно если они беззвучны и тем безразмерны; и снова, снова слышала старуха шум дождя и разрывы грома в ясный солнечный день, и голуби, садившиеся на ее

подоконник, гулили тихой, дальней, страшной пулеметной очередью за Самаркой... И слышала она еще, как смолк и пулемет, и гром, и шум дождя, и в наступившей вдруг полной тишине встряхиваются, осыпаясь, отмершие частицы ее пустой жизни; и вновь утверждалась она в новом знании, данном ей теперь: жизнь ее и есть только движение в Ничто Навсегда, представляющее собой крайне тяжелое, почти непереносимое бремя для человека, лишенного, подобно ей, возможности обмануть себя, залить душу вином, забить ее работой, заполнить всякими «интересами», половой или родительской любовью – и обреченному тем самым видеть жизнь как она есть, жизнь-Смерть, безотрывно глядя в ее бессмысленное и безобразное лицо – бессмысленное лицо жизни, чреватое проступившим сквозь него безобразным лицом Смерти.

И старуха, видя совершенно ясно, каким милосердным избавлением от унижительной бессмыслицы, беспросветных тягот и безнадежных мучений старости явился бы для нее окончательный приход Смерти, не могла взять в толк: почему все-таки ожидаемый приход **ее**, казалось бы, столь желанный, рождал вместо радости этот неистовый страх, который и страхом-то может быть назван только убогости языка человеческого ради? Почему человек, стоящий у черты, за которой исчезнут все его горести (и никаких радостей вместе с ними – радостей не осталось, жалеть совершенно не о чем), и занесший над ней ногу (сказать ли лучше – которого *тянут* за ногу), чувствует вместо радости освобождения: словно столбняк сковал – и вот уже чей-то быстрый нож вспарывает горло под кадыком над межключичной ямкой, и – лезет кто-то схватить тот натуго натянутый шнур, на который нанизано твоё тело, тонкий провод, по которому течет ток твоей души, твоё дых-аани-е; и хватает его и, затянув, дергает на себя через взрезанное горло, и ты бьешься в удушье, как рыба на кукане, хлюпаешь ртом, и – тошнит...

Этот столбняк, судорога, холод внизу живота, горло, прорезанное сияющей выбиться из него немотой... что это? почему это?

Боязнь взрыва всего, составляющего «я». Ее со-става. Внутри нее, никому, кроме нее, не слышны, во всю громкость включенной радиоточки по-прежнему вопят, визжат, жалуясь ей, тонкие голоски миллиардов ее же клеток, все это время с момента посещения их **ею** не перестающих метаться и стенать от невыносимости разъединения всех со всеми – насовсем. Это ясно. Животный инстинкт самосохранения. Но есть, явно есть в этом страхе и еще что-то; что-то не столь ясное... совсем не ясное, невразумительное и все же – отчетливое...

Чувство, будто уходишь в Ничто Навсегда, кончаешься без остатка, а там, внутри Ничего, там тебя, исчезнувшего без остатка, то есть Никого – уведут, чтобы отправить в путь. Тебя вот-вот не будет совсем, это точно, считай, тебя уже нет, но этого Никого, кем «ты» станешь, считай, уже стал, уведут, уже ведут в путешествие по чему-то темному, огромному и бесстрастно волнующемуся, подобно ночному морю. Да, там, внутри Ничего или за Ничем – есть что-то еще. И слышишь шум в ушах своих, и день ото дня все громче этот шум, пока не понимаешь: то не шум твоей крови, которой уже нечем шуметь, а именно рокот волн, по которым вот-вот – и ты, которой не будет, ты-не-ты – Никто – тронется в плавание. И хотя ты, пока ты еще здесь, знаешь, что *там* ничего, ровно ничего нет, что загробная жизнь – еще большая реникса, чем все остальные, но чувство, что *там тебя ждут*, и ждут не только тебя-Никого, но и *ч е г о - т о от тебя-не-тебя-Никого* – это чувство, это достоверное, как тошнота, осознание невозможной – как может быть что-то внутри полного Ничто? – но вполне реальной, одушевленной, стерегущей, неимоверно большой живой стихии не покидает тебя, пока ты – еще ты, еще по эту сторону Ничего. Оно может быть **большим** или меньшим, но оно всегда даже не рядом с тобой, а в тебе, твоём страхе, это чувство живого моря внутри полного отсутствия чего-то живого и чего-то вообще. Нельзя объяснить это невозможное

чувство живого внутри мертвого, жизни-в-Смерти никому, кто его сам не знает, любое слово здесь будет косноязычным, но оно, это чувство... оно должно быть, должно *было быть* знакомо кому-то из тех, кто стоял на пороге смерти – и особенно тем, кто переступил этот порог.

И так оно и было. Наверняка. Она вспомнила лицо Алексея Дмитриевича, разбитого насмерть ударом в Новокуйбышевске, в гостях у Лизы, его дочери от первого брака. Как и Зара, он умирал не дома, на сей раз, правда, с перевозкой тела обошлось почти без хлопот. Один из ее пациентов, замдиректора автобазой, добрый человек, послал грузовик, до Новокуйбышевска, слава богу, всего 35 километров... Он лежал с застенчивой полуулыбкой, которую она прекрасно знала; но видела ее и в те минуты, когда ею он прикрывал страх. Это была его *вторая*, защитная улыбка, улыбка мальчика-гимназиста (которым он по существу всегда и оставался) в угрожающей ситуации, по виду ничем не отличавшаяся от первой, но она – она всегда безошибочно различала одну от другой. Так он улыбался – она запомнила на всю жизнь и спросонок, – когда в 38-м под утро, как это у *них* повелось, позвонили в дверь. Он улыбался, одеваясь, чтобы пойти открыть. Они оба были уверены, что пришли за ним. Был март. Было холодно. Слабо светил ночник. И когда он вернулся назад с той же все Лизой, ехавшей к ним сюрпризом из Чимкента, где она тогда жила, и в Оренбурге отставшей от поезда – так что сюрприз она приготовила не только им, но и себе, – тогда с лица его прямо на ходу сошла улыбка, он стал так же защитно, чтобы не поняли, что с ним, сердит, что означало великое облегчение. И именно эта, вторая, защитная улыбка покойного – она могла бы поклясться – чуть топорщила кончики лучших в мире усов; и еще она могла поклясться – она чувствовала его, мертвого, сильнее, чем живого, буквально как самое себя, – если приподнять его закрытые дочерью веки, в серых глазах его она увидела бы тогда тот же, что у нее сейчас, ожидающий чего-то впереди, за уводящей его Смертью, страх. Ее так и подмывало тогда, сквозь душившие ее слезы, оттянуть ему веки; и сейчас она укоряла себя за то, что не осмелилась это сделать при всех – а наедине с ним ее так тогда и не оставили.

Да, а Марк с трехдневными его мучениями, дикой болью в сердце, удушьем и кислородной подушкой; и как на второй день он уже ушел, но ему ввели камфару прямо в сердце, и он вернулся, чтобы сказать: «Зачем меня вытащили? Там было так хорошо», – и пытался объяснить, но ничего не получалось, как именно было там, – а на третий день к вечеру, как раз когда боль немного утихла и начинали подумывать, что он таки переживет и четвертый инфаркт, он вдруг выдернул изо рта рожок кислородной подушки, как-то даже не крикнув, а булькнув: «Не могу больше», – и мгновенно ушел в Ничто Навсегда. Фактически это было самоубийство, она знала, она была уже совсем стара, но Софы уже не было, и детей у них с Марком не было, а из родных и друзей осталась она одна, родственница и подруга, кто-то близкий же должен был хоть немного побыть с ним... чтобы разделить? – нет, чтобы утешить? – нет, ну, чтобы... – и так ясно, и, как и накануне, Лиля вызвала ей такси, она снова поехала в больницу, ненадолго, надолго не было сил – и тут как раз все и произошло, при ней; и Галя Абрамовна, никогда не понимавшая психологию самоубийц, впервые поняла, как и почему человек может покончить с собой: из страха. Почти ослепшая, она не видела его глаз, глухая, она не слышала его «больше не могу» (потом сестричка ей передала, как и накануне, его слова в письменном виде), – но жест, которым он выдернул из рта кислород...нет, жест, которым он выдернул себя из жизни... его невероятная скоротечность – только косая тень с быстротой юркающей за плинтус мыши махнула по ее глазам, а он уже ушел насовсем – этот жест сказал ей все: Марк видел Смерть и не мог долго смотреть на нее. Он не смог перенести полноты ухода в Ничто Никогда и решил сократить уход.

Впрочем, бывали на ее памяти и случаи, когда боль оказывалась еще сильнее страха. Ее дальний родственник в Кишиневе, мужчина лет сорока пяти, здоровяк: семьянин, трезвенник, ударился, не так сильно, об угол своей машины, когда полез что-то в ней чинить. Саркома бедра; сгорел в три недели. Последние несколько дней, не переставая, просил уколоть его чем-нибудь, что мгновенно убивает, или просто ввести воздух в вену; морфий не помогал.

Как тяжело, как невыносимо тяжело умирают! Она вспомнила Софью Ильиничну, скончавшуюся от водянки, и другую свою приятельницу, уведенную в могилу склерозом почек. Рак легких, желудка, толстого и тонкого кишечника, вообще всего, из чего только состоит человек, включая рак крови, кожи, губы, языка, горла, лимфы, спинного мозга, цирроз печени, паралич, грудная жаба, острая сердечная недостаточность, заражение крови, тромбоз, перитонит, туберкулез, гангрена, недавние вспышки, казалось бы, уничтоженной холеры, тиф, дизентерия, дистрофия... (тут Галя Абрамовна спохватилась, что память опять предала ее, и она, как повелось с какого-то неладного Augenblick'a, перепутала времена и бродит по дорогам какой-то из бывших у нее на памяти войн, двух мировых и одной гражданской, а может, ее крутит по свернутым в единый жгут дорогам всех трех сразу. Она сделала усилие, чтобы вернуться, съехаться из многих времен в одно; на этот раз ей повезло, она вернулась к людям, умершим уже в нынешнее время).

Всех, всех их Смерть уводила в ужасе смятенной души и телесных муках. И все они были в сознании, достаточном, чтобы... Все, кроме двоих: ее матери Софьи Иосифовны и ее дочери Зары.

Да, вот она жизнь, *«безмерно любимая тобою»*. Жизнь-то и в самом деле вечна, она везде и всюду, и только она, другого ничего — **нет**, всё другое — в Ничто Никогда, о котором нечего и сказать живому, да только её доченьки Зарочки, столь безмерно любившей Жизнь, — что-то не видать нигде, её, Зарочкина, жизнь оказалась лишь временно прописанной в вечной, большой Жизни. Нет её и не будет — как и не было; и так оно и будет со всеми, что их не будет. На памятнике надпись — не перевыбить, и не надо — но какое после этого нам, временным, дело до вечной Жизни?

Зара, голубка, умерла в беспамятстве, не ведая страха. Клещ укусил ее то ли на Сахалине, то ли на Камчатке, но свалилась она по-настоящему, так поняла и она, и все — это не простуда, не грипп даже — какое-то проигранное время спустя. Так или иначе, Гале Абрамовне дали знать, когда Зарочка, чем уж там ее доставляли, вертолетом или самолетом, очутилась в лучшей — все-таки московская гостыя: артистка — больнице в тамошних местах, во Владивостоке. 41°. При 41° не до страха. Галя Абрамовна летела самолетом бог весть сколько часов, минут; они садились на дозаправку, потом опять летели. Кажется, один раз пересаживались, она не помнила точно; если бы ее не выворачивало наизнанку всю дорогу, так что было ни до чего, она бы не пережила столь долгого ожидания. Она везла с собой двадцать тысяч тогдашних, старых рублей, все свои сбережения — она не была так бережлива, как ее мать, и скопила не так уж много в наличных деньгах; но все равно это были немалые деньги по тем временам — и все до копейки ушли на лучших тамошних врачей, на их звонки в Москву разным светилам, лекарства, уход... А Зара провалялась в бреде две недели и еще два дня, на третий у нее отнялись конечности, а на пятый ее увели в Ничто Навсегда.

И ни разу не пришла в себя. Две с половиной недели мать смотрела на нее, часами; а она так ни разу и не узнала мать! Галя Абрамовна думала, что сойдет с ума, она ничего уже не понимала и не видела, а слышала только, как механизм ее мозга перемалывает собственную пустоту внутри черепной коробки — но пустота оказалось неполной, там что-то нашлось, потому что там вдруг хрустнуло, видимо, сломалось что-то, потому что она вдруг перестала слышать — совсем, и с тех пор

по сей день больше уже ничего не слышала. Но то, что теперь она глуха, совсем, окончательно и бесповоротно, Галя Абрамовна осознала только на обратном пути в Куйбышев, а тогда, во Владивостоке, сделала без колебаний то, что решила уже давно в отношении себя самой: распорядилась кремировать доченькино тело, лично досмотрела, чтобы не перепутали прах, — это, она знала, водилось сплошь и рядом — и повезла урну с пеплом домой, в поезде. Это было долго-долго, так долго, что... но если бы не поездом... если бы самолет разбился, Зару вообще не удалось бы похоронить. Галя Абрамовна всегда решительно высказывалась за кремацию; недаром в свое время она считалась одной из первых красавиц Самары и даже каталась на тройке с самим Собиновым — мысль о разложении прекрасного женского тела, о пустоглазом голом и безносом черепе на месте покрытых нежным пушком розовых щек и точеного породистого носа внушала ей отвращение. Она никогда не говорила об этом с дочерью, но была более чем уверена: Зара с ее наследственной чистоплотностью и простодушной любовью к себе — не самовлюбленностью, нет, а вот именно с нежным, любовным отношением к данным ей от природы телу и душе — никогда не допустила бы, если б могла, чтобы ее положили в сырую грязь (ведь земля, сама мать сыра земля — это же и есть грязь) и скормили гадким, влажно-розовым червям.

Урну поставили на носилки, понесли в Шестой Тупик, место всех трех городских захоронений: русского, еврейского и татарского, — она, молодая чета Понаровских (спекулянта Вити тогда еще на свете не было), Марк и Софа, и все, кто знал и любил (и даже несколько человек из драмтеатра, из тех, кто знал и не любил) Зарочку, и даже Михаил Александрович, популярнейший тенор, которого знала вся страна — да, сам Александрович прилетел из Москвы и стоял сейчас здесь, в Шестом Тупике города Куйбышева, с траурным венком, увитым гладиолусами, и надписью «Зарочке, моему незабвенному чтецу-декламатору, от Михаила Александровича», да! (И что это он позже, то ли пятнадцать, то ли двадцать лет спустя, надумал махнуть в Израиль, в пески, к этим кровожадным сионистам, ни за что ни про что убивающим и сажающим в тюрьмы пусть темных, но повинных только в том, что они желают жить на своей земле, несчастных палестинцев, этих бедных феллахов и бедуинов? Что он потерял в этих песках, когда имел тьму поклонников у себя на родине, во всех уголках огромной страны? Да, насколько люди разные — ее знали только друзья и пациенты, но ей никогда в голову бы не пришло, что бы там ни было, покинуть родные места.) Поговаривали, между ним и Зарой что-то было. Конечно, когда знаменитый мужчина и красивая женщина гастролируют по всей стране — он пел, она вела концерт, конферировала и читала стихи о любви, — о них всегда будут поговаривать, и скорее всего попадут в точку, но и — что с того? Он действительно знаменит, прекрасный тенор, а она действительно хороша собой и обаятельна, всегда искритесь — ничего нет ни удивительного, ни зазорного в том, что жизнь берет свое... Ах, было ли, нет ли — какая нынче разница, когда от человека осталась пригоршня праха, и прах, пустой серый пепел от всей ее доченьки, стучит в урну сердце.

Она стояла молча, оцепенело теряя драгоценные секунды, пока еще урну, Зару, не забросали землей, — это место было куплено загодя на всю семью, кроме Алексея Дмитриевича, его похоронили в ста шагах отсюда, на соседнем русском кладбище, — пока еще можно было проститься, еще можно... А слез все не было и не было, все выплакалось еще там, еще тогда, у постели умирающей, — и ни звука вокруг, только солнце пекло голову сквозь черный платок, и все время хотелось пить. Галя Абрамовна представляла, как придет домой и достанет из подпола кувшин холодного кваса, не помня, что дома кваса давно уже нет, — ей было не до кваса, да и маме тоже, к тому же мама уже несколько дней не вставала, ее разбил тяжелейший радикулит, даже с Зарочкой, тем, что осталось от внученьки,

она, не в силах встать и ехать на кладбище, смогла попрощаться только дома. Гале Абрамовне хотелось пить, не терпелось домой, как ни мучительно стыдно было за свое чудовищное бесчувствие...

Да, Зара не узнала страха. И боли. Счастливая, она умерла в беспамятстве и бреде. Счастливая. А мама? Мама умерла во сне: просто остановилось сердце... Ей было девяносто один, а когда-нибудь сердце должно же остановиться. Умерла во сне, и уже не догонишь по пути в Ничто Никогда, уже не спросишь, что испытала она в последний момент остановки сердца.

Но вряд ли... вряд ли это так безболезненно, как полагают те, кто чаёт именно такой смерти. Кого ни спроси – заветная мечта умереть во сне; ну и глупо. Когда-то давно у нее был кардионевроз (потом он исчез, словно канул куда-то – один из тех случаев, когда болезнь приходит и уходит сама; если бы Галя Абрамовна задумалась тогда над этим, это дало бы ей случай задуматься и еще над многим; но она пропустила этот случай); и часто снился ей тогда один и тот же сон: катится, катится куда-то все, и она катится вместе со всем, а сердце-то и не поспевает, и вот-вот остановится, запыхавшись... и страшно-то как, и надо проснуться, чтобы все оказалось сном, ведь это только сон, доходило до нее и во сне. И усилием воли просыпалась, словно вытаскивая себя из сна, и сердце билось нормально, а то, запыхавшееся, сердце оставалось во сне, сброшенном с плеч... Да, а ну как на этот раз – не проснешься? Дернешься-подернешься, а себя не выдернешь. И уйдешь во сне в настоящее Ничто Никогда, в смертной судороге, душа на выкате. Мама родная. Так ли было? Кто знает; ничего не разберешь на этом свете.

Ей по-прежнему казалось, что Смерть не любит повторений, и ей не грозит смерть во сне, как ее матери, хотя она шла по стопам матери в том смысле, что дожила почти до ее лет. Все же вряд ли ей грозит умереть во сне, тем более, что она настороже и сосет леденец; хотя – что это значит? Только то, что она умрет, бодрствуя. Или в коме.

Да уж, кому суждено быть повешенным, тот не утонет; Смерть – одна, но смертей – много. И все они так безобразны! Почти все. Кроме тихой смерти Антона Павловича, да, и как хорошо, как спокойно он сказал: «Ихь штербе», – выпил бокал шампанского, сказал: «Я умираю», – повернулся к стенке и умер, как уснул. Ни крика, ни стоны, ни даже затрудненного дыхания. Но это единственный случай, единственный, других она не помнит. Все остальные – безобразны. Нет ни одной мало-мальски приличной. Ни од-ной.

Хорошо еще, что судьбой лишена она нынче случая попасть под поезд или упасть с лестницы. Скажешь тут спасибо старости и немощи. Если так страшна естественная смерть в преклонном возрасте в своей постели, что тогда сказать о той глупейшей возможности, когда, скажем, падает тебе на голову метров с тридцати предмет весом в несколько кило? Такой случай произошел однажды у нее на глазах, и не где-нибудь – в Москве, да еще на самой улице Горького. Году в... или еще был старый рубль?.. словом, когда она еще ездила к Зарочке в гости. С крыши большого дома, где магазин «Подарки», до Кремля рукой подать, в конце марта это было, точно, слетела огромная подтаявшая сосулька, угодив прямо острием в голову гражданина в фетровой шляпе... и бежевом пальто-реглан. Он свалился не пикнув. Посмотрела бы она, кто пикнул бы на его месте.

Нет и нет. Всякое там «умереть внезапно, чтобы не мучиться», все это разговоры. И вообще хотеть сразу всего, и невинность соблюсти, и капитал приобрести, и дожить до старости, и умереть внезапно – это больно жирно будет. Что-нибудь одно. И потом, как так: прожить долгую серьезную жизнь, как следует попробовать на зуб все ее возрасты и фазы одну за другой – и не прочувствовать самой последней и серьезной. Да, и страшной, страшной, но ведь – главной: разве не главное то, что навсегда или никогда? Другой такой возможности не будет: не

только живут, но и умирают один раз. Единственная смерть – часть единожды данной жизни. Ее надо ценить как уникальный подарок природы. Если бы тебя не родили, ты не знал бы, что такое умереть. Это же курам на смех. Умирать – так в сознании. Все же она не корова какая-нибудь на мясокомбинате, разрядом тока в лоб внезапно превращаемая в мясо. Да и та, если верить работнику комбината, ставившему как-то у нее золотую коронку, ведет себя по-людски: каким-то непонятным образом чуя близкую смерть, сама вперед Смерти отравляет себя со страху, мгновенно вырабатывая в крови огромное количество адреналина (после чего мы едим отравленное мясо, не догадываясь, что это корова мстит нам, ее убийцам). Какое же количество яда выделяет организм человека, видящего, как на него несется не могущий, как бы ни пытался, притормозить на обледеневшей дороге автобус или грузовик, который через полсекунды намажет его на мостовую, как повидло на хлеб! Да, такой человек избавлен от тягот и страха медленного умирания, но то, что успеет он пережить за эти полсекунды и в тот последний миг, когда его... – какой мерой мерить? С чем сравнить?

Страшнее разве только насильственная смерть от человеческой же руки. Сто лет самого счастливого счастья ничего не стоят, если оканчиваются мгновенно в подъезде собственного дома, куда возвращаешься из гостей часов около одиннадцати, думая, например, что нет ничего хуже воскресного вечера: все приятное позади, сейчас спать, а завтра на работу. И тут, из темноты – бритвой по горлу... Да, бритвой. Один взмах! Тонко-тонкой полоской – а кровь-то хлынет как из трубы... Ей доводилось держать в руках скальпель, доводя до ума гипсовые формочки коронок, у нее и сейчас сохранилась пара их, острых как бритва, отточенных под остроту не чего-нибудь, а именно бритвы, *бриИтвыи-и*; она знала их тонкий надрез... О-ой! С первой молодости – даже когда Самара еще была спокойным местом, она, и в этом ее парадокс, никогда не была местом безопасным – она не надевала, если выходила на вечернюю улицу одна, никаких драгоценностей, кроме обручального кольца, когда оно появилось у нее на безымянном пальце; даже серьги носила почти всегда только дома, принимая гостей; от одного случая покрасоваться до другого дырки в ушах иногда успевали слегка зарости, так что вдевать каждый раз заново в уши серьги бывало больно, как будто мочки ее ушей были еще девственны.

Но любые меры предосторожности бессильны перед игрой случая. Ее тетя Сима в 1918-м, в Киеве, была уведена петлюровцами прямо из дома, на глазах мужа, которого держали трое здоровых хлопцев. Уведена просто так, безо всяких формальных оснований. Красивая молодая евреечка, да еще из приличных господ – можно вообразить, что они с ней вытворяли! Во всяком случае, домой не вернулась. А из соседей никто не пострадал, да и муж остался цел и невредим, он-то все и рассказал. Что тут скажешь, что? Не родись красивой... Звучит цинично. Но ей простительно, она еще долгие годы, вспоминая свою навсегда молодую тетушку, вздрагивала от боли и оскорбления. Если когда-то она кого ненавидела всею огнепаляющей кровью, хотела убить медленной смертью, то только тех незнакомых, но наверняка «гарных» и наверняка невозмутимых, спокойных «хлопцев» – и совсем уж безвестного, малюсенького энцефалитного клеща. Его следовало не просто затоптать в землю, а зафиксировать живого на ложе микроскопа и под микроскопом медленно отрывать ему по очереди все лапки или что там у него отыскалось бы – все живое в нем...

Нет и нет; лучше уж вот так, как она: мало-помалу, потихоньку-по-тяжеленьку, подобру, так сказать, так и скажешь? так и скажу – хоть и понездорову. Куда спешить? Вдруг да и произойдет тем временем – ученые откроют средство продлевать жизнь еще на... на хоть сколько. Там видно будет. Как все-таки прав оказался Марк: главное – не умереть сегодня. Чтобы сегодня всегда оставалось

место и время для «будет». Или еще такое чудо: она все-таки уйдет незаметно. Ее поугубили и решат: ну и хватит с нее. Дадим ей за это спокойно раствориться в смерти, незаметно перейти черту. Главное — пережить момент перехода, а там хоть и умереть. Почему не умереть, если незаметно? Если нельзя незаметно, без боли и сверх напряжения жить, то умереть-то хоть — можно? И хотя Галя Абрамовна за последнее время не один раз, словно проверяя себя, вывела, не словами, а все вот этими крючками и иглами, и скальпелями, но так же твердо, как если бы высекала самыми весомыми словами на скрижалях, что легких и незаметных смертей не бывает, все равно какая-то глупая надежда теплилась в ней. Да, пока поживем, а там видно будет.

Конечно, старость не в радость. Конечно, старой жить тяжело. Но живет же. «Что угодно, только не одинокая старость». «Главное умереть прежде, чем станешь всем в тягость». Жеманство. Реникса и реникса. Впрочем, оно и понятно: когда не старой еще видишь со стороны всех этих старух, ходящих под себя (смешное выражение — ходить под себя; то есть ходить — лежа? смешное, но невеселое), ставших обузой для близких, разумеется, не хочется попасть в их число. Но когда сама станешь вот такой старухой, видишь все, опять-таки, совсем по-другому. Не глядя снаружи, а живя внутри себя, в своей шкуре, живя непрерывно, старясь миг за мигом, разрушаясь неприметно для себя; и весь песочек, почему не назвать это учтиво, из уважения к роду человеческого, сыплется из тебя так привычно-естественно... и потом, приятно им оно или нет, ясное дело, не пахнет только свой песочек — но уж тут деваться некуда, тут прямой долг, и ты имеешь полное право на чистую совесть: многого не прошу, но — я стирала твои пеленки когда-то, так вот и ты поухаживай за мной теперь.

Но она не просила и этого. Ее некому было обихаживать каждый день — та, чьи пеленки она стирала, давно уж в Ничто Никогда. Видимо, поэтому, в строго определенном смысле, она и была еще на ногах. Что бы ни говорить об этих самых «судьбах», «милостью» которых и тэдэ — ей-то всегда казалось, что так называют случай, — но в чем-то и они, судьбы эти самые, то есть он, случай, знал меру. Многие несправедливости общего устройства компенсировались некоторыми справедливостями, по крайней мере, в ее отношении. Ценою потери всех своих близких она купила высокое право в свои-под-девянство самостоятельно отправлять свои потребности. И если раньше она жаловалась на вялость кишечника, и Лиля доставала ей превосходнейшее, мягкое патентованное слабительное, «Сенаде», индийское, кажется, то в последнее время жаловаться следовало бы на прямо обратное. Да и стоит ли жаловаться вообще? Было бы кому и на кого — так нет же ни высшей инстанции, ни виновного: пожалуешься на Жизнь — а она: а ты чего хотела в свои годы? Чтоб я отдала тебя Смерти? Хочешь? Смотри, это мы мигом. Живи себе тихо. Пожалуешься на Смерть, а та тебе: ты права, ты и впрямь засиделась. Ладно, сейчас приду, заберу тебя.

Чего действительно она уже не могла сама, так это мыться: не было сил залезть в ванну, а уж выбраться из нее и подавно. Но ведь моешься целиком не каждый день; нужно отметить, что Галя Абрамовна, женщина во всем остальном щепетильно опрятная и чистоплотная, и раньше не считала нужным принимать ванну или душ каждый день. Причина проста: у нее никогда не было своей ванны до тех пор, пока в 1969-м ее дом на самом углу Красноармейской и Галактионовской не сломали и ее не поселили в однокомнатной квартирке девятиэтажного дома на Молодогвардейской, где кассы «Аэрофлота»; всю жизнь, почти восемьдесят лет до этого переезда, она обтиралась холодной водой до пояса, а по субботам, как водится, шла в баню. Так уж перемешалось все в ее жизни под знаком интернационализма: ребенок от чеха, русский муж и русская субботняя баня, и маца из непосещаемой синагоги, почему-то, по какой-то необъяснимой инерции родовой

памяти закупаемая каждую весну на Песах; впрочем, может быть все объяснялось проще — в самарско-куйбышевской синагоге всегда делали вкусную, тонкую и рассыпчатую мацу; похрустывая хрупкими, совсем-совсем, до удивления пресными хлебцами (это и составляло их изюминку), она всегда вспоминала смешную одесскую песенку времен чуть ли не гражданской войны о том, как шел трамвай десятый номер и тэдэ, и там в конце кто-то жаловался герою песенки на мацу, которой тот вез — целый чемодан: «Говорят, твое печенье — что без сахара варенье»... Это было так забавно точно, как редко бывало и у серьезных современных поэтов, стихи которых Зарочка, пока была чтецом-декламатором, перечитала со сцены в большом количестве, и само собой, она немало их выслушала («Тебе нравится, мамочка? — Что сказать? Щипачев неплох, но — не Блок. — Ты еще скажи, что Мартынов — не Лермонтов. — Безусловно. — Не смейся. Тебе все Блока подавай, не меньше? — Да... Вот именно. Все Блока».)

... Да, мыться достаточно и раз в неделю. А раз в неделю, — конечно, в субботу — ее могла помыть и Лиля, в ванной, помогая ей туда залезть и оттуда выбраться, а если сил и на это не было, тогда в большом зеленом тазу. И садясь после мытья с Лилей пить чай, вся чистая-чистая, в обществе другого человека она опять забывала свой страх и ласково думала, что уйдет тихо, как заваривается сейчас чай под крышкой: три ли, четыре минуты — не заметили, как не заметили, когда кипяток стал заваркой; так и она перейдет, не заметив.

Все будет как будет. Не было еще никого, кто с этим не справился. Главное ничего не придумывать.

А то ведь находятся же придумщики совсем уже невообразимого вздора. И, конечно, Марк в первых рядах — как без него? Одно время он всерьез уверял, что его мечта — умереть в постели на женщине. Именно так, не с женщиной, а «на женщине», — так он и говорил, старый бесстыдник, селадон... интересно, употребляют ли сейчас это слово. Да, подобное могло прийти в голову только Марку. Что может быть чудовищней этой бредовой фантазии? Весь склад ее натуры приличной, воспитанной женщины, ценящей прежде всего не столько саму вещь, сколько ее уместность, правильный порядок вещей, — восставал против дикарского смешения этих двух, смерти и близости. Любви=жизни — и смерти. Надо же выдумать такое! Впрочем, это все тот же его стилёк, он всегда поддразнивал и чудил, до конца своих дней подкрашивал хной седые волосы на голове — Софа говорила, что и на груди, — и до конца же зимой ходил, то есть катался, на роллерах, таких коньках на колесиках, помогая себе лыжными палками, а летом, даже в компании, пресловутой специальной ходьбой, то обгоняя всех, то такую же «спортивной» ходьбой возвращаясь ко всем. «Ходьба — это здоровье. Это молодость. Мне шестьдесят пять, а я еще нравлюсь женщинам. А что ты думаешь? Я еще ого-го! У меня щеки, как персики, потрогай». Ему было хорошо за семьдесят, нашел, кому врать, ни о каком ого-го уже и речи быть не могло, оставалось только пожалеть Софу, ведь он при ней это всем сообщал, а она тихо краснела, — и щеки у него были не как персики, а как печеные яблочки. Однажды она ему так и сказала, сам напросился: «Как печеные яблочки», — при общей воспитанности она всегда отличалась прямой, — и как же он обиделся! По-детски, до слез, ей стало его жалко, и она погладила его по голове, слава богу, Софы рядом не было, та спокойно могла бы и в эти годы приревновать; да... В ноздри ударил вдруг запах его одеколona. В старости он все время душился каким-то краковским одеколоном (вероятно, запаса по случаю), недорогим, поэтому крепко пахучим, что называется, мужественным, пытаясь, и безуспешно, затмить силой его духовитости дух распада, источаемый тлеющим старческим телом; безуспешно, но не в ее случае: обоняние Гали Абрамовны, тогда (совсем недавно, давным-давно) еще сильное, к тому же истончившееся до дробности нюхательных ощущений вследствие постоянной работы не только за себя, но и за почти атрофировавшиеся зрение и осязание и

совсем умерший слух, обоняние ее различало за этой по-польски воинственной и амбициозной пеленой эрзац-ароматов лаванды, гвоздики, еще какой-то до боли знакомой травки и самого настоящего плохо очищенного спирта – не только общий приторно-тяжелый дух разлагающегося тела, но и его составные: запахи множества отмирающих клеточек, каждая из которых, пожалуй, даже приятно пахла прелым осенним листочком; однако умножение запахов тысяч на тысячи клеточек давало новое, и неприятное, качество уже не природной, а химической, нафталиннованилиновой навязчивости, в общем верно характеризующее самого носителя запаха, с его нервической ажитацией, лихорадочным румянцем и той остротой пустопорожней (не всегда, не всегда, будь справедлива и благодарна) активности, которой отличалась его долгая жизнь: спортивная ходьба на месте. Место это, в «рабочем строю», да и вообще на белом свете, ограниченное Куйбышевым, он ненавидел, всегда хотел сменить – и оставался, боялся, что не в месте дело, всюду, как везде, ничего не выйдет – ничего и не выходило... Эх, Марк, умница Марк, дорогой чудак-человек, где теперь твой синий олимпийский костюм с белыми лампасами, твоя гордость: «Хундерт процент⁷ чистой шерсти! Не веришь? Выдерни нитку и подожги!» И горела, да как славно горела подожженная нитка; и он выходил, безнадежно отважный борец-олимпиец за торжество спортивной жизни над Смертью, выходил каждое утро и каждый вечер, с гордо поднятой головой, до конца оставаясь верным заранее проигранной борьбе... Эх, Марк, Марк, как некрасиво, как прекрасно ты умер, от страха отважно выдернув трубку изо рта... напрасно, напрасно ты был отважен и задохнулся, сам себя задохнул, захлопнул, а попросту – с-дох.

Что ж, все мы там будем. Допустим; впрочем, тебе-то уж – что допускать? Ты там будешь безо всяких допущений, милая моя, и очень скоро. Обязательно будешь навсегда там, где тебя никогда не будет. Непонятно, но факт. Что ж, старая перечница, туда тебе и дорога. Пожила, порадовалась, пора и в крематорий. Самое время. И все-таки до чего ж непонятно.

Дать тебе жизнь и в обязательную придачу к ней инстинкт самосохранения, дать тебе сознание, которого нет у животных, это значит – преждевременный страх смерти, который им неведом, дать тебе еще и самосознание, то есть не только чувство своего «я», но и представление о нем – и теперь забрать все это без остатка назад. Обречь тем самым на неизбежность страданий и ужаса – ведь человек расстается с собой и с целым миром навсегда, при этом все время... ну, пусть не все время, ко всему привыкаешь, все встречаешь рассеянным умом и чувством, даже *это*, а главное, пока жизнь в тебе сильна, она забивает даже *этот* голос, – пусть время от времени, но сознавая, в отличие от животного, с чем расстается. Да еще – чуть не с рождения осведомить тебя, что ты, как все люди, – смертен. Обречен. Поступить так со всеми-всеми прошедшими по земле людьми – всеми до единого, кроме слабоумных, безумных, дурачков (счастливыцы!) Кто или что может рождать или создать возможность рождения *только на таких условиях* – и никаких иначе: рождать только смертных и только при условии, что они уже в начале своего пути поставлены в известность, что путь их жизни ведет только в смерть? То есть живые смертные могут с рождения до смерти не знать, что они смертны, но тогда это будут не люди – медведи, червяки, собаки, змеи... Других можно рождать на других, щадящих условиях, но людей, нормальных здоровых людей – запрещено. Кто же тогда придумал саму породу «человек»: смертный, заранее знающий, что он смертен, – и для чего запустил ее в смертельную жизнь? Врач не говорит больному, что у него рак в последней стадии. Жалеет. Раньше говорили, когда официально принято было верить в загробную жизнь; это ясно – нужно было многое успеть сделать, чтобы предстать перед Богом с чистой со-

⁷ Сто процентов (нем.)

вестью. Говорят, что за границей сейчас тоже сообщают больному, а в Бога там... верят или нет? Но даже если и не верят, тоже ясно: там живут, как раньше у нас; многие много чем владеют, и смертельно больной должен все знать о себе, чтобы успеть всем своим много-немногим распорядиться на земле. Ясно и то, и другое, и третье. Но *это*? Кто или что **это** создало человека только на таких условиях? И почему только его одного?

Только жестокая сила. Сила, не знающая жалости и сострадания.

Только для того, чтобы нами поиграться.

Когда надоело смотреть на кувыркающихся по траве, скачущих по степи, сосущих лапу в лесных берлогах, рычащих в джунглях, плывущих по воде, летающих в небе — на все свои прежние создания, рогатые, клыкастые, крылатые и хвостатые (тут старуха увидела всех этих разноцветных рогатых и крылатых, как они скачут и летают и радостно зависают в воздухе, как в передаче «В мире животных»), бесцельно и спокойно, ничего не ведая, живущие навстречу смерти, — эта злая сила, ни разу не создавшая никого без того, чтобы обречь его на смерть, заскучала. И тогда она решила сотворить нечто особенное, надоедающее не так быстро: смертного, знающего, в отличие от всех прочих смертных, что он смертен. И вообще — сознающего, значит, способного узнать и то, и это, и еще больше — все. Узнать все, кроме одного — как избежать смерти. Просто потому, что тут нечего узнавать — избежать ее нельзя. Дальше и больше. Эта сила решила размахнуться как следует. Не экономить средства. Она решила создать такого смертного, который бы не просто знал, что смертен, но такого, который бы знал, что он — это Он, и был бы очень высокого о Нем, о себе, мнения. Эта сила решила снабдить его способностями, небывалыми ни у какого тигра или орла, — и посмотреть, что из этого получится. Будучи слабее многих и многих, человек оказался наделен особыми возможностями стать сильнее всех. И он не посрамил возложенного на него и дарованного ему; он использовал эти возможности. Он бегал гораздо медленнее лошади, но придумал автомобиль в сто лошадиных сил и спроста обгонял с тех пор даже упряжку цугом, в шесть лошадей; еще до того он придумал ружье и стал сильнее слона и льва. Он не умел летать сам, как птица, но смог построить самолет — и обогнал всех птиц. Он чувствовал себя порой хуже последнего таракана — потому что таракан не знает тоски одиночества и боли потерь — но он умел задумываться над своими горестями, плакать над ними, воображать и изображать их — и сочинил «Три сестры» и «Умиряющего лебедя», чтобы утешиться, а что такое «утешиться», как это грустно и хорошо, знает тоже только человек... И он научился говорить по изобретенному им аппарату с человеком на другом конце света и передавать телеграммы из Японии в Австралию за несколько минут. Он научился строить мосты на реках и во ртах, и еще много-много всего, чего и не перечислить. И он по праву возмнил о себе, что он — это Он, не чета волкам и козам.. Он даже научился убивать таких же, как и он, людей, как умела сама эта сила, и такими совершенными способами, что ей, может быть, самой завидно. Ей надо посылать наводнение за наводнением, ураган за ураганом, землетрясение за землетрясением, а ему стоит только взорвать кое-что, совсем не все взрывчатое из обширного арсенала, им же созданного, — и земли и воды как не бывало. И вот тогда-то игра и стала интересной — при всем своем величии, когда во всем подлунном мире не было не то что ему равного, а и близко ничего подобного не видно было нигде, при всех своих самолетах и телевизорах, нейрохирургии, блоках и шекспирах и всем-всем — человек умирал точно так же, как любая коза, любой клещ и червяк, как сам он тысячи лет назад, когда у него был только каменный топор, и все, к чему смогла прийти его гениальная медицина, его хирургия и фармацевтика за все время их развития — на йоту отодвинуть Смерть, увеличив за тысячи лет непрестанных усилий лучших умов средний срок

жизни на жалкий десяток-другой лет. Стоило научиться побеждать чуму, как эта сила, забавляясь, насылала чахотку; научились бороться с туберкулезом — всех начал косить рак. Сколько бы смертельных болезней ни победили люди, для тебя всегда найдется одна, всего-навсего одна, маленькая, но вполне достаточная, чтобы прихлопнуть — именно тебя.

Да, эта сила, видать по всему, создала себе, наконец, по-настоящему интересную игрушку, посылая ей все новые безвыходные обстоятельства и все новые творческие способности, чтобы выпутываться даже и из этих обстоятельств — и все-таки под конец сдохнуть. Заведомо сдохнуть в борьбе с тем, кто или что заставил(о) тебя и всех и вся кругом подыхать — и продолжать бороться, как Марк с его ходьбой. Видать, она таки создала для своего удовольствия что-то особое. Иначе создала бы и еще более интересную живую игрушку. Может, она так и сделает, но покамест что-то не спешит — на нашей недоброй старой Земле по крайней мере. Что-то никого более интересного вокруг не видно. Пока ей достаточно забавно с нами. Пока еще нескучно.

Бессовестная. Безжалостная. Коварная и циничная. Но в сотворенного ею человека — вложила, напротив, кроме жизни и сознания, еще и совесть, снабдила не всех, но многих несчастных, ею созданных и ею же обреченных, состраданием, прямотушием, порядочностью — значит, она знала и все это, чего была лишена сама или, точнее, не была лишена, раз она могла все это присвоить своим творениям, но она выбрала для себя совсем другие качества, которые ее больше устраивают, чтобы остаться при них, — но зачем же она сделала людей лучшими, чем она сама, их создательница? А чтобы затруднить окончательно и без того безрадостную судьбу человека, ею же, этой силой, для него изобретенную. Чтобы ему, всем этим лучшим обремененному, еще тяжелее стало бы добраться до конца. Чтобы его — добить.

Тут Галя Абрамовна вдруг очнулась — и только поэтому поняла, что то ли в дневной полудреме продолжала, как это у нее завелось в последнее время, разговаривать сама с собой, — но скорее по какому-то едва ли не собачьему встряхиванию и фырканию пробуждения, она таки задремала по-настоящему в кресле среди бела дня незаметно для себя, и ей показывали неглубокий, судя по легкости расставания с ним, тонкий, как лед на только начинавшей замерзать в ноябре Волге, сон, не совсем обычный, сон-киноленту, где все было связано и даже диктор произносил за кадром слова, — но и не так чтоб уж совсем необычный, подобные сны не часто, но пару раз показывали ей, в них она тоже слышала дикторскую речь — неиспорченным запасным, *сонным* слухом; правда, предыдущие сны были бог знает о чем, о какой-то даже не чепухе, нет, может, это было и что-то серьезное о чем-то серьезном, но таком, до которого ей не было никакого дела, и при этом она так же, как и сейчас, проснувшись, не сразу понимала, сон это был или явь; кроме того, те сны, как и сегодняшний, отличались от обычных тем, что она их помнила, проснувшись, и не обрывками, а почти целиком — например, в одном таком сне долго, подробно рассказывалось о сталелитейном деле и показывали работающую домну, сталеваров и все остальное — интересно, что она не имела почти никаких сведений о ненужном ей сталеварении, чтобы снабдить ими диктора из сна, а тут ей сообщили целую массу — откуда же тогда они взялись во сне? Единственное отличие этого сна от предыдущих таких же было то, что вопрос, освещавшийся в нем, очень даже ее волновал, и именно перед тем, как заснуть, она как раз его себе задавала; поэтому она думала, что, может быть, она и задавала его себе уже тоже во сне, и это не она спрашивала себя, а все тот же диктор и задавал его вместо нее, и отвечал на него... Да, это объяснение.

Но сон она запомнила и, задавала она в самом деле этот вопрос или его задавал диктор из сна, неважно, — она именно этот вопрос очень хотела бы задать, да

еще так связно и внятно, как не смогла бы нынче, не имея прежней способности связанной рефлексии.

Она запомнила не только вопрос. Она запомнила ответ.

Да, вот тебе, ешь; спрашивали — отвечаем.

Сделать это могла только вот какая сила: бессовестная, безжалостная, коварная и циничная. Чтобы поиграться.

Судьба играет человеком, а человек играет только на трубе — это не шутка. Эта надо понимать буквально.

Страшное дело. Страшное дело — вся наша так называемая жизнь. Как до нее раньше это не доходило? Это же так просто — как наглядно ей это только что представили!.. А может, и хорошо, что не доходило? И хорошо, что не доходит до всех кругом в полной степени? А то бы как тогда жить? Как прожить целых восемьдесят семь лет с полнотой этого знания? А ведь она их прожила; вот и хорошо. Да, но...

Но все это значит... это значит...

Это значит — что она **есть**, эта Сила. Коварная, жестокая, и — умная. Сознательно играющая нами, мной. Ей что-то нравится и не нравится. Она издевается и смотрит.

Она живая! Живая Высшая Сила.

Вот это уж дудки. Этого никак быть не могло. Она никогда не верила в эти сказки для простаков. Ни в детстве, когда ее заставляли соблюдать субботу (да, а когда же ее мыли? не вспомнить; но не по субботам), и она не могла понять, если Б-г, Адонаи, Элохим — есть, то почему Ему жалко, если она в субботу поиграет во дворе с другими, со счастливой русской детворой. Ни в гимназии, особенно в старших классах, где девица лет 15-16-17, если хотела завести и поддерживать знакомство с приличными, интеллигентными молодыми людьми, должна была иметь в своем умственном багаже рядом с любимыми Гамсуном и Блоком еще и что-нибудь скучное, но интересное уже своею полуразрешенностью, совсем не входящее в гимназическую программу, и главное, умное — Фейербаха, Бебеля, Маркса и еще что-нибудь новенькое из *наших*, Плеханова или Струве. Надо было прочесть хотя бы по десятку страниц у каждого. И она читала подчеркнутое другими, очень умными, и верила прочитанному — в том и состояло гимназическое credo, чтобы верить во что угодно, но непременно противоположное тому, чему учат преподаватели.. А когда еще раньше, на уроках Закона Божьего седовласый и чернородый отец Петр отправлял их двоих, ее и Цилю Рубинчик, из класса — как завидовали тогда им все девочки, а те, кто сидел у окна, во все глаза глядели, как они прогуливались по школьному двору, уплетая пироги с морковью, ливером или солеными рыжиками, купленные здесь же во дворе у конопатого рыжего разносчика Фили по пятаку пара. Да, то были упоительные минуты вкусного безделья при общей скучной занятости и зависти — баловни судьбы; и Геля, Галя, которой зеленый шум ее весеннего цветения мешал услышать что-либо и кого-либо, кроме себя и этого восхитительного шума в себе, среди подружек с жаром отрицала не только бытие Бога, но и вообще существование каких бы то ни было сверхматериальных сил.

Абрам Наумович, ее отец, только что не молился трижды на день «бецибур» и не носил цицита под верхней одеждой; однако соблюдал субботу, постился перед Йом Кипуром и Рош-Гашана⁸, в ночь же на Йом Кипур совершал капорес: трижды вертел над головой петуха, что-то произнося себе под нос на иврите; после чего петух съедался в отваренном виде в бульоне, зарезанный перед тем, разумеется, по всем правилам шехиты, так, чтобы в бедной птице не осталось и кровиночки. В детстве ночные манипуляции с петухом, ужасая, завораживали ожидающую,

⁸ Главные еврейские праздники

изо всех сил не спящую, чтобы подглядеть, Гелю; в детских ее снах страшный обескровленный петух, теряя перья и тряся бородкой, налетал ее клонуть, нацеливаясь прямо в горло — напиться ее крови, чтобы возместить потерю своей (много позже, услышав постоянное Машино: «Не клевал тебя еще в... жареный петух, Абрамовна!», она тут же вспоминала свои страшные детские сны); в юности же петуховращение отвращало, а более смешило ее своим полным несоответствием начинавшемуся XX веку. Отец был властный человек, твердых устоев, хотя и коммивояжер — профессия, трудно совместимая с отсутствием гибкости и терпимости, — причем коммивояжер преуспевающий. Но и Галя твердо стояла на своем — на своем ли? а собственно, что такое «свое», кто-нибудь пробовал вынуть из сваренной яичной лапши вбитое в ее тесто яйцо? — на том, что «наше время, научно разоблачившее библейские выдумки, дало нам подлинную свободу совести взамен рабства перед несуществующим Богом». «Плохо я тебя воспитывал, — отвечал мрачно Абрам Наумович, — плохо я тебя воспитывал, Геля. Не порол я тебя, Геля, гореть мне за то в шеоле. Напрасно не послушал я мудрости Соломона: ломай своему чаду хребет в юности, дабы он не посрамил твоей старости». Видимо, сохраняя надежду не попасть в конце завидно удавшегося коммивояжерского пути в означенное место, совершенно не подходящее для коммерции и вообще ни для чего, кроме того, чтобы в нем, не торгуясь и не обговаривая сроки, горели грешники вместе с их смрадными грехами, — и с этою высокой целью замаливая свое греховное отцовское мягкосердечие, он категорически настоял на своем, наотрез отказав Алексею Дмитриевичу; по его и только его вине влюбленные смогли соединиться лишь через несколько лет, когда у нее уже был ребенок от человека в ее жизни случайного, хоть и первого ее мужчины... ах, кто не жил в гражданскую, тот никого и ничего в том времени не поймет... а кто жил в ту пору, не понимал ее тем более (вот и отец, узнай он об истории с Мирославом — а ведь сам виноват в убийственной иронии историоносной судьбы, взамен отринутого им, по крайней мере, *своего*, русского голя, подкинувшей его дочери на свято место голя же, так еще и чужого, вообще какого-то чеха или словака, кто их там разберет, — умер бы от разрыва сердца, не умри он на полгода раньше, в январе 18-го, и именно от разрыва сердца, но по причине других и куда больших потрясений, пока она, волнуясь и приветствуя все политические перемены, тем не менее усердно — отцовская кровь, пусть и восставшая против отцовской веры, — заканчивала зубо-врачебные курсы в Москве).

Алексей Дмитриевич: чистейший человек, все простил, забыл и любил Зару, как говорилось уже, чуть ли не больше, чем родную дочь. Но Галя Абрамовна не простила ни отцу (а себе? как сказать... себе и не то прощаешь... хотя, конечно, справедливости ради не стоило бы), ни Богу, которого не было, но вера в него, а по большей части религиозные предрассудки — были, жили; невежественные национально-религиозные предрассудки, калечащие судьбы ни в чем не повинных любящих людей!.. Поди пойми после всего Алексея Дмитриевича, что-то вдруг ненароком за пару месяцев до своей совершенно неожиданной кончины взгрустнувшего и, помолчав довольно долго (впрочем, он, не будучи молчуном, никогда не был и говорунуном, в отличие от Марка), молвившего: «Умру — отпоешь». И спустя некоторое время, поскольку она непонимающе-растерянно и даже чуть враждебно молчала в ответ: «Не поняла — так и не беда. Кто бы в этом хоть что-нибудь понимал. Ты просто сделай, как я прошу, договорились?» Это Алексей-то Дмитриевич, всю жизнь ходивший таким вольтерьянцем в старом, досоветски-атеистическом стиле, посмеиваясь в усы над религией и отпуская анекдоты про попов! Надо же, кстати, чтобы его мать, Ксения Владимировна, одна из самых безалаберных женщин, которых она знавала, под конец жизни постриглась в монахини, где-то в уже советской Эстонии, сразу после войны. Русский православный монастырь в Эстонии, подумать только: у себя закрываем, а у них свои открываем... или он уже был

там у них, *наш* монастырь у них, а мы его у них только *не закрыли*, в отличие от себя?.. В молодости Галя Абрамовна приветствовала самые решительные меры по борьбе с церковью — оплотом деспотизма, апологетом невежества и проповедницей рабского смирения и покорности; однако с годами изменила свою точку зрения — то ли сама охолонула, то ли точка зрения, за неимением более деспотизма, неравенства и покорности, перестала быть актуальной. Конечно, по существу она стояла на том же, что и в юности — дважды два будет четыре независимо от того, актуально это или нет. Но во всем нужна мера и здравый смысл. Вот хоть и монастыри: кому они в наше время мешают? Умный, дельный, полный сил и энергии человек в монахи не пойдет; зато — какое утешение, прибежище для одиноких, старых, обездоленных, слегка тронувшихся рассудком — это же прорва, а не страна, при самой хорошей власти всем обеспеченной жизни не хватит, всегда будет тьма несчастных и несчастеньких; и вот, чем отводить для них специальные службы и помещения, умножать штат чиновников, которые все равно всегда, при любой власти будут грести под себя и в данном случае только наживаться на чужих несчастьях, — вот уже готовая служба СОС, именно, ведь в монастырь идут для спасения души, а заодно и бесплатно подкормиться, так вот им всем уже отведены, уже готовы места, пооткрывать треть, не больше, закрытых монастырей — и проблема решена. Правда, почему не дать несчастным их любимого опиума? Кому от этого хуже? Это уже неоперабельный случай, неисправимая публика, и пусть горбатого исправляет могила. И ведь как хорошо, все при деле, мы тут трудимся, они там за стенами молятся, а по улицам не стыдно и иностранцев провести. Да, с разрушением храмов и монастырей перегнули палку. Храм, что ни говори, — памятник культуры. Это воплощение не только худшего в народе, но и лучшего в нем: его представлений о прекрасном, стремления ввысь, в небо.. Его строят как дом для Того, Кого нет, но нет Его — по законам красоты, отрицать которые глупо, если только ты не поставил себе первостатейною целью быть прежде всего оригиналом (стоит ли говорить, что она знала одного такого оригинала). А что сделали в 32-м с кафедральным собором? Стоял себе на центральной площади, в ста пятидесяти метрах от ее дома, огромный белокаменный собор. Она с детства привыкла к тому, что он стоит, стоял и будет стоять — всегда. Но, видно, нет на земле ничего, что будет всегда — стоять, лежать, сидеть. Кого-то из тех, что сидят, ни с того ни с сего возьмут и выпустят; то, что чересчур уж крепко стоит на земле, обязательно свалят... Как грохнет однажды — стекла повывлетали; смотрит — а собора-то нет. Не может быть! Может. Аллес мёглихь. Взорвали, смогли. Взорвать динамитом этакую махину — зачем, когда уже все оборудование для планетария было припасено? И *стоящее* было бы дело. Красивое — сохранить, а вредное пере... профилировать? Перековать мечи на... как их?.. орала. Кто они такие, эти «орала», никогда толком не знала; но сказано блестяще. На века, так что никто и не вдумывается. Так нет же, отчего-то передумали и взорвали. Ладно. Нуте-с, и давай на церковном фундаменте возводить Дворец культуры имени Куйбышева, с оперным театром, художественным музеем и областной библиотекой — все разом. Строили лучшие инженеры и по проекту очень крупного архитектора. Так на всех них во главе с архитектором настроили донос, что-де все они вредители, что пол зрительного зала театра на полторы или две тысячи мест в нужный момент не выдержит нагрузки и провалится — и так оно и задумано, и построено. Натурально, заварилось крупное дело. Привезли в двадцати, если не больше, грузовиках, две тысячи мешков с песком — весом с вес среднего человека с запасом. 80 кг или даже больше. Наверное, специально шили такие большущие. Какую-то швейную бригаду оторвали от ненужного шитья и засадили за неотложные две тысячи мешков на пять пудов песка каждый. А потом другая бригада, эта уж грузчиков, наверное, — хотя могли взять и кого ни попадя, ненужного народу

повсюду хватает, чтобы его когда и где угодно взять и направить на нужное дело, — втащила все эти 2000 по пять пудов; каждый мешок тащило шесть человек, на плечах, как гроб (ну правильно, ведь если бы непроверенный пол провалился во время открытия театра, ровно такое количество гробов с телами самых главных и лучших людей города и их жен или мужей, чьих-то сыновей-дочерей — пришлось бы тем же способом, а может, и той же бригаде тащить на кладбище, где одно-временно вырыто было бы две тысячи свежих могил! Откуда взять столько могильщиков? Такую кашу не то что заварить — вообразить невозможно никакому Марку; но если бы и в самом деле? Кошмар! Раз — и нет двух тысяч самых лучших! И похоронить сразу всех невозможно. Какой шум бы пошел по стране. Что бы говорили о нас враги. А у нас есть враги? Само собой, у кого их нет, чем же мы лучше? Нет, не так — чем мы хуже? В любом случае, есть и у нас, как у всех. Кошмар, но задумано гениально. Раз — и две тысячи в тартарары. Куда эффективнее всякой стрельбы и взрывов), каждый мешок втаскивали по очереди в зал и водружали каждый на одно из мест. Таскали, усаживая так мешок за мешком, довольно долго. Долгое тяжелое дело — партер, бельэтаж, амфитеатр. Наконец заселили мешком последнее откидное место на галерке. И что интересно — пол выдержал. Даже откидные места держали по пятипудовому мешку. Инженеры оказались не только квалифицированными, но честными людьми. То есть это не говорит о том, что они желали добра Советской власти, ни даже о том, что они не желали ей зла, но чего бы они ни желали или не желали ей, но ожидаемого от них и, может быть, замышляемого ими вреда ей — они взяли и не нанесли. Не нанесли вреда Советской власти — назло ожидающим вредительства представителям Советской власти. То есть все равно оказывались вредителями, это всякий понимал — но формально остались чисты, значит, целы и невредимы. Раз в году и грабли не стреляют. Дворец культуры с непроваленным полом стоит по сей день. Вот и всем бы такие полы, ей бы такой — а то в щель между досками столовая ложка провалилась, мамина ложка, серебро 84-й пробы, жалко, а никак не вынуть...

... Да; а тогда, в Покровском храме, стояла она дура душой минут тридцать, а то сорок, что длилось отпевание, — глядя, как совершенно внезапно скончавшийся муж, любимый муж, волю которого она теперь исполняла, сильно того не желая, лежит, держа в сложенных крест-накрест на груди руках икону Божией Матери «Взыскание погибших», как оказалось, бережно хранившуюся им, невзирая на все его лихое безбожие, в заветном несессере из телячьей кожи вместе с дорогими безделушками, которые одна за другой и все как одна исчезли в ненасытных глотках торгсинов и ломбардов, а этот образ вот — остался, так что кроме него после смерти покойного в несессере обнаружилась только икона и записка: «С ней прошу похоронить»; глядя, как он лежит с иконой в руках и широкой, с церковнославянскими письменами на ней, тканой лентой, называемой почему-то «воздух», на лбу — а тем временем старый попик Алексей кадит ладаном над новопреставленным своим тезкой, ладаном, с которым вряд ли что в мире ей известных запахов могло бы соперничать по благоуханности, когда бы благовонный этот чад не был столь угарно-густ и прян, не имел бы той чрезмерной по нынешним временам, существенности, — так и сказать? почему нет, так именно и скажем, — чрезмерной существенности запаха, скорее раздражающей, нежели улаждающей обоняние современного человека. Да, было, было в этом что-то темное, сумрачно ветвящееся дымом, из толщи времен вынесшее свою словно бы навеки остановленную природу, в высшей степени чуждую быстрому и не витиеватому сегодняшнему дню — но она, хоть и принадлежала сегодняшнему дню, она, сама плавившая на кухонной газовой плите в тигле золотой песок или опилки и переливавшая потом жидкое золото по проволочной центрифуге, одновременно крутя ее, как коловорот, в гипсовую формочку, откуда до того полностью выплавился снятый с зуба восковой

оттиск, обозначив в быстро застывающем гипсе требуемую форму золотой коронки, — она, зная, как от тяжелого золотого чада может ломить голову, но зная по себе и то, что привычный к черному дыму плавящегося золота свою алхимию не променяет на... да, она, штучный человек-частник-надомник, могла бы принять и полюбить дух ладана, если бы его не воскурляли Тому, Кого нет... да, кадит и бормочет что-то по-своему, по-поповски, припевая словно бы себе самому. Что-то нескладно-складное, непонятно-благозвучное. Она стояла дура душой, то всхлипывая, то скучая, а потом прислушалась — и среди прочего один отрывок оказался не только нескучным, но до слез горьким и в то же время торжественно-грозным, чему полупонятность старинного языка только содействовала. Впечатленная величественным и страшным смыслом услышанного, она попросила потом у отца Алексия книжицу, по которой он служил; он ей показал это место, и она списала себе на память весь этот отрывок. Несколько дней после отпевания она все ходила по опустевшему без мужа дому и читала нараспев эти строки по бумажному листку в клеточку, будто от них могло полегчать и ей, и ему, которого больше не было, или он был Никто Навсегда в Ничто Никогда; она читала и читала нараспев (и это в самом деле действовало облегчающе, погружая в бездумие и даже в какое-то чуть ли не сладостное бесчувствие), пока не выучила машинально наизусть и могла произнести и годы спустя, если бы не забыла за древностию лет, — не их, эти слова, но то, что их можно читать, когда страшно или просто неспокойно, и они как-то притупляют страх и успокаивают. Она забыла их, помня по-прежнему наизусть: «Приидите внуцы Адамовы, увидим на земли поверженного, по образу нашему все благолепие отлагающа, разрушена во гробе гноем, червями, тьмою иждиваема, землю покрываема. Его же невидима оставльше, Христу помолимся, дати во веки сему упокоение».

Упокоение. Так хотел ее покойный муж, и воля его была для нее свята. И будем справедливы, в церковном обряде и впрямь есть что-то торжественно-скорбное, что-то честно-горестное, мрачное — и в то же время просветляющее. Что-то достойное самого главного в жизни человека — его всем нам положенного ухода в Ничто Никогда. Во всяком случае, почему не признать, церковь и сама обращает внимание на то, что смерть — это Смерть, и других привлекает к тому же; *ей не все равно*, и она хочет, чтобы и всем было не все равно: как так — целый человек неотвратимо и необратимо уходит в Ничто Навсегда? Задумаемся. Прочувствуем. И это делает... да, если вспоминать, больше и вспомнить некого, одна только церковь это и делает; одной ей и не все равно, жив ты или помер. Всякий боится только своей смерти, чужая его мало заботит: «Смерть вырвала из наших рядов...», — и вперед, к новым осушенным болотам и построенным городам; одна лишь церковь как ей рот ни затыкай, все равно бубнит свое, упрямо повторяя, тупо, но правильно напоминая, что вперед — это еще и всегда вперед к смерти, так, что осуша сто болот, ты, точно так, как этот, что уже лежит перед тобой в гробу, так вот точно и ты умрешь, и будешь лежать в гробу, а потом отправишься к червям или в печь. Это не мытьем, так катаньем заставляет... Но и только. Признаем, в церкви и впрямь хранится вековая мудрость, но ведь и с вековыми же предрассудками вперемежку. Вот тут, в этом отрывке, который сам собой запомнился наизусть, рядом с совершенно верным «разрушена во гробе гноем, червями... землю покрываема» призывается: «Христу помолимся, дати во веки сему упокоение». А зачем Ему молиться, даже если б Он и был, чтобы трупу дать вечное упокоение? Это автоматически произойдет, уже произошло безо всякого вмешательства Христа.

Да, именно так: вековая мудрость вперемежку с вековыми предрассудками. Что и подтверждает: церковь — дело рук человеческих и только человеческих, потому что, если бы церковь Христова была от Бога, в ней бы одна только мудрость

и дневала-ночевала. А кто может говорить веками умные вещи пополам с глупыми? Понятно кто — человек. Народ. Человечество. И Бог тут ни при чем.

Да и — что Бог? Где Бог? В синагоге ли, где можно купить мацу и место на еврейском кладбище, где молятся на почти уже никому — ей, во всяком случае, — не понятном иврите? Или Он в мечети, где женщин пускают только на второй этаж? Может быть, еще прикажете носить паранджу? Дичь, азиатчина! Или Бог в русской церкви, пустой по будням, битком набитой по воскресеньям и их праздникам? Старухи в черных платочках, трясущиеся старички, нищие, калеки, земные поклоны: на коленях об пол лбом — бух! бум! И мелко крестятся, и шепчут — или возглашают; нормальным голосом и тоном слова не скажут. Убожество. Вот-вот: где Бог, там непременно — у-божество.

... Правда, году то ли в 56-м, то ли в 58-м, как давно это было, Боже мой — Боже мой, Которого нету, — в городе много шуму наделало «стояние Зои». Так его потом назвали, а тогда дело было так. Некая Зоя, девушка лет восемнадцати или двадцати, у себя дома на вечеринке, не дождавшись своего жениха Николая, схватила в шутку родительскую икону Николая-угодника — в смысле: не оставаться же мне одной, когда все парами, и раз такое дело, буду танцевать с этим Николаем взамен того, мне что тот Николай, что этот — строго говоря, без особой разницы. После чего, схватив икону обеими руками, пустилась будто бы в пляс. Нуте-с, тут-то вот и произошло чудо: икона прилипла намертво к рукам кощунствующей Зои, а ноги ее также намертво приросли к полу. И вот с тех-то пор, изволите ли видеть, несчастная будто бы так и стояла день-ночь, и не было ни у кого сил ни вырвать икону из ее рук, ни оторвать ее саму от пола, ни хотя бы согнуть ее ноги в коленях, чтобы, пододвинув стул, усадить виновную в столь страшном святотатстве грешницу; покуда, как сказывают, по молитвам некоего «старца» (тоже вот еще любопытная фигура: у обычных людей старики, а у этих — «старцы», видимо, что-то вроде аксакала, но сверхаксакала, потому что «по его молитвам» вечно что-то происходит, скажем так? а почему нет, — нестандартное) она отлипла якобы от пола — и то ли умерла вскорости, то ли ушла в монастырь — еще ведь есть пяток женских монастырей, — где пребывает в здравии и поныне, но под другим именем. Так ли было, нет ли, но у дома Зоиных родителей на улице Буянова (название-то одно чего стоит) в паре трамвайных остановок от дома Гали Абрамовны собралась толпа в самом деле пренесметная, и уж как собралась, так и не расходилась несколько дней, пока в дело не вмешались силы правопорядка и того более — компетентные органы (потому что молва уже разнеслась такая, что чуть ли не из самой Москвы ехали любопытствующие, а от Москвы и до «Голоса Америки» рукой подать). Галя Абрамовна, однако, нимало этим не была взволнована, хотя и проходила мимо злополучного дома пару раз за это время, и дивилась, глядя, тому, сколько же глупых людей еще живет на свете, особенно в нашей стране. Она по складу ума вообще испытывала сильную неприязнь к мистике, да и всему иррациональному, кроме, может быть, только женской интуиции, и то не всегда; из всех же видов религиозно-мистических... чудачеств, скажем так? да, так именно и скажем, — менее всего ей импонировало «почитание» неких «святых» и молитва им... тем, которых — нет, потому как они все до одного отправлены в Ничто Никогда. Молиться Богу — в этом, конечно, тоже нет особой логики, поелику, их же словами да и о них же, — поелику еще Бог всеведущ, всеблаг и всемогущ, то этого более чем достаточно, чтобы он и без твоих надоедливых просьб знал, что для тебя хорошо и полезно, и посылал бы тебе именно это, а от плохого и вредного избавлял бы — безо всяких, повторим, избыточных и тем уже докучных бормотаний. Но это еще ладно — по-человечески понятно желание обратиться к авторитетному для тебя лицу. Живому лицу. Ведь кем бы ни был Бог, но понятно (то есть именно — не понятно), что Он — не временно, а постоянно живой, в отличие от смертных. Но поклоняться и

просить помощи – у человека же? Что значит «святого»? Скажем иначе, понятнее для нее – праведника. Святых она не видела, но праведных людей, отзывчиво добрых и предельно порядочных даже в самые-самые те времена – таких она пару раз за свои восемьдесят семь встречала. Но ведь, в отличие от Бога, они и живыми-то совсем не были всемогущи, а теперь уж и подавно умерли. Их нет как нет в Ничто Никогда. Так кому ты поклоняешься и у кого просишь помощи? У такого же, как ты, ну, пусть при жизни он был в сто раз лучше тебя, но у такого же, как ты, смертного, только уже мертвого. У какого-то Николы – или кто у них там еще? Серафим... Сорский, что ли? И после этого мы осуждаем культ личности. Да его бы не было, если бы народ сам, еще до всякого Сталина, не сотворил себе целую кучу кумиров, что, между прочим, их же Бог им же категорически запретил (на этом уровне при таком отце, как у нее, она-то уж знала «заповеди Божии»). Народ так и тянет всегда бухнуться кому-то в ножки – а Сталин за это отвечай. Нет, она не за оправдание Сталина, но, чтобы его судить только за свое, а не чужое, хорошо бы рассмотреть его дело с разных сторон. Взять, к примеру, какой-нибудь другой народ, вот хоть голландцев, и посадить им – так это на минуточку, представим себе хорошенько – генеральным секретарем Сталина. Что было бы? Вопрос.

Да говорили, кто, по их словам, попал в дом, что и Зои-то там нет никакой – пусто. Но какова цена их словам? Не под сомнением ли слова любого, кто об этом без конца говорит, уже только потому, что он вообще об этом говорит? Вообще из толпы зевак? Нет ему веры – точно так же, как он уверяет, что Зои там нет, так же можно сказать и о нем – полно, да был ли ты там, не врешь?.. Допустим, есть Зоя. Допустим даже, она стоит. Прилипла. Ну и что с того? Значит ли это, что Никола ее приклеил? Вовсе не обязательно. Есть кататоническая форма шизофрении (все-таки она была зубным, но врачом, имела какие-то общие понятия) – вполне может проявляться и в таком вот виде. Вообще, природных загадок тьма. Хотя бы летаргический сон. Сколько бы ей ни объясняли специалисты, она никогда не могла понять, как все-таки человеческий организм, пусть и с отключенным сознанием, может оставаться живым, неделями, а то и месяцами обходясь без еды и даже воды. Она подозревала, что и специалисты только делают вид, что знают. При чем тут отключка сознания, когда материя первична, и в организме происходят обычные, хоть и сильно заторможенные отключившимся сознанием процессы? Месяцы без воды – а потом просыпаются живыми. Фантастика! Чем этот факт менее удивителен, нежели прилепленная Зоя? Сами – ни по чьим молитвам.

Да, она и безо всякой Зои знала, что есть много тайн, еще не познанных наукой. Но именно *еще*. На то и наука, чтобы развиваться. Когда-нибудь все эти тайны покажутся детской игрушкой. Так, одна из ее приятельниц рассказывала: как-то раз под вечер она готовила ужин, дожидаясь возвращения дочери. И тут, у плиты, ей был голос. Внутренний голос: «Выйди за дверь. Выйди за дверь. Выйди за дверь!» Она послушалась, отперла дверь и вышла на лестничную клетку – что же? Этажом ниже послышался сдавленный крик и шум возни. Спустилась – какой-то грабитель, не то насильник напал на ее дочь! Увидев, что жертве кто-то идет на помощь, грабитель, совсем еще мальчишка, бросился бежать. Что после этого скажешь? Да, в мире много таинственного, и одна из самых таинственных вещей – теснейшая связь между матерью и ребенком. Ей ли не знать? Но подождите, дайте срок – и всякая «телепатия» получит исчерпывающее объяснение...

Не верить же, в самом деле, что там, в загробном мире, ожившие мертвецы сидят и помогают Богу управлять миром земным. Огромным миром с его четырьмя океанами и пятью (или шестью?) континентами, с миллиардами одних только людей и только в один данный момент времени. А сколько миллиардов людей прошло по земле за 2000 лет одной только нашей эры – и вот всеми этими человеческими-то судьбами внутри всего колоссального земного хозяйства в первую

очередь и помогает Ему ведать какая-нибудь тысяча, пусть десять тысяч, «святых», то есть всего-навсего умерших в разное время людей, какими-то своими человеческими качествами особенно приглянувшихся Богу. Это же — мама родная, это... Нет, ну что, в самом деле, если какой-то Никола, прогневавшись с чего-то на безобидную дурочку Зою (ведь на дураков же не обижаются, тем более святой, наверняка умудренный жизнью человек), может взять ее и вот так просто прилепить, а потом так же просто отклеить, то — что же тогда может Сам Бог? Просто не придумать тогда того, чего Он не смог бы. А уж наказать за подлость или наградить за добродетель — Ему пара пустяков. Больше того, именно этим воздаянием «каждому по делам его» Он, как говорят сведущие люди, если считать таковыми представителей духовенства, в первую очередь и озабочен.

Ну и где же в таком случае Его всемогущая и праведная десница? Где Он и чего Он ждет? Пора, давно уже пора разобраться с теми и другими. Накопилось уже достаточно.

Если хочет всем спасения, почему не явится — всем? Кто Ему мешает? Тогда все протрут глаза и прозреют. Судя по тому, что, если им верить, избранным Он — является, и те сразу протирают глаза. Начиная с Фомы неверующего (эту историю она помнила потому, что отец, непоколебимо веря как в святую правду в злостные выдумки Торы, отрицал как злостные выдумки все, во что верят христиане, все, написанное в Евангелии, — примером же самого отъявленного вранья приводил именно историю с апостолом Фомой, как тот из неверующего стал верующим). Значит, этот способ убеждения — не запрещен. Ничего плохого в нем нет, он соответствует правилам игры. Тогда примени его ко всем, хотя бы к половине, к четверти, к сотой, хорошо — тысячной части! Эти 4-5 миллионов тебя устроят своею... хорошестью?... под-готовленностью? Явись им — и пять миллионов проревших убедят остальных.

Нет, Он не приходит. Не карает злых и не награждает добрых; если это и бывает, то иногда, и так же случайно (только с куда меньшим процентом вероятности), как и прямо противоположное: сколько подлецов и мерзавцев — она не испытывала особой вражды и к ним, может быть, не только из общей своей доброжелательности, но и потому, что ее семья они обошли стороной, — но у нее были глаза, и она видела: сколько подлецов и мерзавцев жили — и как жили! И умирали как люди, мирно, с хорошим уходом за ними, который они могли себе позволить, в кругу, что интересно, чаще всего любящих их близких. А порядочный человек возьмет и стукнется средь бела дня о какую-то дрянь, и нате вам: саркома; а зачем? Может, чтобы облагородить его страданием? Но жизнь — не роман Достоевского. Боль, при которой не помогает морфий, не облагораживает. И где же тут справедливость? А Зара? Ее-то за что? Могла бы еще пожить и, читая хорошие стихи о любви, как раз облагораживать души, готовя их к Нему. А погромы, блокады (как только блокада, Марк мог перечислить все блокады в истории войн, ей всего не упомнить, но одно она усвоила: блокадный счет голодным смертям всегда ведется не меньше, чем на десятки, а то и сотни тысяч), голод 21-го года (почему-то все вспоминают его и не вспоминают голод в Поволжье 29-го года, а он был еще страшнее; один председатель совхоза-миллионера, человек небедный, ставил у нее золотой мост и разговаривал; между прочим рассказал и о том, что в деревне Андреевка какого-то из районов Куйбышевской области в 29-м году в Поволжье одна женщина с голодухи съела свою сестру; та как раз померла с голодухи, и сестра съела ее труп по частям; к ней пришли, когда она доедала остатки сестрина мяса; сделать с ней, однако, ничего не сделали — женщина от сестроедения уже очевидно, безо всякого медосвидетельствования, сошла с ума, поскольку не узнала даже председателя сельсовета; так с тех пор и живет она, и колхоз ее кормит — не оставить же ее второй раз помереть от голода; но все кличут ее Анчуткой; почему Анчуткой? да потому), концлагеря немецкие и наши. Китайская культурная

революция. Резня в Кампучии. Напалм во Вьетнаме. Бесконечная резня по всей Африке. Чили. Ливан, Индия, Пакистан и Бангладеш. Она всю жизнь до самого последнего времени внимательно прочитывала газеты, так что коллекция человеческого взаимоистребления подобралась в ее даже потускневшей памяти – внушительная, пусть и неполная; и хорошо, что неполная. Все посчитать – это... это не может быть сосчитано, как «Сикстинская мадонна» не может быть оценена. Смерть и неописуемые предсмертные страдания людей по всему земному шару, людей, чье количество *не может быть сосчитанным в миллионах*.

Почему же Он не помешал и продолжает не вмешиваться – Он, всемогущий и всеблагий?

Почему? Да потому, что нету Его, вот почему. Все очень даже просто.

А нет Его потому, что мы знаем о Нем: Он не только всемогущ и всеведущ, но и всеблаг. То есть если бы Он был, то мы знаем, что Он был бы именно таков.

А миром, теперь старуха знала это, правит высшая не благая, не добрая, хотя и всемогущая и, вполне может быть, всеведущая, но з л а я Сила.

Всю свою долгую жизнь она не верила не только в Бога, но в существование каких бы то ни было сверхприродных, сверхъестественных сил. Все загадочные и аномальные случаи объяснялись тем, что природа вещей включает в себя многое еще не познанное и потому считающееся сверхприродным. Но, еще и еще раз, дайте срок, поживите – и выяснится то, что и должно было выясниться: ничего сверхприродного природа просто не могла произвести.

Но сейчас, после того ночного визита Смерти и нынешнего дневного сна с голосом диктора... сейчас она вынуждена была сказать: как бы ни казалось, что чего-то просто не может быть никогда, но если ты убедился на собственном опыте, что оно – е с т ь, то надо уметь признавать свою неправоту, даже если тогда выйдет, что ты, оказывается, был неправ – и в самом главном – всю прожитую жизнь.

Все выглядело теперь иначе, и так же, как в старой картине мира без вмешательства высшей Силы, так и в новой, где эта Сила присутствовала и все определяла, выстраивалось в организованный ясный порядок. Правильности старой картины мира, пока она рисовала себе ее, ничто не могло опровергнуть. Правильности новой была для нее также неопровержима; нет, больше, потому что Галя Абрамовна теперь не просто была потому-то и потому-то убеждена в присутствии высшей Силы, но она *знала* ее достоверно, была с ней дважды в прямом контакте.

Конечно, могло быть, что это стариковские бредни, старческий маразм, пресенильный синдром. Слуховые и зрительные галлюцинации, наконец. Она допускала это и готова была, если б ее убедили в обратном, вернув к прежней картине мира, первая посмеяться над собой. Однако старуху не только ничто не убеждало в обратном, а, напротив, сейчас все, что ей было известно о мире и своем месте в нем, выстроилось, перестроившись, виделось под таким углом, что все ясно и неотразимо – не доказывало, но прямо показывало: злая высшая Сила есть, от нее все и зависит, и вот сейчас ей оказалось дело и до Гали Абрамовны.

Да, она совсем по-новому видела сейчас строй своей жизни, ей открылась железная, *организованная* последовательность событий, состоявшая с какого-то момента в планомерном отделении ее сначала от людей, потом и от какой бы то ни было внешней жизни (впрочем, в изоляторе было прорублено чьей-то все учитывающей рукой оконце: Лиля соединяла ее с миром ровно на самую малость, чтобы она не умерла с голоду и не запустила бы себя до вшивости; оконце, но не дверь – выйти в мир она не могла), а потом и от самой себя – лишенная половины органов чувств и почти лишенная ног, она была самым настоящим обрубок.

Все продумано. Все ясно. На ней ставили опыт: как поведет себя человек, голый человек в полном одиночестве, лишенный физической возможности, если б и захотел, пойти к людям, сделать им что-то нужное и тем почувствовать и себя

нужным, значит, живым; без почти какой-либо возможности рассеяния, кроме той, что дает сама старость: скатиться на небольшое время в сонное, ко всему безразличное оцепенение, — что ж, и тут есть отличное средство встряхнуть: врубить электричество смертного страха — на первое деление; этого достаточно. Дать ему всю полноту дней, отпущенную человеку, протянуть его жизнь так, чтобы она в конце концов даже ему самому представлялась ненужным, слепым аппендиксом — и вот тут-то, при конце иглы, показать то, что было сутью жизни и о чем она не думала серьезно никогда ранее: живое жерло Смерти.

И эта нарочная, специально посланная ей бессонница. Эти иглы, крючья, зацепы — в пору, когда уже ничем не отвлечешься от них, поневоле станешь пациентом их непрошеной заботы. И так заботятся о каждом рожденном на свет, посылая каждому тьму способов заглушить одно, заполнить другое, сколько разнообразных удовольствий, развлечений, тяжести труда и облегчений отдыха — сколько способов обмануть себя услужливо подсунуты были ей на протяжении восьмидесяти лет; до поры до времени. Какое дьявольское терпение — чтобы потом парой злорадных ударов разрушить все это здание жизни на песке, разоблачив все прежние обманы и показать все, как оно на самом деле, во всем его уродливо-ужасном обличье. Дальше — пустота, хуже пустоты — небытие. Нуль. Ничто. Никогда.

Ничто? Но если бы ее «я» было частью природы, продуктом материи, оно как часть природы и было бы приспособлено к любым формам природной жизни. К любым, а значит и к своему выключению, когда жизнь естественно закончилась. Реакция на норму всякой вещи и была бы нормальной, и умирать было бы как сильно болеть, а потом, заснув насовсем, отправиться в Ничто. Никогда. Но нет же. Уже сам необычный характер смертного страха — а ведь отмерло уже 90% тела, недомерший остаток почти не считается, не должен считаться — не говорит ли о том, что ее «я» и природа, хотя и связаны... И старуха вновь испытала странное, пугающее чувство, что ей предстоит отплыть в море, одной в огромное волнуемое море, и что это живое и зрячее море безразлично или даже враждебно, но внимательно следит за ней, Галей Абрамовной, всеми своими бесчисленными глазами-волнами шумно накатываясь на нее, маленькую-маленькую... Это море — она, эта Сила. Живая, разумная, сверхприродная злая Сила.

Это же ясно, ясно. Сотворить жизнь, бессмысленную и ужасную, замаскировать бессмыслицу и ужас тут же, на ходу для этого сотворенными обманами будто бы серьезных радостей и горестей, чтоб рожденный, посылаемый на смерть, думал, что послан в жизнь, способен был жить и жить, — и вдруг прекратить эту жизнь, отобрать ее в ужасе и муках. И больше всего не в муках тела, но в муках непонимания — за что размалывают меня в прах, раз родили, приучили, что мое «я» — есть, и готово и дальше только — быть?

Нет, этого не может быть. Нет, может. Больше того, так и только так оно и есть.

Одно только: если предстоящее плавание — не в Ничто. Никогда; если оно не конец. Если **там** что-то — есть; тогда... ну, что, что тогда? Бога нет, доброго Господа нет, мы это выяснили с тобой, нет и не было, иначе Он бы пришел на помощь ее Зарочке и всем-всем чужим детям и взрослым детям, блокадным, бабьинским, освенцимским, африканским, бангладешским и кампучийским и еще и еще... — да, пришел бы хоть раз, один раз из...; Ему не надо являться все время, человек сам должен заботиться о себе, но когда такое ЧП, когда забивают, хуже скота, сотни тысяч мотыгами насмерть, как в Кампучии, она читала, там убили каждого четвертого, ни за что, за среднее образование, просто так, по плану, — когда косяками умирают от голода, пожирая крыс, и топят собственными экскрементами — тут Он должен явиться, если добр и силен, и спасти и защитить. Говорят, некоторые из его любимцев тем и славны, что защищали слабых и отдавали свое

последнее голодным; а как же Он Сам? Когда умирают сотни тысяч, ни один из его посланников, будучи всего лишь человеком, не в состоянии уберечь эти тьмы и тьмы – нужна Его неотложная помощь. Ну и где Он?

Нигде. Нет Его. Значит, Его нет. А есть вот эта, другая, злая Верховная Сила. Это она тебя породила, и она же тебя убьет, это уж будь благонадежна. И даже если там и есть что-то, оставлено что-то для тебя – так нечего радоваться, плакать надо: это не для тебя, для Нее, чтобы ей и там тобой забавляться – Ей ведь только этого и надо; чем уж **там** отличается от **здесь** – не знаю, но только мало тебе не покажется – из огня да в полымя, это уж будь уверена.

Ну, а коли так – за что же уважать-то Ее, верховную кровопийцу? Преклоняться – перед собственным палачом? Благоговеть – перед жестокой ехидной, кровавой забавницей? Ни-за-что. Что, в самом-то деле. Бойся-не бойся – все едино прихлопнет; позабавится кошка мышкой и – цап.

Ты, убийца, – еще и издеваться? Так вот, слушай. Я, Геля Абрамовна Атливанникова, не боюсь тебя, плюю на тебя и заявляю протест (Кому? На кого? Ей же – на Нее? Не смей меня!) Да, протест. Мне восемьдесят семь лет, но я не собираюсь умирать по-твоему (а по-чьему? по-своему? ой, не смей меня). Я не умру, пока сама не захочу; а не захочу я никогда. А если ты все-таки меня прихлопнешь и уведешь в не-знаю-что-Навсегда, то знай, по крайней мере, что я не дала себя одурачить, как другие; ты игралась со мной, но и я раскусила тебя, и когда ты меня уведешь, я скажу тебе в лицо, в безобразную твою рожу все, что я о тебе думаю. И еще скажу, хоть убей меня прямо сейчас, чтобы мне больше уже не встать с этого кресла, что права казнить, никогда не милоуя, я ни за тобой, ни за кем не признаю – и издеваться над собой не позволю!

И она делала все, чтобы показать свое неприятие Высшей Злой Силы: усиленно, демонстративно ж и л а. Она ела супы и каши, рыбу и мясо, овощи и фрукты, запивая все клюквенным морсом и компотом из куряги и чернослива, чаем, кофе и какао «Серебряный ярлык». Горьковатый, мужественно-сухой вкус рассыпчатой гречневой каши приятен был чувствительному аппарату языка ее и нёба так же, как обволакивающая влажная женственность каши из овсяных хлопьев «Геркулес»; для нее было очевидно, что холодная волжская вода тверда и землиста, содовый боржом жирен, как молоко, а вода «Джермук», напротив, тоща, поджара, что разваренная куряга сохраняет бархатную ворсистость свежего абрикоса, что свежезаваренный, но простывший чай в стакане всегда немного отдает рыбой, а ванильный сухарь, размоченный в чае, перед тем, как под легким нажатием зубов (или тем, что, как у нее, во рту вместо зубов) совсем развалиться в сладко-водянистую мокротень, все-таки до конца остается сухарем, издавая неповторимосухарный хруп-стон; однако, как тому рано или поздно надлежало произойти, обоняние и вкус ее, дойдя до высшего пика обострения, устремились, в свой черед, к атрофии, вслед за уже отмершими органами чувств. С каждым днем усиленной их эксплуатации они отмирали, понемногу, но все сильнее, пока, наконец, Галя Абрамовна не начала незаметно для себя есть п о п а м я т и. И, сливая воедино почти неразличимый уже вкус поглощаемой пищи с острым ароматом и отчетливым вкусом вспоминаемых яств, старуха уплетала порции жареного хека, лимонемы или минтая, незаметно подменяя их в своем сознании паровой осетриной или карпом в сметане. Лишь некоторое время спустя до нее доходила реальность в виде отрывки, вызванной морской или океанической мороженой рыбой, съеденной в таком количестве, как если бы это была свежая речная; тогда огорошенная старуха с грустью думала... опять-таки не думала, а просто ей становилось грустно, что Лиля как-то все меньше заботилась о ней. По причине старческого недержания языка у нее однажды вырвалось: «Лилечка, что-то вы стерляди давно не приносили (она всегда, даже в те военные времена, когда Лиле было

пятнадцать-шестнадцать лет, была с той, как и со всеми, кроме родных и близких друзей, была на «вы»). У вас ведь стерлядь раньше не переводилась». Лиля растерялась, а Галя Абрамовна, помолчав, добавила: «И угри горячего копчения». Лиля, в свою очередь помолчав, обдумывая ответ, написала: «Перебои нынче с угрями, Г. А. И со стерлядью». «Пе-ре-бо-ои, – глядя в лупу на записочку, озадаченно прокаркала старуха своим слишком громким глухим голосом; и как-то даже величественно подвела черту, словно решила вопрос: «Ну, когда они кончатся, эти пере-бои, вы уж мне принесите, пожалуйста. Я – очень люблю». И она вновь и вновь расставляла свои многочисленные тарелочки; даже один-единственный кусочек селедочки или колбаски достаивался отдельной тарелочки; лежа в самом ее центре, он и становился временным центром перемещающегося с тарелочки на тарелочку внимания: искусство выживания требовало строгой, не знающей исключения, дисциплины.

Галя Абрамовна догадывалась, что дело нечисто – Лилия обманывает ее. Какие такие могут быть «перебои» в мирное время? Да, все мясо в магазине «Мясо» кончилось, Марк был прав, кончилось еще до Брежнева, не по вине этого, как она знала по его отношению к целующим его детям, доброго (вероятно, слишком доброго) руководителя. Но мясо растят в деревнях, а в деревнях живет деревенский же народ, а от народа, особенно деревенского, всего можно ожидать. От каждого из наших людей в отдельности можно и нужно ждать хорошего, но от всего народа вместе – чего угодно (а главным образом – чего *не* угодно). Но рыба – ведь рыба водится в реках, а наши реки велики и многоводны, там чего только нет – и в неограниченном количестве, равно как в морях и океанах – не сосчитать лососей, угрей и крабов. Как это возможно, чтобы в магазине «Рыба» не было какой угодно свежей рыбы, а в магазине «Сыр» – швейцарского сыра и вологодского масла? Сыр и масло делают не в деревне, в деревне только доят коров, беря от них молоко для сыра и масла. Но если забить корову на мясо – станет коровой, мясом одной коровы меньше, и у народа, если уж он взял этот курс, может дойти до того, что мясных коров вообще не останется; меж тем как дойных-то коров не забивают, и дояркам ничего не остается, кроме как доить и доить все тех же коров, получая все то же количество молока, стало быть, и сыра с маслом. Нет, тут что-то не так.

Она любила Лилию, но перестала ей доверять всецело с тех пор, как ей открыла глаза на вещи последняя оставшаяся в живых, проживающая давно уже в Москве у дочери приятельница, с которой она переписывалась, пока руки могли еще что-то долго, трудно чиркать на бумаге. В письмах Галя Абрамовна все хвалила Лилию, сообщая по ходу дела – других новостей, кроме политических, у нее не было – подробности из жизни семьи Понаровских. И вот та как-то и ответила в очередном письме: а тебе не странно, что твоя Лилия так старается для... я ничего не хочу сказать, ты ей не посторонняя, но все-таки же и не мать родная. Я ничего не хочу сказать, она наверняка славная, отзывчивая женщина, но почему она так старается, если ты ей не мать родная? Она ведь молода еще, у нее работа, дом, семья – почему она находит для тебя так много времени? Извини, но мы с тобой пожили на этом свете и знаем, что такая забота за «спасибо» крайне редка. Извини, но... может быть, ей нужно что-то от тебя? От нее? Но что у нее есть? Деньги – так их почти не осталось, она, безусловно, успеет проесть все или почти все, даже если очень скоро умрет. А квартира? Ты забыла? Ведь всего нужнее людям – жилплощадь. У тебя же есть жилплощадь. Так вот, извини, конечно, но... не хочет ли твоя Лилия прописать у тебя своего Витю? Но каким образом? Господи, ну, есть способы. Всегда есть способы. Например? Например – опекунство.

Ей раскрыли глаза; действительно, Лилия неоднократно заводила будто ненароком разговор о чем-то вроде родственного обмена. Что-то такое вроде бы съе-

хаться. Для общей пользы. Разумеется, она слушала, слушала, но, предупрежденная умным человеком, в конце концов категорически отказалась. Тут-то и возник другой вариант, где фигурировал уже только Лилин сын Витя, которого Галя Абрамовна ребенком почти любила — Витя появился на свет год спустя после Зариной кончины, когда душа ее все еще пребывала в коме, не годясь для по-настоящему живых теплых чувств, — во всяком случае, как она часто поминала потом, учила его приличному поведению. Витя в детстве тоже относился к ней хорошо, видя в ней почти-бабушку, однако, выросши, не проявлял желания зайти в гости. Кроме того, она знала, что Виктор спекулянт, а спекулянтов она не жаловала со времен Гражданской и совсем невзлюбила в Отечественную. Доводы Марка, что-де всеми уважаемый отец ее занимался не чем иным, как спекуляцией, сопряженной, как и сейчас, с тяжелыми переездами, работой с людьми и особым талантом чувствовать конъюнктуру, Галя Абрамовна решительно отвергала, считая софистическими: у каждого времени свои песни, мы живем в совсем другом обществе, строительство которого ее отец как раз и не мог пережить. Она и на сей раз отказалась; Лилия продолжала ее навещать, теперь-то уж, казалось бы, бескорыстно. Однако доверие было подорвано. С некоторых пор старухе начало казаться даже, что Лилия приносит ей отравленную пищу: иначе откуда бы взяться постоянной изжоге, и в особенности расстройству желудка, когда для нее характерно прямо противоположное? Конечно, трудно поверить, чтобы Лилия, которую она вывела в люди, чтобы она — и... и все же, объективно и непредвзято («строго антр ну? — да, строго антр ну»), у Лилии имелись причины желать ей зла — из-за сорвавшегося дела с пропиской Вити; а главное — кому не в тягость такая обуза? Лилия не может вот так просто прекратить к ней ходить, это безнравственно — бросить одинокую старуху, которой ты многим обязана и которую уже приучила к своей постоянной заботе, и конечно, Лилия не смогла бы спокойно спать, зная, что она, Галя Абрамовна, теперь о ней будет все время думать; иное дело, если ее ненароком отравить, слегка (сколько ей надо, чтобы объяснить все смертью от старости?), — вот и решение вопроса: и обузы нет как нет, и некому о тебе плохо думать.

Но не надо держать ее за дуру — это еще когда Марк понимал! — она приняла кое-какие меры по обеспечению сохранности своей жизни: попросила ту же Лилию (а что делать, кого еще попросишь?) добавить к ее рациону молоко, известное своими антиотравляющими свойствами, только, прошу Вас, обязательно в пакетах (само собой, непечатых), такова уж стариковская причуда. То обстоятельство, что Лилия приносила противоядие нерегулярно, ссылаясь на мифические «перебои» с молоком в пакетах, только укрепляло Галю Абрамовну в наихудших подозрениях. Как и Лилины отказы разделить с ней трапезу. «Галя Абрамовна, я только из дома, это все вам, чтоб вы ели...». Изволите видеть — чтобы она ела! Что вы на это скажете? Нет-нет, воля ваша, здесь дело нечисто, и она выведет отравительницу на чистую воду.

(В действительности дело обстояло так: съедая в склеротическом забытии очень большие порции и не умея объяснить столь быстрое исчезновение съестных припасов, старуха решила в конце концов, что кто-то крадет у нее из холодильника. Мало ли кто. Любой может подобрать ключ (а у Понаровских и просто был ключ) и, воспользовавшись ее глухотой и немощью, поедать всю эту вкуснятину. Эта логика привела старуху к тому, чтобы держать все продукты в своей комнате на окне, всегда под своим присмотром; тут они, те из них, что способны были прокиснуть, разумеется, и кисли самым обычным манером. Меж тем в последние дни сильная утрата обоняния и вкуса наложила на давнишнюю уже потерю чувства времени — сколько-то дней или недель назад, она точно не могла сказать, тем более что сама потеря чувства времени происходила во времени же, как-то размазываясь по нему, растягивалась медовой нитью, текущей вместе с ним по

его течению, — так что если два-три месяца назад она всего-навсего не всегда отличала шесть часов вечера от шести часов утра (то и другое позднеосенней порой одинаково смеркается, можно так сказать? нельзя, но мы так скажем, потому что есть такая удивительно равновесная пора, когда одни и те же часы раннего вечера и раннего утра действительно совершенно одинаково смеркаются), то сейчас она могла посчитать сутки за три-четыре часа. В силу этих двух причин старуха и не ведала, что творила, употребляя в больших-пребольших количествах уже не суп или уху, а скорее мясной или рыбный кисель, да еще и запивая всю эту закись стаканами молока. Все могло быть объяснено и выяснено, расскажи она Лиле о симптомах отравления и своих подозрениях; но в том-то и дело, что, желая разоблачить Лилию, она следила за ней, не раскрывая своих карт.

К числу тех немногих наслаждений, тех тонизирующих средств, которые еще оставались ей, кроме еды и питья, нужно причислить воспоминания. Не те главные, о которых говорят: «Будет, что вспомнить», — они-то, как старуха уже уяснила раз навсегда, либо вспоминались, не грея, совершенно посторонние ей сегодняшней, либо были такими, что лучше не вспоминать вовсе; нет, *этот* ларец следовало запереть и не открывать никогда, что, впрочем, как будто вполне устраивало и сам ларец тоже. Но другие, случайные, какие-то клочки и обрывки, побочные... вот в них она вдруг обнаруживала себя, проникшую туда как бы контрабандой и оставшуюся совершенно живой и своей себе нынешней, как говорили теперь, в доску. С такими воспоминаниями, однако, следовало обращаться умело. Они требовали работы, нелегкой, но благодарной. Уже отмеченная трудность заключалась в том, что сами по себе все вообще воспоминания ее подсохли, выпарив из себя влагу живого чувства и отшелушившись, подобно зажившей болячке. Некоторые из них были обманчиво податливы, но стоило всерьез попытаться оживить то или иное имя или событие, как попытка упиралась в тупик, словно бьешься головой о стену, обитую ватой. Нужно было уметь ждать, как рыбак в лодке, дремать рассеянно хоть целый день, словно бы не нуждаясь в том, что *оно* «клюнет», — и даже почувствовав, наконец, знакомое, радостно ожидаемое — *его* приход, слабое шевеление там, внутри, где *оно*, все *они* хранились, не убыстряя ничего, не напрягаться, чтобы *его* не спугнуть, и только когда *оно* появлялось явственно, *п р о - я в - л я л о с ь*, — «подсечь» и выловить.

Можно, впрочем, описать это и иначе: всю эту кучу отделившихся от нее воспоминаний нужно было очень неспешно, аккуратно разворошить, чтобы отыскать два-три, способные еще источать, пусть слабый, аромат. То был сбор не воспоминаний собственно, но их теней, отражений их в ее душе; сбор воспоминаний о воспоминаниях. Здесь не играли роль ни степень важности вспоминаемого, ни его когдатощная острота. Все, все, значительное и мелкое, и такое, что не запоминалось, не отмечалось вовсе в памяти тогда, когда происходило, *бывало* — все это было и прошло. Но не проходил, оставался с нею тихий свет ночника, какие-то всплывшие сейчас и зажегшие ее бледные щеки румянцем секунды горячего тепла, и пришедший и ушедший тут же, сто лет назад, неизвестно когда, при каких обстоятельствах и даже с *к е м* — лунный восторг, кратковременная вечность умиления: он уже спит, а ты все смотришь в темноту перед собой, — как неожиданно жива, как счастлива и сейчас истома этой позабытовчерашней одинокой ночной минуты. И не надо, не надо будоражить ее, пытаясь безнадежно вспомнить, с кем, вспомнить лицо — твои потуги лишь вспугнут ее, и она исчезнет; вот видишь, что ты наделала, она уже растворилась в неразличимой ночи позабытовчерашнего.

Ловля теней: снова и снова — вкус пирога с морковью во дворе женской гимназии на углу... как называлась она тогда, теперешняя Рабочая? Поди вспомни; неважно; дальше. Снова крики: «Мла-ака, мла-каа, кому млакааа?» и: «Старье-

белье! Старье-белье!» – как слышалось не ей одной загадочное это восклицание, сколько ни говори себе, что никакой загадки тут нет, это значит просто: «Старье берем!»... летним розовым днем, улица без людей (в этих воспоминаниях тени предметнее, плотнее людей, люди же бестелесны и расплывчаты, как полутени), запах озона после того, как по раскаленному асфальту прошла поливальная машина... Добыча повещественнее: металлическая машинка для набивания папиросных гильз; она сохранила в себе сипловато-высокий, такой домашний голос хозяина: «Ну его к лешему. Сколько ни бейся, все не “Месаксуди”», – и изумительные усы, и огорченную улыбку, еще выше поднимавшую и без того чуть поднятые их заостренные кончики, и коричневую, влажную горку папиросного табаку, сушившуюся на подоконнике после того, как Алексей Дмитриевич проваривал его в сложном компоте (где были и мед, и ваниль, и капелька водки, и бог знает что еще), пытаясь, и безуспешно, домашними средствами добиться любимого вкуса и аромата пропавшего вместе со старым строем турецкого табака «Месаксуди» или отличнейших, отчего бы не поверить ему, она верила, отечественных папирос досоветской фабрики Бостанжогло; он как-то по-детски любил нюхать и чуть ли не сосать папиросы как леденцы, отчего и предпочитал такие вот, с восточно-пряным и душно-сладким запахом, папиросы тоже отменным – с чем он охотно соглашался, но продолжал курить свои «карамельки» – толстенным асмоловским, которые называли «пушками» и которые потом канули туда же, куда и «Месаксуди», и Бостанжогло: неизвестно куда. От воспоминания о папиросной машинке веяло уютом домашних, безопасных сумасбродств и чистой чудачества. Да, чистой... Ибо она была всего-навсего чистоплотна, а он был – чист; потому он и не ревновал ее никогда, даже в случаях, когда ревность была, кажется, оправдана. Он просто верил ей на слово; смешно, глупо, но как-то раз он взялся всерьез убеждать Софу, что тогда, в Стерлитамаке, «между Галочкой и Мариком ничего не было». Он верил ей просто потому, что сам всегда был верен и не умел представить те чувства и поступки, которых сам не испытывал и не совершал. А она, бессовестная, пару раз воспользовалась этим, ну, всего два раза за тридцать лет – если послушать других, она просто невинная голубица... ах, какое, какое сейчас это все имеет значение?

Однако такое не часто случалось выловить. Можно сколько угодно рыться в старых фотографиях, письмах, которые уже нет физической способности прочесть, обрывках траченных молью старых тканей: панбархата, английского ситчика, китайского шелка, креп-жоржета – все мертво, все холодно, все пусто (и опять вдруг эта фамилия – Модзалевский; кто он все-таки?). Но она продолжала перебирать свои ненужные сокровища, почти безнадежно надеясь, что никакая работа не останется без награды. Неизвестно, когда и как, но она будет вознаграждена... Устав от поисков, Галя Абрамовна задремывала, откинув голову на высокую резную спинку отцовского дубового кресла – и вдруг пробуждалась от тронувшего ее ноздри совершенно явственного запаха позднемартовского снега 1908-го, не то 10-го года. Начавший слегка таять снег сочился водяным соком; он пах арбузом. Однако в целом снег был еще крепок, и по нему неслась тройка, и в тройке сидела она, семнадцати- или восемнадцатилетняя Геля, Галя, одна из первых красавиц Самары, а рядом с ней Леонид Витальевич Собинов. Она не видела своего девичьего лица, не видела и лица Собинова, но чувствовала на себе, и тогдашней, и сегодняшней, его взгляд и хорошо понимала смысл упорного этого взгляда, в котором хищная мужская прицельность соседствовала с романтической туманноокостью, навеянной, вероятно, выпитым шампанским, а сдержанная простота воспитанного человека необъяснимо уживалась с простодушно-победительной самовлюбленностью оперной знаменитости, привыкшей ко всеобщему поклонению. Это могло бы охладить Галин восторг, если бы она не чувствовала

всем женским своим естеством: Леонид Витальевич, несмотря на всю свою победительность, ею совершенно очарован и даже потерял слегка голову; она знала это и одновременно боялась этому верить, чтобы тоже не потерять голову, и желала только одного: продлить напряженную двойственность чувства, девичье-женское наслаждение игры с самой собой и с ним, щекочущую остроту неопределенности... Что-то сосало в груди, и сердце таяло, как снег, пахнущий арбузом, и еще крепко несло животным от теплой меховой полости, укутывающей им ноги, и пронзительно-синее глубокое небо мартовского вечера, ее семнадцать ли, восемнадцать лет, ее кунья муфта и кунья же шапочка, и замерзшая Волга за пару недель до ледохода...

Собинов умер. Давно. Кажется, еще до революции. Или после революции, но до войны? Или после войны, но до революции? Что раньше: до войны или после революции? Да, но, опять-таки, что позже: до революции или после? Какая разница, если человек умер. Доподлинно известно, что Собинов умер и находится в Ничто Никогда. Или... В любом случае, его ни для кого нет, он занят — его пригласили в плавание, от которого даже Собинов не смог отказаться. А Волга — есть еще? Не знаю; кажется, есть. Еще не так давно была, сама видела. По-моему, была. Вероятно, есть и сегодня, но уже не проверить.

Тройка остановилась на набережной. Они спустились на берег, прошли по нему чуть не по колено в подтаявшем здесь особенно снегу, взошли, дробно стуча каблуками, чтобы сбить с них снег, по деревянному трапу с металлическими, крашенными в голубой цвет поручнями, и оказались в летнем ресторане-«поплавке», вмерзшим в не тронувшийся еще волжский лед, ресторане, невесть почему открытым в это время года. Они сели за столик, покрытый, как водилось в подобных заведениях, несвежей скатертью со следами предшествующего пиршества, и обратились к подошедшему молодцу, смахнувшему что-то со скатерти, а затем взмахнувшему самой скатертью и водрузившему ее обратно на стол, но уже другой, более чистой, как ему, вероятно, казалось, стороной. Они заказали на первый случай водки и горячих калачей с мелкой стерляжьей икрой, и сразу же «много горячей чаю», как попросила Галя. Чокнулись; Собинов махнул рюмку в рот. «С морозцу, — сказал он. — А хорошо здесь, должно быть, уха. Ее и закажем». Она не спросила его, почему ему пришлось в голову заказать уху в марте, когда никакой свежей рыбы и быть не могло, разве что любители подледного лова продали свой улов ресторану — спрашивать об этом Леонида Витальевича было столь же логично, как и спросить себя, а почему вообще в это время года открыт «поплавок», но ей не пришлось в голову ни то ни другое, наверное, потому, что Собинова после этих его слов об ухе вдруг не стало и больше он уже не появлялся, а над ее головой неожиданно зажглась сигнальная лампа-звонок в 150 свечей, и она поняла, что находится в ресторане-«поплавке» у себя дома и кто-то пришел. Она не удивилась, как не удивилась и тому, что идти до самой двери было легко, не как обычно. За дверью стоял муж. «Здравствуй, Алексей Дмитриевич, — сказала она. — Как поживаешь?» — «Неплохо, Галочка, — отвечал тот, — тут у нас, знаешь, не так плохо. Правда, папирос Бостанжогло и тут нет, как нет вообще никаких, но хоть нервы с происхождением не мотают». — «Что тебе собрать в передаче?» — «Ты знаешь, Галочка, у нас тут все есть, точнее, нет ничего, чего бы нам не хватало». — «А папиросы?» — «Я уже привык обходиться без них. Нет смысла начинать, если уже не куришь, тем более, что папирос Бостанжогло нет и у вас». — «Ну, передавай привет всем, Марку и Софочке». — «Ты знаешь, что-то я их нигде не вижу. Но если встречу — обязательно передам». И тут только Галя Абрамовна заметила, что Алексей Дмитриевич одет в синий спортивный костюм Марка Борисовича, а этого быть никак не могло: ни за что на свете, никогда и никому, даже своему лучшему другу Алеше, Марк не дал бы и на пять минут поносить свой заветный спортивный костюм. Тогда только старуха поняла, что, вместо того чтобы, как она

решила, проснуться от запаха снега 1908-го, то ли 10-го года, она угодила из одного сна в другой. Вот теперь она проснулась. Рот ее был полон сладкой леденцовой слюны, стекавшей из уголка рта на подбородок, а оттуда, делая перепад, как бы слюнным каскадом — когда-то она видела водяные каскады в парке Петергофа — на белый воротничок гимназического ношеного-переношенного платья. Уж не в нем ли она ехала тогда на тройке с Собиновым? Что ты говоришь! ни в коем случае! это даже предположить как-то странно! Я была в чем-то новом, совсем новом и взрослом, и вечернем. Да, а теперь у тебя текут слюни, как у слабоумной. И снова ей пришлось убедиться, что боязнь будущего есть дело пустейшее, все всегда случается не так, как ей боялось, можно так сказать? и так нельзя, но что делать, если ей боялось заранее, и никогда — никогда! — не угадаешь заранее, чего на самом деле следовало бояться. Как боялась она когда-то стать в старости слюнявой маразматичкой (до старости все ж таки, выходит, дожить предполагала, и это самоуверенное предположение сбылось), вызывающей у всех, и она же первая, отвращение. И вот, нате пожалуйста, дожила-таки, слюни текут каскадом — а она совершенно, то есть аб-со-лют-но равнодушна к подобным пустякам.

Если слюнявость чем-то все же неприятно отзывалась в ней, так это вовсе не физиологической неприглядностью, а тем, что являлась непреложным свидетельством не только полного превосходства над ней Силы, с которой старуха боролась, но, главное, того, что борьба эта, с ее запланированным исходом, шла к концу уже не по дням, а по часам.

Хуже всего, что нападению теперь подвергся, казалось ранее, надежно укрытый на последней глубине сам оплот сопротивления, сказать ли газетным языком, подпольный центр, руководивший борьбой. Старческий полумаразм размывал границы ее «я», лишал его отчетливости самоощущения и тем катастрофически снижал ее бдительность.

Старуха старалась как могла; но результат ее усилий, и без того малоудовлетворительный, становился все меньше по мере того, как она все меньше различала себя в движущемся потоке частиц окружавшего ее маленького — и все-таки куда большего ее самой — пространства. Странно: если бы не страх смерти (а его-то она и пыталась преодолеть или предупредить), заставлявший ее чувствовать границы своего напуганного, сжимавшегося уколотой инфузорией-туфелькой «я», заставлявший ощущать, что она, Галя Абрамовна — это одно, а лупа Алексея Дмитриевича, в которую она сейчас смотрит, — все-таки другое, отдельное от нее, хотя и совмещенное с ее смотрящим глазом, — да, если бы не смертный страх, она, как ни старайся, совсем затерялась бы в потоке то разреженных, то скученных частиц и сгинула раньше собственной смерти, заблудившись в млечных туманностях угасающего сознания.

Опасность подстерегала ее на каждом шагу путешествия в тумане; иногда старуха словно ненароком, просто и естественно попадала в положения, осознавая которые позже, задним числом, не могла бы надивиться вдоволь, сохрани она способность удивляться, тем совершенно невозможным коленцам, которые выкидывала ее бесповоротно нормальная доселе психика. Так, однажды она оказалась младенцем, сосущим материнскую грудь. Галя Абрамовна поняла это, ощутив во рту губчатую шероховатую плоть, заливавшую рот, если прихватить ее изо всех сил губами, теплой, сладковато-жирной, необыкновенно сытной жидкой пищей. Вместе с тем, по ощущению... сладостной? да, именно так, сладостной боли в прикушенной груди и присутствия совсем рядом, у груди же, какой-то теплой, родной тяжести, старуха поняла, что матерью, ее питающей, была она же сама. Тогда она приняла это как данность; но позже долго ломала голову над фантастическим происшествием, казавшимся столь обычным в тот момент, когда ее так просто поставили перед фактом. Старуха смутно догадывалась, что всему виною

ее кровь, кровь рода, обрекаемого сейчас в ней на уничтожение, древняя кровь, за века своего существования привыкшая только к жизни и теперь, ведомая на смерть, упиравшаяся от ужаса перед незнакомым темным подъездом-входом в Ничто Никогда, все гнувшаяся и гнувшаяся, упираясь, — согнулась в конце концов в кольцо, закоротившись на себя и потекшая сама в себя. Да, это «ветхая днями», но живая, сильная кровь Израиля застоялась в ней, задержавшись слишком надолго внутри ее бессилия, не имея возможности перелиться в следующие, новые жилы, и теперь, закиснув от долгого стояния, бродила в ней, опьяняя ее седую голову, играя с ней глупую пьяную шутку, не лишенную, впрочем, как это и бывает именно по пьяному делу, своей правды и своего смысла: что у трезвого на уме...

Ведь она и впрямь была ребенком! Она так страшилась и так хотела, чтобы ее защитили. Ей было так плохо одной — и так хотелось, чтоб ее пожалели. И Галя уже не боялась уронить свое человеческое достоинство, в которое так долго верила. А теперь она стояла в зеленом тазу с отбитой местами за пятьдесят лет пользования эмалью, маленькая, голая, и Лиля намыливала ее губкой с детским мылом, потому что жесткая мочалка и всякое другое мыло вызывали у нее детское покраснение кожи, и поливала ее из кастрюльки теплой водой, и вода текла в таз и на пол мутными, чуть пенистыми потоками, похожими на сильно разбавленное молоко; когда теплая вода падала на нее сверху, ей становилось тепло — и тут же ужас как холодно; местами обвисшая, местами, наоборот, съежившаяся, уменьшившаяся кожа покрывалась пупырышками, а Лиля продолжала тереть ее мягкой губкой и поливать теплой водой, и от перепадов температуры и нежно-плотных прикосновений губки все в ней сладко-щекотно замирало — и вздрагивало, замирало — и вздрагивало... В такие минуты она не помнила своих подозрений по поводу Лили; перед ней теперь была совсем другая Лиля, не коварная, расчетливая отравительница, но Лиля — родное существо, гораздо большее и куда более сильное, нежели она сама, — взрослое существо, способное защитить маленькую Галю от всего страшного-престрашного; и старуха-ребенок все норовила прижаться к Лилиной груди, спрятать на ней свое лицо и мокрое голое тельце. Она чувствовала сейчас буквально то, что люди вылеплены из одного теста, и чувствовала себя маленьким кусочком теста, хотящим более всего прилипнуть обратно, *вернуться* в этот большой, материнский кусок теста, от которого ее и оторвали, чтобы вывести в жизнь: в непосильную отдельность бремени каждого; но вернуться, склеиться с ним до неразличимости — не получалось, из этих попыток не выходило ничего, кроме тупых тыканий головой в мягкую, податливую, но все равно, все равно и всегда отдельную, обособленную Лилину грудь, — ничего, кроме потеков и ошметок мыльной пены на Лилином платье, и старуха плакала от невозможности спрятаться, защититься от Смерти, невозможности тем более горькой, что спасение, укрытие было — вот, вот, совсем рядом; а Лиля все мылила и смывала, мылила и смывала, молча, неизвестно о чем думая, а старуха плакала от счастья хотя бы посильного, хотя бы косвенного соединения с родным сильным существом, и сердце ее начинало стучать быстрее от подключенной к нему энергии Лилиного сердца, и она знала, что не умрет вот сейчас, и вот сейчас не умрет, и сейчас тоже, и опять не умрет сейчас, и никогда сейчас не умрет. Она жива сейчас и сейчас жива сейчас, и всегда будет жива сейчас, вечно жива сейчас, вечно и вечно, во веки веков сейчас.

«Слава богу, на этот раз мне не было так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное — не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»⁹.

⁹ Здесь даётся вышеприведённый отрывок из «Виктории» Гамсуна в советском переводе Хинкеса

Старуха боялась, что Смерть придет ночью, и надеялась, что та придет утром или днем; так, ей казалось, легче уйти: в светлое, не во тьму.

Смерть пришла под вечер, когда ее меньше всего ждали, в долгий июньский вечер, чей рассеянный свет ясен, мил даже полуслепому человеку. Пришла, когда ее не ждали.

Галя Абрамовна сидела за столом и разводила на нем костер из спичек, клочков исписанной бумаги и стружек карандаша. Странно, столь эффективный способ защиты от холода, во всяком случае, способ согреть стынувшие кисти рук, никогда прежде не приходил ей в голову; казалось бы, что может быть проще? Она поднесла зажженную спичку к клочку газеты, и тут в ней обнаружилась Смерть. Она оказалась в старухе мгновенно, с невозможностью не быть узнанной сразу. Так вдруг мгновенно возникает жажда, и кажется, ты всегда только и хотел пить и только пить.

Снова она не уследила, снова — и в последний раз.

Смерть быстро отключила внешний, живой вечерний свет и включила свой фонарик. Галя Абрамовна погрузилась в крошечную тьму, но могла зато ясно видеть внутри себя. Она поняла: он пришел, ее час. Потому что страх смерти, больше или меньше, но безотвязно мучивший ее, впервые за долгое время исчез совсем. Чтобы уступить место самой Смерти. Посланник больше не нужен, когда является тот, кто его посылал.

Это исчезновение страха было самое страшное, что с ней могло произойти. Самое плохое. Она ощутила физическую тяжесть смертельной правды как ношу, надорвавшую ее сердечную мышцу, сильнейший гул миновал ее давно мертвые перепонки и вошел ей прямо в мозг, и мозг расширился от гула, распирая череп. Кто-то, взяв ее за затылок, властно пригнул ее голову книзу, в то время как низ тела от поясицы будто подбрасывало к потолку; между тем старуха как сидела в кресле, слегка наклонив голову над столом, так и оставалась сидеть.

Игра в кошки-мышки кончена; ее пришли убивать. Ее уже убивают. Она убита. Ее больше нет — есть только привычка думать, что она есть. Привычка жить по привычке.

Соппротивление бесполезно. Она — если все-таки это была она, еще была, если она ошиблась, решив, что ее больше нет, — забилась в угол себя самой, откуда видела, как, пуская слюну, дергаются ее белые губы, оцепенелая, словно натянутая на раму устремившимся вверх давлением и поднявшейся неожиданно тошнотой. Во всем покорная отныне своей победительнице и госпоже — Смерти.

Древнее упрямство, гордыня ее отцов и дедов, спрессованные в ней, последней в их череде, хрустнув, переломилась, как соломинка в сильных руках; и точно так же в тот же момент вошла ей в сердце тонкая горячая игла, шипя от охлаждения ее остывшей кровью — и, хрустнув, обломилась, когда сердце, повиснув на вошедшей в него игле, сломало ее собственной тяжестью, сохранив в себе отломившийся кончик.

Вот она, ее Кашеева смерть.

Не страшно, только больно; так больно, так... убей быстрее, чтобы перестало задыхаться. Чтоб не вдыхать и не выдыхать.

Если Смерть не вытащит кончик иглы из сердца, она умрет от боли невозможных вдоха и выдоха; если вытащит — умрет от кровотечения сердца. Ей ничего не оставалось, как покорно ждать решения Смерти, каким из двух способов лучше расправиться с ней.

Неожиданно боль уменьшилась; со спадом боли спало и давление и почти прекратилась тошнота.

Она поняла продырявленным, уже истекшим кровью и готовым к наполнению новым знанием пустым сердцем: это награда за ее поведение. Подтверждалось — она имеет дело с Силой одушевленной и чего-то хотящей от нее. Своей готов-

ностью подчиниться и дотерпеть до конца жизни Галя Абрамовна этой Силе – угодила, получив в награду облегчение смертных мук. Она получит еще сил расстаться с собой, если будет и дальше слушаться.

Старуха полностью положилась на Смерть. На нее одну теперь и была вся надежда; как бы та ни была зла, похоже, сейчас старуха, пусть на краткий срок, попала в число ее любимчиков. Смерть не оставит ее своей милостью – ей и нужно-то самую малость, пару минут переносимых боли и тошноты, чтобы успеть умереть.

Ей дали видеть, что происходило внутри нее, при свете тусклого фонарика. Галя Абрамовна видела, как душу ее отделяют от тела. Теперь она воспринимала происходившее с ней как ласку, чувствуя, как от внутренних стенок ее естества отлепляют ненужный уже, но присохший к стенкам души пластырь отжившей своей жизни, доставляя ей нежную, щекочущую боль наслаждения. Нега становилась все более пронзительной, и Галя Абрамовна все сильнее чувствовала связь ее с чем-то давним и некогда важным, чего никак не могла вспомнить и о чем помнила только, что *этого* она не вспоминала никогда.

Нежная боль еще усилилась – и тут она вспомнила: запах деревянного дома, каким бывает он в конце долгого жаркого июля, днем: ровный запах нагретых сухих старых досок и влажной половой тряпки; увидела луч июльского солнца, бьющий в окно, расщепляя и превращая в пыльное легкое кружево все, что стоит на его пути, даже сам воздух, остановившийся воздух остановившегося июльского дня в Самаре 1918-го года. В луче стоит кружевной человек, и человек этот – квартирующий у них чешский поручик Мирослав Штедлы; и он смотрит на нее выдвигающимся из луча, как объектив из фотоаппарата, взглядом. Его розовое, по-детски пухлоское, по-взрослому бритое лицо с синеватыми щеками, его странные беледые ресницы; выдвинутый вперед взгляд из-под тяжелых, иностранных век следует за всеми ее передвижениями по комнате; ее ноги, одетые в полосатые, синеватые носки до икр и обутые в красные сафьяновые чупаки. Ноги передвигаются по дощатым вощеным, скрипящим половицам... Мирослав приближается, продолжая неотрывно глядеть на нее; легкий запах подмышек, как когда обтираются холодной водой до пояса, но не очень тщательно, и одеколона после бритья. Она чувствует вдруг, как эта здоровая жизнь иного, непохожего на ее, мужского тела становится для нее необычно интересной, как между ее и его телом устанавливается связь. Ее камнем вниз от страха впервые – желания упавшее сердце, ее душа, взалкавшая впервые выхода из тела и открывшая на вылете: выйти за пределы тела почему-то можно лишь при помощи тела. Чувство, заставляющее мириться и со стыдом впервые обнажаемого перед иным, ино-полым существом тела, и с болью первой близости, наполняя и стыд, и боль густой, медово-тягучей сладостью: чувство неизбежности физического выражения любви. Плотское чувство духовной природы даже мимолетной, даже ненастоящей, подменной любви, как, сам того не зная, – однако с ее полузнающего согласия, – подменил Алексея Дмитриевича Мирослав, слишком своевременно оказавшийся на ее пути и ушедший затем навсегда из ее жизни (так, что она почти никогда – а то, что с е й ч а с, вообще ни разу – и не вспоминала о нем, отце своего ребенка), вместе с остатками Поволжской группы полковника Чечека, откатившимися к Уралу после взятия Самары 8-го октября 18-го года 4-й армией Восточного фронта...

И Галя Абрамовна увидела снова тогдашние свои ноги, но уже без чупаков, в одних носках, скрывающих до икр ноги, голубовато-белые во всю обнажившуюся до бедра длину; она испытала снова остро-сладкое бесстыдство соединения, и энергия любви слилась в ней с энергией смерти в общем стремлении вовне, за пределы себя.

В страшном блаженстве исхода.

Границы тела размывались, проницаемые струящимися потоками ширящейся души, так, что тело не могло уже отдавать себе отчет, каковы его точные формы;

место же четкого контура тела в наступившей с приходом Смерти темноте заняло слабое свечение, вызываемое, вероятно, трением души о тело при переходе его границ.

Старуха решила, что так и умрет, истекши душой, как кровью, но она ошибалась – с ней продолжали что-то делать, и она поняла, что ее только готовят к тому, чтобы умереть и чтобы все получилось правильно.

Вдруг ее закрутило и понесло, и бросило на самое себя, как девятибалльная волна бросает корабль на рифы. Но она не разбилась; вместо этого Галя Абрамовна ударилась о мягкое, податливое нарочно – затем, чтобы затянуть ее в свою воронку. Этой воронкой оказалось ее собственное горло. Ее стремительно несло вверх, лишённую тяжести, как выныривают из глубока на поверхность. Однако вынырнуть, выхлестнуть из себя она никак не могла, потому что вынырнуть можно было только через горло, а оно у нее всегда было узким... Галя Абрамовна комом застряла у себя в горле, испытывая сильнейшие муки удушья, виновницей которых была сама же. Она попыталась вернуться на прежнее место, чтобы разогнаться и все-таки выскочить, но вернуться против течения не получалось – слишком сильным был напор Смерти, выдавливающей ее из себя самой, как зубную пасту из тюбика, несущий ее вон, во тьму кромешную, туда, где она – кончалась. Старуху выдавливало сквозь ее слишком узкое горло, забивавшееся ею, – и ни с места. Она не могла уже переносить эту давящую Смерти, не дававшую ей толком умереть, а ее все продолжали вбивать ей в горло, раздирая его, слишком грубо помогая испустить дух; все вкалывали ею по ней же, заколачивая ее – в нее, чтобы она, наконец, вышла... И старуха закричала от бесконечной невыносимости боли, как кричала когда-то во время родов – ей казалось, как и тогда, что боль нужно перекричать, чтобы та умолкла, – закричала изо всех сил: «Это когда-нибудь кончится?!» – закричала холостым криком, который ее забитое ею горло не могло издать вслух, но в мертвых ушах, словно они ожили от Смерти, зазвенело: «Когда-нибудь, когда-нибудь это коОончится?!» В мозгу все лопалось от неистового протяжного крика, но сама Галя Абрамовна немотствовала, и только ходил судорожно ее кадык, как если бы она подавилась слишком большим куском.

И все же в этой невообразимой боли было, как и тогда, во время родов, что-то, что помогало ее переносить; то, что жило в ней всегда, что делало возможной, почти сносной ее жизнь последних дней, когда бессмысленность и безнадежность ее выяснились совершенно. Сила, скрывавшая в себе ответ на все безответные вопросы последних дней; а между тем ее-то, эту силу, старуха не брала в расчет, так как слилась с ней настолько, что не в состоянии была обнаружить ее существование. Она повсюду искала очки – в очках, все время бывших у нее на носу.

Только теперь, отделившись от жизни, значит, и себя живой, она услышала впервые извне голос этой силы, столь сильно за долгую жизнь соединившейся с ее естеством, что старуха чувствовала ее своей и только своей, такой же частью себя, как сердце или мозг, и не умела увидеть ее отдельно. Для нее это была она сама, Галя Абрамовна, и это она своей силой сопротивления противилась силе своего врага – Смерти. И вот теперь старуха услышала донесшийся извне-изнутри голос этой отделившейся от нее силы, голос, не заглушаемый больше умолкнувшим навек шумом крови. И эта бывшая сила ее сопротивления сейчас вдруг странно и страшно соединилась не с ней, но с Силой Смерти. Обе тянули ее в Ничто Никогда, убивая по дороге. Но когда они взяли ее за обе руки, раскачали, кружа, и бросили туда, – сквозь тошноту и удушье, сквозь треск раздираемой земной материи, – тогда-то навстречу ей, брошенной с размаху в печь Смерти, уничтожающей тело и душу без остатка, чтобы их не испачкать (как и хотелось ей еще так недавно), навстречу ей – или изнутри ее? кто скажет? – раздался голос надежды, жившей, выходит, и в безнадежном отчаянии смертельного распада и вышедшей из него живой, хоть и поврежденной.

И ей открылась ее непостижимая, но властная принадлежность живой Смерти. Вопреки всему, что она знала о зле, та, которую она называла Высшей Злой Силой, та хотела ей помочь. Чувствуя, как незримые могучие руки ее тащат вверх из трясины разлагающегося гнилого тела, Галя Абрамовна успела все же ощутить — эта сдвоенная Сила, как ни странно, чуть ли не нуждалась в ней, Геле Абрамовне Атливанниковой! Ее не могли просто так прихлопнуть — коль скоро за ней пришли специально, значит, она на учете, она в исчисленном, известном поименно ряду. Ужасный, немыслимо ужасный уход ее в Ничто Навсегда был, откладывался там, у Нее, вертикально, подобно тени на стене, он был неслучайным, серьезно-важным, живым. Старуха думала, что жизнь это смерть, и так оно и было, стоило всего лишь поменять слова местами: смерть была жизнью.

Сердце перестало биться, кровь остановилась в жилах, а Галя все еще корчилась и глотала, и глотала, безуспешно пытаясь пробиться в смерть, в жизнь, сквозь узкий коридор, сам пробивающийся куда-то и оттого все более вытягивавшийся и сужавшийся. Она согласилась уже с правильностью происходящего, но хотела умереть поскорее — удушье превышало ее силы. Но Гелю никто не учил, как умереть по своему хотению, и, неумелая, она отдалась тем, кто умел умерщвлять, как надо.

Тогда горло ее поддалось вдруг; в несказанной тоске ее вынесло из себя, во что-то белесо-темное. Она выдохнула себя из себя с последним облегчением и падала теперь вверх, в разверзнувшуюся над ней бездну. Старуха поняла, что покинула наконец себя, когда увидела под собой свое маленькое детское тельце в зеленой шерстяной фуфайке поверх гимназического платья с белым воротничком, полулежащее в слишком большом для него кресле с черной резной спинкой, сплюснутое, словно отиснутое печатью, подобно мышке, настигнутой мышеловкой, или, чтобы подыскать более приличное сравнение, хотя все приличия потеряли теперь всякую цену, — подобно печатному изображению на тульском прянике. Увидела сосульку леденца, тающую на ложечке вывалившегося языка, остекленелые, выпученные от удушья глаза на бывшем своем лице, и поняла, что умерла и мертвые веки некому закрыть, и это неважно, потому что она умерла, умерла во веки веков, умерла сейчас, вне всяких сомнений уйдя в Ничто Навсегда.

Выбыв из живущих, дыша смертью, она не удивлялась, что огонь, разведенный ею на столе ясно видимой из Смерти очень маленькой комнаты, перекинулся на скатерть, прожег ее, перекинувшись на дубовый стол, и дым от костра спаленной жизни потянулся за ней сквозь прозрачную крышу. Это был непорядок, но, бес- сильная устранить его, она не волновалась больше, зная, что дыму все равно не догнать ее; потом исчез и дым, и костер, и комната — все, кроме дыхания, изменившегося, забывшего о необходимости вдыхать и выдыхать: можно было обойтись и без этого, просто дыша самым дыханием. Оно было зримым, это второе дыхание: прямая нить прозрачного серебряного света. Оно и она стали едины, она ступала легко-легко по серебряной лестнице вверх, все дальше, все ближе, наконец, соединяясь на пересечении, как периферийная железнодорожная ветка с главной, с золотым лучом, исходящим от светящейся точки, тихой и малой, но неизмеримо большей, чем она, чем все-все-все, чем бесконечность, которую можно увидеть только когда нельзя и вообразить, когда увеличиться уже немыслимо и невообразимо — и все-таки увеличивающейся и, став уже больше бесконечности, выйдя за ее беспределы, продолжающей, несмотря, ни на что светить золотым лучом навстречу ей, маленькой Гале.

И...

Москва 1983, Кёльн 2006

ГЕОМЕТРИЯ НЕВСТРЕЧ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РУИНЫ

Исторические руины

Защита проекта «Исторические руины»:
Сооружения для будущих экскурсантов.
Образцами могут служить Парфенон, Колизей,
Проросшие джунглями храмы Востока,
Иерусалимская Стена плача.
Восстанавливать первоначальный, предварительный вариант
Было бы, согласитесь, кощунством.
Столько понадобилось веков, переживаний, усилий,
Чтобы превратить их в объект восхищения.
Современные технологии убыстряют работу.
Вот скелет собора после бомбежки –
Будоражит воспоминания, мысли.
Стена с тенью неизвестного человека,
Запечатленного атомной вспышкой,
Саркофаг вокруг взбесившегося реактора,
Остатки разрушенной Берлинской стены,
Нечто, называвшееся Мавзолеем.
Архитектурные стили значения не имеют.
Здесь перед нами раздел несбывающихся утопий,
Все, что в перспективе остается от Городов Солнца.
Фрагменты можно будет пустить в продажу –
Есть любители украшать ими свои виллы.
Проект окупится. Особо выделены
Объекты нематериальные. От библиотеки
Вроде Александрийской можно и камней не оставить,
Но вот, пожалуйста, пепел – Эсхил или Аристотель,
Или кто-то из новых гениев, загубленных на корню,
Написанного ими никто уже никогда не узнает,
Но сколько пищи, не правда ли, воображению?

Анфестерии

Эта дорога вела когда-то в великий город.
Изваяния повалились, замыты песком, заросли бурьяном.
Для нынешних они истуканы, а были когда-то боги.
Жители разбрелись, если не вымерли, перемешались
С пришельцами, пропавшими конской сбруей и потом,

Позабыли прежний язык. Мне на нем говорить уже не с кем.
Пережил свое время, попал в чужое. Хуже оно или лучше,
Обсуждать бесполезно. Пройдет и это,
Но уже без меня. Только бы передать кому-то
Многолетний труд, сочинение «Анфестерии».
Так назывались мистерии обновления жизни,
Когда преисподняя открывалась, чтобы мир предков
Мог незримо слиться с миром людей. Наши беды
Оттого, что живущие про это забыли.
Беспамятство невыносимо для духов. Они не хотят исчезнуть,
Дают о себе знать. Будут исподтишка мстить,
Покуда о них не вспомнят, не восстановят единство,
Чтобы жизнь могла продолжаться, выздоравливая и обновляясь.

* * *

Мы слишком долго живем, успеваем разочароваться,
Пережить торжество недостойных, крушение надежд,
Разрушение целых стран, гибель лучших, непонимание
Современников, оргии непотребств, успеваем
Даже понять кое-что, изучая историю, убедиться,
Что так было всегда. Из-под вековых отложений
Извлекают творения гениев, вспоминают их имена,
Всем воздают по заслугам, объясняют причины упадка —
В прошлом. Чтобы дожидаться такого при жизни,
Времени не хватает — мы слишком мало живем.

Апология лжи

Тема доклада: необходимость лжи
Для существования человека. Правда невыносима,
Как жестокий хаос стихий, как пустота
И бессмысленность мироздания, как утверждение,
Что человек — не более, чем ходячий мешок,
На время заполненный внутренностями и дерьмом.
Мало прикрыть наготу — надо себя украсить
Побрякушками или перьями, разрисовать лицо,
Утаить, чем природа тебя наделила на самом деле.
Без обмана нельзя. Любовные обещания,
Серенады, уклончивое кокетство — способ добиться
Цели, в общем-то, голенькой. Моды, искусства,
Представления о красоте, условности, все системы
Объяснения мира созданы, чтоб подменить реальность,
Которую никому не вместить. Ложь компактна,
Как миллионные цифры погибших, нарисованные на бумаге.
Ужасно, говорим — но не пробуем даже представить
Обезображенные тела, вопли, запахи, лица убийц.
Это нам покажут в кино, по возможности эстетично,
Или опишут в истории, составленной из легенд,
Подчищенной, переправленной, приспособленной
К веяниям времени. Замысел подгоняется к результату:
Так и должно было быть. Восхищаемся сооружениями,
Воздвигнутыми на костях — бестрепетно по ним ходим.

Иначе просто нельзя.

За скобки вынесем представления
О некой запредельной реальности. В рамках нашей методики
Их ни опровергнуть, ни доказать. Можно лишь удивляться,
Что жизнь продолжает все-таки существовать.
Но будет ли так вечно, требует еще подтверждения.

Монтаж

Вырежем ножницами бракованное, постыдное, лишнее.
Столько было накручено – незачем просматривать снова.
Больше не понадобится, только будет мешать,
Как угрызания совести. С возрастом это проходит.
Главное удержаться в жизни, не всем это удалось.
Остальным подробности не обязательно предьявлять.
Выбросим отходы в корзину, склеим концы
По возможности незаметно – в этом искусство.

* * *

Смущают умы свидетели, историки, летописцы,
Доискивающиеся до правды – как будто такое возможно;
Откапывают доказательства, документы, якобы факты.
Послушать их – герой великого эпоса, любимец богов
Был сладострастный разбойник, разоритель селений;
Человек, покоривший полмира, называл себя сыном Солнца
Без достаточных оснований, очевидцы не подтверждают.
Но если верили, что он сын Солнца, если именно вера
Вдохновляла, двигала войско, обеспечивала победы –
Разве не в этом правда? Героями были те,
Кто удостоились монументов. Величие гения подтверждалось
Искренностью поклонения, готовностью не замечать
Лжи, нищеты, преступлений, пыток. Чувство небывалой эпохи
Делало ее небывалой, ожидание невозможного
Наполняло содержанием жизнь – этого не отменить.

* * *

Боевая подруга воспетого в легендах героя
Смотрит на кинозвезду, исполняющую ее роль.
Эффектно уложенная прическа, большой красный крест,
Платье сестры милосердия. «Нет, я этого не носила.
На мне были солдатские брюки под юбкой, шинель, сапоги.
Не так красиво, но ведь приходилось сидеть
В кавалерийском седле, не дамском. Все было другое,
Даже походка, мимика, не говоря о словах. Такого
Я просто сказать не могла». Режиссер и кинозвезда
Улыбаются терпеливо, сучая. Не объяснять же
Непонимающей, несовременной старухе,
Что сценарий уже запущен, в фильм вложены миллионы.
Авторских прав на прошлое ни у кого быть не может.
Застрявшее в памяти умрет вместе с ней – на экране
Она останется преображенной, может быть, на века.

Новый Мефистофель

Чудеса технологии – прежняя магия не нужна.
Посмотри-ка сюда, узнаешь? Ты видел ее на экране
Прежде, в юности. И, небось, томился, вздыхал?
Ну, по ней тогда все сходили с ума.
Короли приглашали ее на ужин, считали за честь.
Посмотри, как вышагивает, как произносит слова – право, живая!
Внешность, полуулыбка, голос, движение ресниц –
Все оцифровано, как говорится, компьютером, в трех измерениях.
Остановилась, замерла, ждет. Как чего? Твоего решения.
Теперь от тебя зависит, что она скажет, что будет делать.
Хочешь – начнет рекламировать продукцию твоей фирмы?
В успехе не сомневайся. Шучу. Программа в моих руках.
Воля твоя. Можешь с ней вытворять такое,
Чего никогда бы в жизни себе не позволил,
Да и она не позволила бы даже себе.
Фантастические возможности: после пережитого
В обыденность станет трудно вернуться,
Все покажется скучным подобием, не захочешь смотреть.
Права за мной, оспорить не сможет никто.

Мораль мне читать не надо.

Разве и другие не занимались, по сути, тем же –
Оживлением исторических персонажей?
Разве она сама не изображала Клеопатру, Елену,
Говорила за них слова, каких они и не знали,
Придуманные черт знает каким сценаристом?
Что? Ты скажешь, там было другое – не более, чем игра?
Актер оставался актером, лишь изображал кого-то?
А тут – обещание могущества, чуть ли не колдовство,
Чуть ли не оживление духов – и власть над ними?
Но скажи мне тогда, что такое дух? Или что такое душа?

Тому, кто услышит

Вероучитель, не провозглашающий истин,
Проповедник, не зовущий следовать за собой,
Обращается к тому, кто услышит.
Истину, говорит он, создает для себя каждый заново,
Выражает своими словами, на своем языке.
Общезначимое доказуемо, как в математике,
Ответ, если не хватит терпения, подсмотришь в конце.
Решения, заложенные в программу заранее,
Отыскиваются, как в компьютерных играх:
Блуждаешь, перебираешь возможности, тычешься
В чьи-то готовые мифы, приобщаешься к чужим ритуалам,
К магическим процедурам, сверяясь с расположением звезд,
А если понадобится, надышавшись дурмана –
Лишь бы укрыться от непонятного, невыносимого мира
В другом, уже обустроенном, где тебе объяснят, что надо,
Но все-таки не своем. К своему надо еще пробиваться
На собственный страх и риск, обдираясь до крови.
Только пережитое станет твоей историей и судьбой,

Выстроенное усилиями души станет твоим миром,
Истиной станет то, что ты способен осилить.
Пусть тебе кто-то скажет, что это давно не ново,
Повторялось за тысячелетия бесконечное множество раз.
Музыка для каждого слуха звучит по-разному, заново.
Ты – именно ты – проживаешь впервые
В неповторимом времени неповторимую жизнь.
Не бойся казаться смешным, бейся над непостижимым.
Ты не один такой. Принадлежащих к общине,
Пусть они и не знают друг друга, объединяет
Не вероучение и не философия – поэзия, может быть.

ИЗМЕРЕНИЯ

Сон младенца

Дрогнул краешек лепестка – улыбка,
Готовая распусться. Еще не досмотрен сон.
Переливы музыки внутри теплых вод, сияние
Прежней жизни. Головастик свернулся
Ушной раковиной, весь слух, весь зрение.
Глаз открывать не надо. В неразделенном мире
Нет непонятого, не требуется понимания.
(Нет загадок для тайны, для чуда нет чуда).
Рассасывается прозрачный хвостик, губы
На ощупь отыскивают Млечный путь.
Вселенная возникает, сочится.

Измерения

Ученые все еще бьются над единой теорией поля,
Получается туго. Говорят, недостаточно трех,
Четырех известных нам измерений. Нужно не меньше восьми,
Даже одиннадцати. Можно ли это представить?
Математики мало. Пробуем соединить
Отдельную жизнь с другой, такой же отдельной, составить
Хотя бы семью – человечество после. Вводим
Измерение мысли, пытаемся преодолеть
Ограниченность каждого, дополняем
Одно понимание другим, одну культуру другой,
Переводим с языка на язык. Выходит все время не то.
Единства не получается.

Вариации

1

В гипотетическом мире гипотетических измерений
Гипотетические философы проверяют свои идеи

Другими идеями.

Называют все это опытом.

2

Измерение недодуманных мыслей, недоделанных дел,
Недоношенных произведений, мертворожденных слов.
Обходимся, дело привычное: жизнь как жизнь,
Обрывается, не состоявшись.

3

- Да, ничего не скажешь.
- Я и не говорю.
- Но ты это имеешь в виду.
- Откуда ты знаешь?
- Я не говорю, что знаю.
- Мы оба не говорим.
- Но, конечно, каждый по-своему.

4

Совсем не похожи на вид:
Один покороче, округлый,
Другой подлиннее, вытянутый.
Спорящие нули.

Геометрия не встреч

Геометрия несовпадений – не встреч.

Одиночество заставляет выйти из своего угла.
Оглядываешься, надеешься увидеть кого-то,
Ищущего сейчас, быть может, тебя,
Со второй половинкой выигрышного билета,
Чтобы обе соединить, дополнить друг друга.
Только бы встретить, узнать. Все мимо,
Даже взглядом не соприкоснутся – не те.

Однажды вздрогнешь, услышишь: «Ты что не приходишь?
Я тут, совсем рядом, встретились бы, наконец».
Параллельные улицы без перекрестков
Никак не сойдутся. Дороги, словно в аттракционе,
Разводят вас в разные стороны, на разные берега,
Мост в ремонте, парома нет. Оказываетесь в разных странах,
Граница закрыта, без визы не попадешь.

Поднимешь взгляд к небесам: какой там распорядитель
Наблюдает с усмешкой блуждания, тыканья не туда?
Не подскажет, не жди. Пересечения траекторий,
Тающих во вместительном воздухе – лишь иллюзия встреч.

У пространства в запасе есть добавочное измерение,
Разная высота – разминетесь. Попробуй еще разок.
Геометрия несовпадений, соединения наудачу,
Как уж получится, как сумеешь, разберешься потом.
Дети, семья, переигрывать поздно. Рассчитано экономно:
Выигрышей на всех не хватает. Теория вероятностей
Называет это везением – если угодно, судьбой.

Чужая страна

Чужая страна за стенкой, гортанные голоса
Чего-то не могут выяснить, криков не разобрать.
Утром из двери вынесут тело под простыней,
Лица не увидишь, и незачем, все равно не узнать.

В чужую страну попадаешь, не выходя из подъезда,
Лампочка вывернута, кто-то, облизывая губу,
Подзывает: «Отсосать для здоровья полезно,
Не жмись, недорого». Рядом шприц на полу.

Незнакомые имена на афишах, названия на рекламах.
Показалось понятным слово – не рискуй повторять,
Ухмыльнутся, как сальности. Звуки похожи, смыслы,
Как узнаваемые когда-то лица, остались не здесь.

Хрип электронных тамтамов над дымом жаровен,
Обезьянка на плече зазывалы округляет глаза,
Потерянная, чужая. Вернуться к себе бы,
Если бы знать дорогу – где это: у себя?

* * *

Скучно думать, приятней расслабиться
Без усилий, без испытаний,
Под ритмический переплеск
Равномерных посильных занятий,
Наплывающих впечатлений,
Где на очереди конец.

Будем, как дети

Будем, как дети – приплясывать, прыгать,
Кричать бездумно – слова лишь для ритма,
Играть, дурачиться – теперь так модно.
Серьезность несовременна. Всерьез жить трудно,
Уже попробовали. Дети не знают,
Что их ждет. Глазенки доверчиво
Распахнуты в будущее. Заботиться им.
Для нас оно позади, нам теперь проще
Быть, как дети.

Музыка

Протяжность ветра в пустыне, странствующего без эха,
Напев тростниковых скважин, речитатив листы,
Хрустальный цокот подков в прозрачном высокогорье,
Плеск волн, пока их литаврами не грохнет о скалы прибой.

Хруст стеклянных осколков, не ищущих соединения,
Привкус пластмассы в звуках, пропущенных сквозь прибор,
Ритмы общего времени среди бетонных утесов.
Безразличный для места, ветер не слышит себя.

РАССКАЗЫ

ГОНЕЦ ИЗ ПИЗЫ

«Имя! Имя!» – этот хмырь хотел знать, кто меня крышует...

Если я такой умный, почему я такой бедный? Когда я услышал это в свой адрес в третий раз в течение одной недели, и от кого – от приятеля, от собственного сына и, наконец, от женщины, которая мне отнюдь не безразлична, – я почувствовал, как эта мысль начинает резонировать во мне уже безо всяких усилий со стороны окружающих.

Ну что я мог сказать в ответ? Что мне и самому насточертели дешевые барахолки с их слащаво-привязчивыми торгашами, сами эти поездки через весь город – только чтоб сэкономить двадцатку-другую? Что есть у меня и своя вполне материальная «мечта идиота»? Нет, не спиннинг. И не новая зимняя резина. Так и быть, признаюсь: смокинг. Белый. Из grain de poudre, очень легкой шерсти – специально для мероприятий на воздухе и круизов, непременно пошитый на заказ. А к нему белоснежная сорочка с французскими манжетами и воротником-стойкой с уголками. Конечно, черный галстук-бабочка – но не на резинке, а, как и положено истинному джентльмену, завязанный вручную. Носовой платочек из тончайшего льна в нагрудном кармане. Наконец, туфли «оксфорд» со шнурками, классика жанра.

Белое с черным – это так решалось бы в цвете с моей хемингуэевской бородой с проседью, как говорят у нас на кафедре, солью с перцем...

Иногда мне хотелось, подобно тому брадобрею, случайно увидавшему у царя Мидаса ослиные уши, вырыть ямку и прошептать туда свою неприличную тайну.

– Ну совсем сбрендил, старый, – заметила бы по этому поводу моя жена Полина. И была бы, как всегда, права. Да и на какие такие «мероприятия на воздухе» я заявлялся бы в своем элегантном вечернем наряде? Ну разве что на собрания нашего дачного кооператива, куда приходят в замызганных халатах и тряпках, а орут так, что слышать за версту. И все же, все же...

Всякий раз, торопясь на лекцию, я хотя бы на несколько секунд застывал у витрины, где красовалось это чудо, и представлял себя на месте того безмозглого счастливирика из папье-маше.

Впрочем, мы уже знаем, что мой собственный интеллект тоже был какой-то ... неполный. По крайней мере, в глазах близких я оказывался чуть ли не умственным инвалидом, у которого какой-то один участок мозга явно процветал за счет других, уж по крайней мере, не менее важных.

Надо было что-то предпринимать. И я призвал на помощь весь свой избыточный интеллект...

Ранним утром следующего дня – как сейчас помню, то была суббота – ваш покорный слуга уже стоял среди других торговцев автозапчастями на рынке в Южном порту.

– Имя! Имя! – я потом взглянул на часы: прошло всего минут сорок с небольшим, как этот хмырь появился передо мной, по-хозяйски щелкая пальцами. Он желал

знать имя того, кто меня «крышует»: это было бы чем-то вроде лицензии на торговлю на подконтрольной ему территории. Ему и в голову не приходило, что кто-то мог набраться наглости и занять здесь место без уплаты дани, ибо платили все и без разговоров. Поэтому текст своей более чем эпизодической по замыслу роли — я иронически назвал его про себя Гонец из Пизы — он проговаривал на ходу, практически даже не поворачивая головы в сторону потенциальной жертвы.

Но около моей персоны ему остановиться пришлось. Я этому Гонцу сразу не понравился, это было ясно. Ведь я не идентифицировался ни с одним привычным для него типом здешнего люда. Особенно сбивали его с толку строгий костюм, сливочного цвета сорочка и галстук, не очень-то уместные здесь, на рынке, тем более в тридцатиградусную жару, да еще старомодные «профессорские» очки в роговой оправе.

— Имя! — еще раз, уже со злобной интонацией, повторил он и взглянул на меня.

Я растянул губы в улыбке и попытался придать лицу как можно более дружелюбное выражение. Кажется, я даже помахал ему рукой. Но и этого мне показалось мало. Заметив, что Гонец из Пизы смотрит на меня, выпучив глаза, я еще дурашливо прилизал лысину, как я делаю это дома, прежде чем усестись за обеденный стол.

Тут Гонец из Пизы, наконец, сдвинулся с места и, вплотную приблизившись ко мне, что-то прошептал.

— Не слышу, громче! — скомандовал я тоном, хорошо поставленным на экзаменационных сессиях, и заметил, что к нам начали прислушиваться.

Ну, конечно, что мог еще сказать мне этот говнюк.

— Папа, что ты тут делаешь?

— Как что я делаю, сынок, — отвечал я, — ты разве не видишь: борюсь с иссушающей душу бедностью, как советовали мне некоторые близкие родственники... А ты что тут делаешь?

Вместо ответа я увидел то самое выражение упрямого молчания, которое появлялось, когда его спрашивали в детстве: «Ты зачем брал варенье без спросу?»

— Сколько тебе нужно, па? — уже другим тоном спросил он, извлекая из кармана спортивных брюк пухлый бумажник.

— Ты что, сын, хочешь купить у меня мой товар? — удивился я.

— Ну да, да, я хочу купить у тебя твой товар, — нетерпеливой скороговоркой повторил он. Его пальцы, не в пример моим, уже изрядно перепачканным машинным маслом и мазутом, были чистенькими и розовыми. — Сколько ты за него хочешь?

Я начал прикидывать:

— Так, ланжеронов у меня тут тысяч на двадцать. Еще подвески заднего моста там, в машине... В общем, выходит тысяч пятьдесят...

— Ну, полтинник я еще не нава... не заработал, — деловито сказал он, протягивая пару купюр, — вот, па, возьми пока двадцатку, остальное вечером...

— Не годится, сын, — покачал я головой. — Мне нужно рассчитаться за товар в конце дня...

Он подскочил к какому-то торговцу, видно, решил занять. Итого, высчитывал я, после расчетов с оптовиком мой чистый доход составит около семи тысяч. Гм, мое двухнедельное профессорское жалованье. За час «работы»! Да, с этим можно было жить...

Сын проводил меня до ворот. Он был оживлен, шутил, явно пытаясь загладить возникшую между нами неловкость. Бедняга, он еще не знал, что в следующую субботу увидит меня здесь снова.

Уходя, я оглянулся и подумал, что совсем неплохо смотрелся бы здесь элегантно щелкающим пальцами в своем белом смокинге с шелковыми лацканами и при «бабочке». Впрочем, как вы прекрасно понимаете, то была лишь минутная слабость.

ДОМИНИРУЮЩИЙ САМЕЦ

Конечно, Федор врбался. Я вот только не запомнил: слегка вытращенные глаза у парня были уже до нашего знакомства?..

Шеф, заглянувший с утра ко мне в кабинет, выглядел слегка озабоченным.

— Слушай, Сергей Петрович, берем тут на работу одного... гм... хакера. Профессионально он для нас — то, что надо. Но есть одна закавыка...

Оказалось, юноша заявился на интервью в бандане и с «дебильником», то бишь плеером в ушах. Про серьгу в ноздре уж не говорю, на общем фоне это сущая мелочь, но были еще, представьте, ролики. За ролики он, правда, сразу извинился, объяснил, что привык передвигаться так по городу.

— Парень дает понять: раз я вам нужен, придется, господа, принять меня каким есть, — продолжил шеф. — Надо бы его как-то сразу обломать: улавливаешь, какой это пример для остальных? Только гляди, не спугни...

Ну что я мог ответить? Что попробую...

Эх, юность, юность... Время искренних порывов и одновременно почему-то — неуклюжих, нелепых поступков. Помню одного парнишку из соседней коммуналки, студента, который ни с того ни с сего водрузил на своей двери вывеску — «Доминирующий самец». Не иначе как захотелось разделить с остальным человечеством радость от обнаружения у себя вторичных половых признаков.

Порфирыч, сосед из угловой комнаты, уж совестил-совестил юнца по-свойски, а потом взял да и подал в суд. К нему, дескать, медсестры ходят с уколами, что они подумают? Ведь если этот — доминирующий, то он, бывший фронтовой разведчик, — тогда какой? А поскольку барышень в их скромном обиталище не числилось, тут мог усматриваться и вовсе сомнительный подтекст...

И что вы думаете? Пусть «именем Российской Федерации», но заставил-таки дед отказаться юного самозванца от незаслуженного титула. А объявить себя просто заурядной особью мужеского пола тому показалось не столь уж интересным. Подержал он куцию вывеску еще недолго из самолюбия, да и выбросил...

Размышляя о деликатном задании шефа, решил я полистать свои давнишние конспекты по работе с персоналом: даром, что ли, с нас по семь потов сгоняли тогда на тренингах? Потянулся на антресоль, дернул какую-то тетрадку, а оттуда как посыплется, как повалится... Старые учебники, кассеты еще катушечные, даже хоккейная шайба, что гонял еще в дворовой коробочке, и вдруг среди всего — журнальчик вроде «Плейбоя». Ах, Тимоха, думаю, стервец, на что карманные денежки отцовские спускает. Закинул я журнал обратно подальше, а он опять мне по лысине, да еще кучу пыли на голову натрусил...

Взял я тогда эту похабшину так брезгливо двумя пальцами и понес к мусоропроводу. И вдруг будто что-то шевельнулось внутри: гляжу — силуэт на обложке, пусть смутно, но такой знакомый. И год-то — 1971-й! Ба, соображаю, так это же...

И тут, что называется, нахлынули воспоминания... Первый «огнетушитель», распитый в подъезде из горла, тот же маг катушечный... Опять-таки, первые в жизни фасонистые клеши, да еще с офицерским ремнем, на который копил со школьных завтраков... Ну и все такое. Ага, думаю, вроде наклеивается идея, как выполнить просьбу шефа.

... На встречу со мной новоявленный «самец» явился без опоздания, тик-в-тик. К моему разочарованию, на сей раз парень решил отказаться от всех своих дурацких фенечек и, мало того, предстал во вполне цивильном костюме и даже при галстукке. Но отыгрывать назад было уже поздно...

Как можно дружелюбнее улыбаясь, я устремился навстречу гостю.

– Серега, – представился я, завладев его ладонью. – Можно просто Серый. И давай сразу на «ты», о'кей?

Он как-то довольно вяло кивнул.

– Ты извини, что я без галстука, – добавил я, перекладывая свою любимую клюшку, перемотанную изолентой, в другую руку. – Так уж я привык передвигаться по городу...

Старенькие гаги слегка жали мне в подъеме, но в целом были еще ничего.

Мы несколько церемонно присели за низенький кофейный столик и с полминуты помолчали.

– Не против, если я посмолю малость? – не дожидаясь ответа, я достал початую пачку «Примы», одним щелчком извлек оттуда сигарету и закурил, выпуская дым крупными кольцами. Кабинет быстро наполнился ароматами тамбура пригородной электрички.

– Выпьешь чего-нибудь? Есть «Солнцедар» и «Біле міцне». Нет? (Судя по выражению его лица, гостю впору было поднести нашатырь.) А я пригублю «биоминцичку»...

Разговорившись портвешком моей молодости, я врубил на полную свой допотопный «Грюндиг», и тот довольно бодренько загундосил: «В бе-елом платье с пояско-ом...»

Под этот аккомпанемент парень показал мне свое портфолио, а я ему – песенник, который вел еще в пионерлагере, свои детские коллекции марок и засушенных жуков, а следом – и дембельский альбом. Патлатый парик а-ля Мик Джаггер образца начала 70-х то и дело съезжал мне на левое ухо, но в остальном все, кажется, было вполне пристойно.

Потом мы вместе подпевали голосистому спутнику моей юности с экзотическим именем Кола Бельды. Точнее, гость по моей просьбе пытался подтягивать вслед за певцом, а я подыгрывал им обоим на электрогитаре, некогда соструганной мной из столешницы.

Под конец мы совершенно скорешились.

– Фирма, чувак, у нас неплохая, – стараясь перекрычать нанайского соловья, толковывал я своему новому приятелю, которого, насколько я помню, звали Федором. – Люди все творческие, с мозгами, не без заскоков, конечно, но ведь к этому надо относиться с пониманием, врубаешься? Врубаешься или нет, я тебя спрашиваю?

Конечно, Федор врубался. Я вот только не запомнил: слегка вытарашенные глаза у парня были и до нашего знакомства – или это произошло, так сказать, уже в процессе.

Провожая гостя, я не преминул с гордостью продемонстрировать ему и наш тренажерный зал, и буфет, и прочие достопримечательности. Похоже, Федору было немного неловко перед остальными сотрудниками: что поделаешь, давненько не доводилось взбираться мне по ступенькам на коньках, отчего я просто не мог не опереться на плечо моего юного друга. Да и полторы бутылки крепленого, каюсь, давали о себе знать...

Что случилось потом, я, по правде, так и не понял. Мне сообщили, что Федя канул, как в Лету, не забрав даже своих документов. Шеф, естественно, свалил все на меня и срезал премию. Но я, признаться, ни о чем не жалею.

Изредка промозглыми осенними вечерами, поцеживая остатки «Солнцедара», накапанного в коньячную рюмашку, я мну в зубах незажженную «Приму» и искренне, не понарошку грущу. А грущу я по тому отрезку своей жизни, когда и мне, пусть неуклюже, пусть даже нелепо, но еще хотелось что-то заявлять этому миру...

СЫВОРОТКА ПРАВДЫ

«Француженке» Иван Фомич указал, что ее рейтузы дискредитируют саму идею модернизации образования...

У преподавателя трудового обучения Ивана Фомича обнаружилось странное недомогание. Сперва оно представляло собой легкое головокружение, этакий по-своему даже приятный шумок в черепушке. Потом шумок стал усиливаться, а иногда Ивана Фомича чуть пошатывало, будто только что махнул он не то грамм сто пятьдесят, не то даже два раза по столько. Доктор сказала: что-то с сосудами, прописала кучу таблеток и велела больше лежать.

Из поликлиники Иван Фомич потопал ближним путем – через железно-дорожное полотно, потом вдоль насыпи, обильно поросшей бурьяном, и далее мимо окошка приема стеклотары, где уже толклись жаждущие опохмелиться со всего поселка.

Тут Иван Фомич обычно чуть прибавлял шагу и даже несколько напряженно устремлял взгляд в противоположную сторону – чтобы не провоцировать земляков на холостые призывы. Мужиком он был справным, но почти не употребляющим, а в Большаках без потери лица таковыми могли являться разве что язвенники да еще дачники из городских.

Но на сей раз все сложилось иначе: Иван Фомич, к собственному удивлению, даже внимательно оглядел страждущих – не найдется ли кого из знакомых. Под старым кленом догонялись пивом работяги с лесопилки, и наш герой, не долго думая, пристроился к ним четвертым. Быть довеском по жизни ему было не привыкать, их с супругницей прозвали даже «вагон и маленькая тележка»; не подумайте, что под тележкой имелась в виду могучая и горластая Зинаида Макаровна...

Мужики было поглядывали на малопьющего компаньона с подозрением, пока Иван Фомич не сообразил объявить, что с утра уже принял, отчего теперь ему «хорош».

Тут-то он и оценил все преимущества своего нового положения. Во-первых, весь день у него было приподнятое настроение. Оно сопровождало Ивана Фомича повсюду, где бы он ни находился и что бы ни делал: управлялся ли с рубанком во дворе, откликался на настойчивые призывы супруги к столу или, воздев на нос очки, принимался за изучение послеобеденной газеты... Даже когда он дремал, ритуально накрывшись этой самой газетой, его посещали беззаботные сны, какие бывают только у счастливых людей, да и то в юности...

Это новое состояние не имело ни цвета, ни, что особенно важно, запаха. После него также не бывало похмелья, наконец, оно не обуславливалось утаиванием неких сумм из семейного бюджета, и, соответственно, не отягощалось изнуряющим чувством вины.

Теперь Ивану Фомичу, человеку дотоле, скорее, замкнутому, все время хотелось находиться среди людей, быть в центре их внимания. И тут обнаружилась еще одна черта Ивана Фомича, крайне важная в контексте описываемых нами событий: он стал совершенно неводержан на язык, разохотившись резать правду-матку, невзирая на лица и обстоятельства.

Первыми почувствовали неладное алкаши: их новый кореш оказался чересчур монологичен, да к тому же нетерпим к чужому мнению. Куда было податься бедному Ивану Фомичу с такими ярлыками? Ну разумеется, в родную школу.

Как-то на родительском собрании он попросил слова, чтобы своим заплетающимся языком поблагодарить присутствующих. За что – спросите вы. А за пофигизм.

Если конкретнее – за то, что, равным счетом ничего не зная о моральных качествах Ивана Фомича и его коллег, эти люди доверяют им воспитание собственных детей.

Коллеги, еще не подозревающие о своеобразной «сыворотке правды», зародившейся в организме Ивана Фомича, в тот же день устроили разбор полетов, а для пушного эффекту позвали инспектора из роно. Нашему же смутьяну только этого было и надо. Школьному завхозу, взявшему обличительное слово первым, он не дал и рта раскрыть. «Зря ты, Михалыч, украл краску, выделенную на ремонт, сейчас, – попенял приятелю Иван Фомич. – А ежели теперь на рекреацию не хватит? Не мог, что ли, подождать, как обычно?»

Дородной француженке, попытавшейся было заступиться за деверя, Иван Фомич не без оснований указал на то, что шерстяные рейтузы, в которых она практически бессменно входит в класс вот уже несколько лет, дискредитируют саму идею модернизации отечественного образования. Пользуясь случаем, Иван Фомич просветил коллегу, что из-за экстравагантной одежды ее называют Жопопотамом, причем не только ученики, но и некоторые учителя. В ответ на это произошло и вовсе неожиданное: рыдающая француженка, не сходя с места, стянула с себя злосчастные рейтузы, чтобы тут же швырнуть их в лицо ...нет, не правдорубу, а директору Михаилу Ермолаевичу с криком: «Это все из-за тебя, жмот проклятый!» После чего уже директорская половина, она же завуч начальных классов, молча встала и вышла из кабинета, грохнув дверь так, что хомяк в живом уголке, в ужасе наблюдавший эту сцену, подпрыгнул вместе с клеткой.

Не менее примечательной оказалась фраза, с которой наш герой нетвердой походкой покинул высокое собрание. «Буду за вас бороться, – доверительно сообщил он потрясенным коллегам. – Я не дам вам погибнуть».

Странная болезнь меж тем прогрессировала. Для несовершеннолетних современников Ивана Фомича тут наступили и вовсе черные дни, особенно когда домогощенный робеспьер гордо напяливал красную повязку и выбирался из своей мастерской дежурить по вестибюлю. Излюбленные герои его филиппик в такие минуты отсиживались по кабинетам, а завидев вдалеке серый халат, попросту бросались наутек. Но рано или поздно Ивану Фомичу, прихватив несчастного за пуговицу, – чтоб не упустить добычу, да и не завалиться самому, – все же удавалось ознакомить того, так сказать, с гласом демократической общественности.

Думаете, Ивана Фомича не пытались привлечь по этому самому делу? Но анализы все, как один, почему-то показывали: не вязавший лыка скандалист трезв, аки стеклышко. Всем стало ясно, что у Ивана Фомича появились могущественные покровители, оттого-то ему и море по колено.

Понятно, что нашему герою была уготована незаурядная политическая карьера, по крайней мере, местного масштаба. Но... однажды «скорая» увезла его прямо с урока. Вернулся Иван Фомич только через месяц – тихим, будто пришибленным, каким его уже никто и не помнил. «Залечили!» – шептались вокруг. И действительно, бывший правдолюб теперь лишь безмолвно взирал на происходящее выразительными, немислимо печальными глазами. Не мудрено, что вскоре, к удовлетворению своих недавних жертв, он и впрямь стал прикладываться к бутылке.

Нынче Иван Фомич под присмотром супруги раз в месяц отправляется в райцентр, где посещает общество анонимных алкоголиков, открытое при городской рюмочной. Это своего рода клуб общения местных чудиков. Не представляясь, они толкают здесь друг перед другом речи о судьбах Отечества и правах человека, а заодно и в меру выпивают...

ДВОЙКА

РАССКАЗ

Дед умер с сегодня на завтра. Все это время он тяжело дышал, лежал на старой пропахшей кровати, весь мокрый, уставший. На подушке появлялись все новые и новые разводы от слюны, вытекавшей из приоткрытого рта, и от пота. Все случилось тихо, спокойно, без нервов. Дед сразу узнал, что умрет. Все же вызвали врача. Врач осмотрел его. Сказал, что жить не будет. Старый был дед, уже пожил. Всю ночь у его постели просидели сын и его жена. Внук Сережка был у друга, он ночевал обычно у него на выходных. Когда ему сказали, что дед умирает, ответил, что утром сразу придет.

Дед очень страдал, что не увидит Сережку. Он почему-то сразу понял, что не увидит. А может, и к лучшему, что не увидит? Что не придется Сережке смотреть на его слюни, обонять вонь и пот. Дед чувствовал, что Сережку раздражала его старость, то, что он вечно все испачкает за едой, сам вымажется, то, что Сережке приходилось его, обкаканного, мыть (это была обязанность внука), то, что дед все время переспрашивает: не понимал, о чем идет речь, не знал, что ответить. Сережке все это было противно, и дед это прекрасно понимал и прощал. Он радовался Сережкиным успехам, думал все время о нем. Ему было приятно, что мальчик-отличник — его внук. А самым приятным было воспоминание о Сережкином детстве. Когда дед был еще ничего! Пеленал Сережку, пел ему песенки, усыплял, возился с ним...

Теперь уже Сережка вырос, и дед ничем не мог ему помочь.

Дед тихо умирал, не стонал, только что-то бурчал себе под нос. Умирал так, как обычно умирают от скуки.

Сережка приехал через час, как умер дед. Он знал, что не успеет попрощаться с дедом и почему-то не жалел об этом. Увидев его тело, он испугался: дед был как живой. Мать с бледным опухшим лицом крепко обнимала голову отца, в ужасе стоявшего посередине комнаты. Из морга никак не ехали.

Недели две Сережка ходил равнодушный и угрюмый. Зато пользу быстро нашел: не делал уроков, объясняя учителям: «Дед умер». Учителя жалели, не ругали, понимали: переживает мальчик.

А еще на девяти днях вкусно и много поел. Так редко, только по праздникам, у них готовили, только четыре раза в году, а тут раз — пятый случай подвернулся. Сережа знал, что думал кощунственно, что ему должно быть стыдно, но от осознания, что переступает через что-то очень запретное, божественно запретное, ему хотелось переступать и переступать, вновь и вновь, его захватывало, что эта тайна известна только ему. Он — вот какой: сильный и всемогущий Сережа!

Однако вскоре сознание его переключилось на что-то новое, и он забыл о своем преступлении, о вседозволенности. Очень скоро он забыл и деда. Уже через полгода он не помнил его лица, голоса.

Через два года Сережа перешел в девятый класс. Все было также хорошо в его жизни: пятерки в школе, успехи в спорте, друзья. Как-то учительница литературы задала прочитать повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Прочитав, Сережа начал плакать. Раньше он плакал, только когда был маленьким мальчиком. Дед тогда обычно утешал его, рассказывал сказку. «Где он сейчас? Почему умер?!» Сережа плакал все громче и громче. Скатившись с кровати на пол, он скреб ногтями по ковру, потом в ярости залез головой под комод и начал биться затылком о его дно. В ужасе в комнату вбежали родители. Достав Сережу из-под комода, они стали приводить его в чувство.

Опомнившись, Сережа долго молча сидел, потом все рассказал родителям.

Мама, радостная, со слезами на глазах, прижала его к себе: «Дедушка обязательно услышит тебя!».

«Обязательно», — повторил за ней папа.

Целую неделю мальчик ждал, совсем больной. Его бросало то в дрожь, то в холод, пульс сильно стучал. Он все время думал, думал, думал, до того сильно, что болела и пухла голова. В школе его вызвали к доске. Учитель потребовал объяснить, почему Сережа не подготовил урок. Когда тот ответил, что из-за смерти дедушки, ему не поверили.

Жирная двойка появилась в журнале и дневнике.

Никогда не было у Сережи так спокойно на сердце.

Июль 2004.

ТАМ, ГДЕ КАМОЭНС ОДНОГЛАЗЫЙ...

* * *

Издали музыка слышится, с круга катка,
через февральскую влажную тьму пролетая.
Ты мой хранитель, живое крыло у виска,
музыка, муза, невеста моя золотая!

Что бы я делал в покинутой Богом стране,
на ледяном бездорожье ломая копыта,
если бы ты на плечо не слетала ко мне,
музыка, нежная дочь огрубевшего быта?

К чадолюбивому кругу катка доберусь,
вправо на звук повернув по бугристой дороге.
Вот он, стального конька ярко-хромовый хруст,
в белых высоких ботинках девчоночьи ноги...

Дальше иду – снова ноша легка и тиха,
легче богатства залётных и местных абреков.
Здесь, где темно, ты живёшь в ипостаси стиха,
музыка, муза, вернейшая из человеков!

* * *

На выбеленных скалах Тарханкута,
На вздыбленных крутых известняках
Мне чуется горячая цикута
На зном пересолённых губах.

Здесь эллинского слова переплески
Сберёг под кручей винноцветный Понт,
И помнит жаркий мак турецкой фески
Горбатой арки скальный мастодонт.

Здесь чёрные бакланы на уступе
И дикий голубь в капище пещер
Хранят молчанье
О гранитной ступе,
О тех веках, перетолчённых вкупе,
За чьей душой шуршит
Уже шумер...

* * *

Лобзик, товарищ мой, труженик полузабытый,
лёгкий и трубчатый родственник Лиллиенталя!
Твой лонжероновый выгиб, твой скрип домовитый
снова припомню. И сызнава пилку из стали

вставлю – тончайшую, тридцать три зубчика кряду,
плоские кромки в барашки-винты зажимая.
Се – инструмент! На пилы-циркулярки бригаду
нрав и узор твой, поделник мой, я не сменяю,

ибо я чую меж нами известное сходство:
что нас и держит, помимо веселья узора?
Видимо, всё ещё лёгких детей сумасбродство
радостней небу, чем тучное пиршество вора.

А на земле, коли нету куска – так не надо!
Что не забрали – оставь для последнего шмона..
Хватит душе словаря и трёх ягод из сада,
хватит нам, братец, куска розоватого шпона.

* * *

И.И.Шелковому

Дорогим мертвецам наливаю я рюмку багряного,
к незабытым устам подношу поминанье вина.
Не случилось мне, дед мой, ни разу видать тебя пьяного,
но сегодня прошу тебя: выпей со мною до дна.

Неугасшим глазам соберу угощение краткое:
помидоры и хлеб – на двоих за дощатым столом,
среди осенних стволов, под кирпичной оранжевой кладкою –
у садового дома, что крепок ещё на излом.

Иоанн Иоанныч! Не выдохнуть гласных блаженнее,
не найти всенароднее имени и веселей.
Потемнел виноград – твоих саженцев-лоз продолжение,
фиолет «изабеллы» подмешан в воздушный елей.

Эти стебли, увившие стену, – по-прежнему сильные.
Я к ладони твоей потянусь и опять узнаю:
теплоносную линию жизни, наследье фамильное –
широченную руку отцову и лапу свою...

Сторона моя русая – правда моя погорелая!
Что и взять с тебя – водки пузырь иль костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот что я от сердца сделаю:
снова вспомню своих – Иоанна. Николу. Петра.

ВСПОМИНАЯ КЛЮЕВА

Хрустами снега, ядрёной водярой мороза
нынче декабрь за сто лет расквитался с народом!
Если же спрыгнет какая строптивница с воза,
легче кобыла с отчётным расстанется годом.

Ну а коль век иль миллениум свалится за борт,
канет в сугробы сундук, дребеденью гремящий, –
крякнет, всего-то, ямщик, Тимофей или Ламберт:
стужа родимая учит терпимости вящей.

Мыши, видать, от мороза и вовсе взбесились –
грюкают в кухне железною крышкой кастрюли.
Или же вновь домовой из-под веника вылез,
взором хитёр, бородой и кафтаном – чистюля?

Ежели ты, здравствуй батюшка войлочный тапок,
Клюев мой милый и Ремизов неотразимый!
В спичечный короб набрал тараканьих ты лапок,
только встряхнёшь – вот и музыка в долгие зимы.

Коль разобраться, нутром я тянусь к домострою,
к лыковым скрипам, к печному, примерно, уюту.
В снег петушиную косточку глубже зарюю,
штофом залью на душе красногивую смуту.

Зиму бы пробедовать без большого пожара...
Клюева стану читать, золотую ермолку.
Мало ли что: гражданин я такого-то шара...
Суженый стужей дедок про стожки и Стожары
в сердце родную-горячую тычет иголку!

* * *

Там, где Камознс одноглазый
пион пурпурный ставит в вазу,
чтоб огранённое стекло
изломом света подчеркнуло
предчувствие сквозного гула,
лёд, выпивающий тепло,

там, где Сервантес однурукий
над рыжею кормящей сукой,
склоняет резкое лицо,
дабы кивнуть братве, сосущей
со чмоком млеко, – там идущий
взойти не должен на крыльцо.

Там блудным пасынкам прощенье –
куда докучливее мщенье,

чем глина и песок дорог.
Ты, вдалеке полынь и мяту
сыскавший, ни отцу, ни брату
и стебля подарить не смог.

Ибо назначенность ухода
к другим словам — есть смена года,
потеря месяца и дня
рождения первого... И двери
захлопнуты, и в полной мере
заслужена епитимья.

И никогда не сыщешь света —
у чернокнижного поэта —
на белой плоскости листа.
Но там, в прохладах измеренья,
есть дрожь, зачатие движенья,
есть то, что — вовсе неспроста.

И никогда не будет сына
и на персте аквамарина
у самозванного гонца,
как этой ереси желанной,
губительной, самообманной
нет ни начала, ни конца...

РОЖДЕСТВО В ЛУНДЕ

Немного льда. Бесснежная зима
в неторопливом скандинавском Лунде,
где век за веком церкви и дома
скрипят корнями в каменистом грунте.

Неделя Рождества — и мирный швед
затеплил за стеклом, у каждой шторы,
питаемый электрикою свет
семи свечей на треугольной горке.

Затеплил, отгоняя холода,
в окне цветок с пурпурною листвою,
растенье «Вифлеемская звезда» —
живой огонь, берущий за живое...

И в эту ночь я, словно конокрад,
шатун упорный в шапке азиатской, —
брожу до трёх часов. И зимний взгляд
смягчаю я при встрече с тёплой цацкой —

с рождественской свечою и цветком
за каждую оконной рамой Лунда...
И в воздухе — то чёрном, то цветном —

не слышен тролль, зловредный здешний гном,
разносчик ведьмования и бунта.

ВИНОПИТИЯ В ПРОВАНСЕ

Капни, сестра, на зубок мне прованского масла –
выпил я тёмного, пару стаканов, вина.
То, чем сиял Авиньон, и теперь не угасло:
белого папского камня крутая волна.

Правду сказать, я провинций упрямый поклонник.
Шлюхи в столицах – намного дороже и злей.
Хной виноградников Арля окрашен мой кровник,
охра и крон понабились под ногти с полей.

Братец Винцент мой, затюканный и одноухий!
Не до художника миру, и в трезвом миру –
что в Авиньоне, что в Арле – надёжней под мухой,
лёгкой, идти, отвергая любую игру,

кроме игры колеров или звуков и пауз,
кроме того, что ни франка не стоит, ни су...
Рядом, у моря, – забросивший камбалу в камбуз,
Снастью Марсель шелестит на ветру, на весу.

Белого папского замка крутая громада!
Всё же тебя, Авиньон, оживлю средь зимы,
ибо Марселя, бандюжно-биндюжного града,
в редком порту не найду я огни и дымы...

Капни, сестра, на язык мне оливковой сласти.
Как бы Прованс не любил я, Тавриды жилец?
Эти края средиземноприморского счастья
Фебос родил, многодетный понтифик-отец.

Было бы странно к старинной любви не склониться
и не хлебнуть под платаном – над Роной-рекой...
Встреча, не первая, эта двоится, троится...
Капни на губы мне капельку крови, сестрица,
смуглая дева – с походкой знакомой такой...

НАД ТИБРОМ

По летучим, но верным приметам
те декабрьские римские дни
я бы мог оживить – и портретом,
и пейзажем остались они

в поле зренья, в узоре скитанья,
где на склоне дождливого дня

нежно вытерт воздушною тканью
мёртвый мрамор в прожилках огня.

Тесан кесарем камень колонны
и на хвойном поставлен холме,
чтобы призраки-центурионы
длили верность чернявой зиме,

чтоб линейка платанов над Тибром,
над бурливой зелёной водой,
не прельстясь полумерком-верлибром,
окликала бы ритм молодой —

в бронзовеющем плаче Назона,
в серебре переборчивых струй...
Живо время с эпитетом «оно»,
и вдогонку ему озоруй,

пилигрим, копыеносец и бражник,
виноградарь весомых словес!
Век твой — шулер, твой хронос — сутяжник,
едкий, но мелкотравчатый бес...

А тяжёлые римские боги,
всадник-Марс и Юпитер-платан,
умостят доломитом дороги,
лёгким маслом пройдутся вдоль ран.

И напомнят, как время протяжно,
как соперники Ромул и Рем
из волчицы-кормилицы влажной
братство выпьют — навек, насовсем.

ШМЕЛЬ

Не мешайте летать шмелю.
Я чреватость его люблю.
Он летает не по закону —
по наитию и во хмелю.

Под порогом, меж кирпичей,
в халабуде садовой ничьей
(ибо я там раз в год бываю)
он живёт без всяких ключей.

Не мешайте любить шмелю.
Что за дело жучью-жулю,
с Баттерфляй ли толстяк флиртует,
с китайкой ли Шао Лю?

Бочковатость его легка.
Шкура тигра — его бока.

Хоботок достаёт до донца,
до нежнейших глубин цветка.

Не мешайте гудеть шмелю.
Брат альтисту и скрипалю,
на медовой блюзовой ноте
чертит плавную он петлю.

И не я ему пел мадригал.
Лишь в апреле, когда он взлетал,
говорил я: «Сенсей, за зиму
ученик твой взрослее стал».

* * *

Мотылёк, ангелок! Чья душа в ярkokрылой обложке,
В оболочке твоей продлевает искренье своё?
Вызревает июль, и прижизненной радости крошки
И клюёт, и глотает, и в улы уносит зверьё.

Слышишь, падает плод у ограды в нагретую мяту?
В сладких трещинах яблок пируют гурьбой мураши...
Как сияют глаза, и как юно уста неизмяты
Наяву и во снах — в молочае, в чабре и во ржи!

Вот и в яблочный Спас прикатило светило большое.
Разогрет во дворе кособокий железный турник.
Промелькнул мотылёк — и повеяло кроткой душою.
Так прощением пахнут деревья, трава и родник.

Кто-то имя назвать на лету не успел, не решился.
Но понятнее слов, но вернее имён тишина.
В одиноком доме, отлетая, старик побожился,
Что дорога видна —
Серебро, голубень, белизна...

* * *

Львиного зева лиловая морда
С каплею солнца на верхней губе.
Длинное лето нелучшего сорта
Всё ж под конец улыбнулось тебе.

Веет покоем понтийское лоно.
Можно, вдохнув, никуда не бежать,
На широченных перилах балкона
Книжку и гроздь винограда держать.

Рядом, внизу, с ленкоранских акаций
Не облетел ещё розовый пух.
Можно о малом, своём, усмехаться,
Не выходя за молчания круг.

Можно, в конце-то концов, этим летом
Ту иль иную из преданных муз
Кликнуть и разбередиться ответом...
Бражники вьются над шёлковым цветом,
Осы на вспоротый рвутся арбуз.

ПРОМЕТЕЙ, МЕТРО И ШУРИК

Свободные вариации на полуантичную тему

1.

– Что?! Где?! Когда?! – доносился из-за неплотно прикрытой двери высокий, звонкий голос шефа. Буквой «р» он «пгенебгегал». – Богобогнец жёваный!

– Наш-то, наш! Бушует! Одно слово – громовержец, – одобрительно покачал головой Сила Ерофеич, – аки лев немецкий рыкает.

– Немейский, – поправил Влас Тимофеич.

– А? – икнул из кабинета шеф, несколько смягчая интонацию. – Так и скажи своему любимому гуководителю... Ну вот, ты всегда так, Прометеюшка...

Сила Ерофеич ухмыльнулся и бесшумно затворил дверь, отрезав на полуслове шефскую речь. Вернулся в кресло, налил в блюдце чай, положил на язык маленький кусочек колотого сахара и, поднеся на вытянутых пальцах блюдце к губам, начал с присвистом, стоном и причмокиванием пить. При этом он жмурился, как кот на свечку, и утирал пот со лба вафельным полотенцем. Влас Тимофеич наблюдал за его действиями с некоторым презрением.

– Ну что, – спросил он, когда Сила прикончил четвёртое блюдце, – вприкуску чай пить будем до утра?

– А куда спешить? – перхая, просипел Сила. – Пока Зевес Кроныч с Прометеем разберётся, целая вечность пройдёт. А ты чего чай не пьёшь? Чай не пьёшь, откуда сила возьмётся?

– Мне б чего покрепче, – Влас Тимофеич достал из бокового кармана массивный золотой портсигар.

– А я вот не курю, – покосившись на портсигар, с некоторым вызовом сказал Сила Ерофеич, – пробовал трубочку, но говорят – трубка сушит.

– Бережёшь себя?

– Берегу. Аккумулирую. Поэтому и покрепче не держу. Это всё тебе можно, а нашему брату – засы!

– Почему это мне можно?

– Да по всему. История почти не знает исключений. Скромники, скопцы и моралисты, занимающие такое положение, как ты, встречаются крайне редко.

– Да? – с сомнением в голосе спросил Влас Тимофеевич и большим пальцем левой руки нажал на рубиновую пуговичку замка. Портсигар, нежно проиграв «Коль славен Господь во Сионе», выпустил из своих золотых недр изящную сигаретку. Вслед за ней в ловких пальцах Власа завертелся «Zipro» с изображением грузинского профиля горного орла. Последовал мягкий, очень приятный слуху металлический щелчок, и в приёмной запахло вишнёвым садом.

– Кстати, вчера Раневская заходила, – промолвил Сила, приняхиваясь. Он накрыл пустой стакан перевёрнутым блюдцем и, пристраивая на нём маленький кусочек недососанного рафинада, добавил: – Аполлона разыскивала, покровителя своего.

– Какого Аполлона? – подозрительно спросил Влас. – Нашего? Бельведерского?

– Мурзавецкого, – отозвался Сила Ерофеич и, поковыряв мизинцем в ухе, начал внимательно рассматривать результат раскопок.

– А Персефона говорит, что у них там с серой проблемы, – едва заметно улыбнулся Влас.

– Много Персефона знает, – хмуро сказал Сила и обтёр палец об штаны, – пусть лучше за своим носом последит. А то как Аида там появилась, так у Аида косоглазие сделалось.

– Ты бы, Сила Ерофеич, за своим языком последил: Аид – мужик серьёзный. И между прочим шефу родственник.

– И на серьёзных управа находится. Вон вчера в кафе «Де ля Пэ» Жак Оффенбах про Орфея рассказывал... Да ты должен его знать – он ещё в Грузию за какой-то дохой ездил.

– Помню, как же! Он там на судне соловьём заливался. Мне Ясон доложил: пел, говорит, как Козловский. А может быть, ещё нежнее. Иван Семёныч от зависти чуть богу душу не отдал.

– Какому богу? – подозрительно спросил Сила.

– Известно какому – Аиду. – Влас посуровел лицом. – Ты что, порядков не знаешь?

– А-а-а, – удовлетворённо протянул Сила, откидываясь в кресле, – тогда правильно! Ну вот. Истосковался он, значит, по бабе по своей, потому что она из дому вышла и как сквозь землю провалилась. Орфей Загрыч всех знакомых обзвонил – результат нулевой. Он в милицию ринулся – так, мол, и так, может, по пьяному делу бабу мою Эвридику Ниловну замели. Оттуда его сразу попёрли: делать нам, говорят, не хрен, только с бабой твоей возиться. У нас, говорят, «висяков» сорок процентов, да мафия одолевает, да лодка, блин, на дно легла, да башня загорелась, да в Беслане полный беспредел, да в переходе взорвалось, да в театре народу полегло видимо-невидимо, да крыша рынка обрушилась, да битюга в Трою транспортировать-сопровождать, а ты тут с бабой со своей. Иди, мол, отсюда лесом! Он – в больницу: может авария какая, под колесницу попала или ещё чего. Нет, отвечаю, чего нет – того нет. Можем фараона предложить, что с недостроенной пирамиды упал, пальчик оцарапал. Ну, Орфея предложение не заинтересовало – фараонов он с детства недолюбливал. Поэтому он в морг побежал. Опа, говорят морговики, опа! Была у нас такая, видели её – вон там под простынёй на кушетке отдыхала. Орфей так расстроился, что на минуту даже петь перестал. И тут же нашему шефу заявление на стол – бряк! Отпустите, дескать, супругу мою, а то дома сплошное непотребство – в холодильнике пусто, на кухне грязь. Наш подумал и резолюцию наложил: отпустить, дескать, и никаких гвоздей. А мне сказал: нету у меня второго такого. Золотой, сказал, голос Древней Греции. И на родственников своих, которые другим ведомством заведуют, болт с Балтийского завода зобил. Вот, брат, – выходит, что и на крутых управа есть. Потому что всегда найдётся кто-то, кто ещё круче.

– Так что, – Влас сделал последнюю затяжку и принялся уминать окурком нефритовую пепельницу, – у Орфея твоего, Загрыча, на кухне вновь ажур?

Сила Ерофеич встал и подошёл к окну.

– Гляди-ка, – сказал он, – Шурик опять бежит... А ажуря никакого не вышло: Орфей не вовремя стишок один вспомнил – что-то про остановиться, оглянуться. Помолчали.

– Слушай, – сказал Влас, – давай коньячку хорошего изопьём. Армянского. Я позвоню – Ной из Арарата сам принесёт.

– Давай, – согласился Сила. – Шесть капель. Но только по-быстрому, а то мне уже скоро бежать: жена моя билеты на концерт достала.

- На какой? – Влас потянулся к телефону.
- Да виолончелист, японец какой-то... Ё-моё зовут.
- Йо Йо Ма, – поправил Влас.

Обитая дерматином дверь в кабинет распахнулась, и оттуда решительно вышел высокий, широкоплечий кудрявый мужчина в фотохромных очках. Дойдя до середины приёмной, он обернулся и тихо сказал в раскрытую дверь:

– На меня, Зевес Кронович, кричать не надо. Вот на них, – он указал пальцем на застывших в своих креслах обоих помощников, – сколько вашей душе угодно. Потому что у меня...

Он прервался на минуту, бросил косой взгляд на Силу и Власа, потом махнул рукой – «а, свои, мол!» и закончил:

- ... потому что у меня на всех материалец имеется.

– Ну Пгометеюшка, – примирительно засвистал Зевес Кронович, фотографически проявляясь в приёмной, – ну так тоже нельзя: гкичите-не гкичите, гычите-не гычите. Я же почему так волнуюсь? Я ж как гуководитель за всё в ответе. С меня же спгосят.

- Кто спросит? – Прометей иронически скривил рот.

– То не нашего с тобой ума дело. Вгемя подойдёт – найдётся, кому спгосить. Могут и уважаемые потомки, гоясь в сегодншнем окаменевшем говне, спгосить. Так что ты пгикурить-то давай – это не запгещено, а спички или зажигалку пги себе дегжи. Им ведь стоит только начать – спалят всю контогу к чётговой матери! Обещаешь?

Прометей неопределённо хмыкнул и вышел из приёмной.

Шеф развернулся на сто восемьдесят.

– А вы, бездельники, чего гасселись? – гаркнул он, тараща глаза и опасно багровея. – Где Гегакл и Хигон?!

– Геракл у Авгия, – спокойно ответил Влас Тимофеич и вновь потянулся за портсигаром.

- И Хирон с ним, – обиженно добавил Сила.

Дверь из коридора приотворилась, и в образовавшейся щели возникла аккуратно причёсанная на косой пробор голова.

- Здрассьте, – вежливо сказала голова, – Прометея не слышали?

Зевес Кронович исподлобья мрачно взглянул на голову и скрылся в кабинете, изо всей силы шваркнув дверью.

– Иди отсюда, Шурик! Не до тебя сейчас, – сквозь зубы процедил Влас Тимофеич, выковыривая из вновь появившегося на свет портсигара очередную сигаретку.

– Вам, Влас Тимофеевич, всегда не до искусства, – с петушиным вызовом воскликнул Шурик, исчезая.

- История нас рассудит, – донёсся его голос из коридора.

– Вот нахал! – сказал Сила. – От горшка два вершка, а туда же: музыка сфер, слышу Космос! Если шеф узнает, живо ему башку отобьёт.

– А тебе не всё равно? – лениво спросил Влас Тимофеич, наблюдая за поднимающимся к потолку голубоватым дымком.

– И то! – согласился Сила. – Что мне Гекуба, на фиг мне она, как говорит Приап.

- Приам, – поправил Влас.

2.

Поезд, плавно притормозив, остановился на станции. В открывшийся со змеиным шипением дверной шлюз рванулась человеческая струя. Евдокимову и Кацу не пришлось даже ногами шевелить – их внесли и поставили в углу.

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – Лиговский проспект», – с выражением сказал тембристый баритон, и двери действительно соединились, мягким резиновым ударом поставив точку в конце предложения.

– Знаете, – сказал Евдокимов своему приятелю Кацу – спортивного вида мужчине лет сорока, – всякий раз, когда я слышу этого подземного Левитана, вспоминаю анекдот про Копенгаген.

– Не понял, – Кац покосился на собеседника.

Евдокимов принялся рассказывать старый анекдот про угон поезда метро. Посмеялись. Кац, не желая оставаться должником, тоже рассказал какую-то смешную историю. В вагоне было тесно. Они стояли, прижатые друг к другу вечерней толпой, и перебрасывались шуточками. Всё шло отлично, зарплата – целых девяносто долларов, полученная сегодня после трёхмесячного перерыва, оттопыривала карманы. Даже давка в метро настроения не портила.

Среди вошедших пассажиров оказался здоровущий, заросший до самых глаз чёрной бородой детина. Заметив Прометея, детина с лёгкостью отодвинул Евдокимова с Кацем, прошёл сквозь упругую толпу и, доброжелательно глядя с высоты своего почти двухметрового роста на сидевших Прометея и Шурика, пророкотал октавным басом:

– Здорово, орлы!

– Привет, – сказал Прометей, – но учти: упоминание об этой птице мне почему-то неприятно. Знакомься, Шурик: Улисс – предводитель дохлых крыс.

Бородач добродушно ухмыльнулся.

Шурик протянул руку и ощутил, как все его пять пальцев обволокла гигантская горячая ладонь.

– Очень приятно! Одиссей, – пророкотал детина, осторожно потряхивая Шурикову руку.

– И мне приятно. Шурик. – Ответил Шурик.

– Симпатичный у тебя приятель, – сказал Одиссей Прометею, – у меня на хороших людей глаз. Молодой ещё, но зуб даю, что из него толк выйдет. Ты, Шура, чем занимаешься?

– Музыку сочиняет, – ответил за Шурика Прометей, – говорит, что сфер.

– Молодец! – Одиссей с восхищением посмотрел на Шурика. – Не то, что мой оболтус – целыми днями мой лук натягивает. Куда ему! Кишка тонка. Вот дед его – мой папаша Лаэрт – вот кто был силач!

– Да только сила не помогла – техники не хватило: убил его Гамлет, – помолчав, с грустью добавил он. – Никогда ему не прощу! Да и Шекспиру тоже. Нашёлся, понимаешь, щелкопёр, бумагомарака, в трагедию папу вставил. Разнёс по всему свету историю. Теперь людям в глаза стыдно смотреть.

– Ну ладно, – примирительно пробурчал Прометей, – не расстраивайся! Уж сколько лет с тех пор прошло.

Одиссей шумно, как жеребец, вздохнул и, вдруг улыбнувшись, спросил:

– А вы куда это, ребята, собрались?

– Кто куда, а я в сберкассу, – сказал Прометей. – Может, какие-то деньжата там остались. Сейчас они очень пригодились бы: меня шеф на Кавказ в ссылку отправить хочет. Как Лермонтова.

– Под пулю чеченскую? – ахнул Одиссей.

– Хуже! Хочет, чтобы меня там заклевали совсем.

– А ехать обязательно? – робко спросил Шурик.

– Ничего не попишешь – старший приказал! Гефест звонил (он вчера специальный колокол отлил), за меня просил, но тот упёрся, как бык в Европу.

«Станция Пушкинская», – провозгласил ликующий голос.

– Ну, я пошёл, – заторопился чернобородый Одиссей, – а ты всё-таки подумай, прежде чем печень подставлять.

Он рванулся к выходу, и Шурик, которому Одиссей очень понравился, только успел прошептать:

– Ты куда, Одиссей?..

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – Берлин, Цоо».

– Что-что? – переспросил Кац. – Какая следующая?

Они с Евдокимовым посмотрели друг на друга и расхохотались. Прометей думал о Кавказе, Шурик – о космосе. Они ничего не слышали.

– Бе... ха-ха-ха... бе...ха-ха... Бер...лин, – сквозь хохот едва выговорил Евдокимов, – ох ты, Господи!.. Нет, наша администрация совершенно с этим Европейским союзом обалдела. Это же надо такое придумать: Берлин в Питере. Прислышится же такое! Совершенно фрейдистская слуховая галлюцинация.

– Да-а, – сказал Евдокимов, утирая слёзы, – вот, оказывается, как рождаются анекдоты!

– Извините! – кто-то мягко ткнул Каца в спину, – вы в Берлине выходите?

Кац, по инерции продолжая смеяться, обернулся. Пожилая женщина смотрела на него большими, тёмными, грустными глазами.

– Видите ли, мадам, – саркастически сказал Кац, – мы, э-э-э, приезжие. Не подскажите ли, какая следующая после Берлина. Чтобы мы, так с-с-ать, сориентировались на местности. Уж не Париж ли часом?

Он подмигнул Евдокимову и широко разинул рот, приготовившись исторгнуть очередную порцию здорового хохота.

– Да что вы! – сказала женщина с укоризной. – Тель-Авив.

Кац звонко клацнул челюстью.

– Так вы в Берлине выходите или нет? – строго спросила тёмноглазая.

Тем временем поезд, замедлив ход, втянулся на станцию. Мелькнули странные слова «ZOO» и «Bahnhof».

– Ущипните меня, – сказал Кац, – мы и впрямь в Берлине.

Большая часть пассажиров, ничуть не удивившись, вышла из вагона. Ошеломлённые приятели в нерешительности уселись на освободившиеся места. Прошло две минуты, затем ещё пять, и хотя на платформе народу было много, в вагон никто не входил. А поезд стоял, будто ждал кого-то.

– Вот это да-а-а, – протянул Евдокимов, – а что я маме скажу?

– Скажете, что поехали в Берлин обмыть полчку. Если, конечно, вам с мамой ещё свидеться придётся, – озираясь по сторонам, вполголоса добавил Кац.

Евдокимов обескураженно помотал головой, постучал себя ладонями по бокам и, сказав «что ж – обмывать, так обмывать», вытащил из внутреннего кармана поношенного пальто бутылку старки.

– Послушайте, – сказал Кац, – вон ещё двое сидят. Может, им предложим?

– Да они спят, – взглянув на Шурика с Прометеем, ответил Евдокимов и извлёк из другого кармана два пластмассовых складывающихся стаканчика. Привычным движением встряхнув их, раскрыл, сунул один в руку Каца, споро вскрыл флакон, и не успел Кац и слова промолвить, как обнаружил в правой руке тёплую водку, а в левой – неведомо откуда появившийся сырок «Кисломолочный».

– Предлагаю тост «За взятие Берлина», – в быстром темпе сказал Евдокимов и отточённым движением вбросил водку прямо в горло, минув полость рта.

– Ну что, Витя, – спросил Кац, не менее ловко произведя аналогичное действие, – выходить будем? Похоже, это нас ждут.

Уютная теплота наполнила грудную клетку Евдокимова. Стало очень хорошо. А когда выпили по второй, стало вообще замечательно. Из вагона выходить совсем не хотелось. Тем более в Берлине. Тащиться куда-то в неизвестность, а погода тут наверняка дрянь – сплошная слякоть: Гольфстрим не за горами. Прислушиваясь к спокойному дыханию спящей неподалёку пары, Евдокимов поёрзал, устраиваясь поудобнее на кожаном диване.

– Послушайте, Толя, – сказал он, – ну вам-то – прямая дорога в Тель-Авив – вы ведь еврей. А мне...

– Кто еврей? – строго спросил Кац. – Я? Ошибаетесь, мой друг. Точно так же как и многие другие, введённые в заблуждение моей предательской фамилией.

– А кто же вы?

– Я казак!

– Каким ты-ы был... – тут же пропел Евдокимов. – Казак-то кубанский?

– Донской, – пояснил Кац.

– Это как?

– А очень просто: мама моя Анна Семёновна Иванова – донская казачка. А дед – её отец – был атаманом.

– Так вы Иванов по матери? – ухмыльнулся Евдокимов.

– По матери. Ещё по какой матери, – строго сказал Кац. – Она у меня была женщина суровая.

– Забавно. Столько лет дружим, а вы ничего такого не рассказывали.

– Случай не представился.

Поезд, как бы не зная, что предпринять, продолжал в нерешительности стоять. По платформе сновали странно одетые люди – какие-то джентльмены в длинных тёмных пальто колокольчиком, из-под воротников которых виднелись пёстрые бабочки; панки с ирокезами; стриженные налысо девушки в мужских куртках и огромных ботинках, отчего их ноги казались высеченными из двух кусков грязного гранита; молодые существа неизвестного пола; иногда с дикими воплями пробегали ватаги школьников, от которых шарахались взрослые; восточные женщины, упакованные, как сельди, в блестящие обёртки, – лица некоторых были закрыты чадрой; звенящие цепями подростки в широченных джинсах с болтающейся ниже колен мотнёй. Почти у всех за плечами висели рюкзаки, точно всё население Берлина собралось в поход.

– Между прочим, – сказал Евдокимов, наливая по третьей, – раз уж пошла такая пьянка, признаюсь вам, как родному... Только сначала выпьем. Будем здоровы!

– Бум-бум-бум! – живо отозвался Кац. – А закусывать чем?

Чувствовалось, что его начинала веселить эта ситуация.

– Мануфактурой.

Водка, произведя приятное впечатление на организмы, ухнула вниз.

– Ну? – спросил Кац.

– Только вы никому не говорите, – потребовал Евдокимов.

– Вот сейчас пойду разбужу тех двоих и всё им выложу как на духу.

– Дело в том, что я... – Евдокимов помолчал, как человек, собирающий всё мужество перед прыжком в холодную воду и к тому же не знающий глубины, – еврей.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – ахнул Кац.

– То-то и оно, что бабушка! – с тоской сказал Евдокимов. – Бабушка моя, мамина мама, была Фиш. Вот и получается, что по вашим еврейским законам я чистый еврей.

– Так значит вы Фиш?! – Иванов по матери раскатисто расхохотался. – Вот уж никогда бы не подумал. А почему же вы никогда мне об этом не рассказывали? Небось чуяли, что мы, казаки, вашего брата на дух не переносим.

– Случай не представился, – пояснил Фиш.

– Ну что ж, раз такое дело, значит вместо станции “Разлив” мы поедem в Тель-Авив!

– Подождите, – сказал Евдокимов, – у меня есть другая идея. Сейчас мы с вами выходим из вагона, пересекаем перрон и садимся в поезд, идущий в обратном направлении. В худшем случае мы попадём на другую станцию берлинского метро. Какая уж нам теперь разница? Но не исключено, что мы вернёмся назад.

– А если... – нерешительно замямлил Кац.

В это время в открытую дверь сунулась голова в форменной фуражке.

– Na? Was ist? – мрачно спросила голова. – Machen sie Mittagspause, oder?¹

Друзья ничего не поняли, но молча встали и пошли к выходу. Едва они ступили на платформу, как вослед им прозвучал левитанов баритон: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – “Тель-Авив”». И точно – дверь тотчас закрылась, и поезд, ревя и быстро набирая скорость, исчез в тёмном туннеле.

– Вот это номер! – сказал обалдевший Кац. – Ну что ж, раз Рубикон перейдён – только вперёд! Может быть, попадём назад.

Евдокимов потянул ноздрями воздух.

– Даже пахнет не по-нашему. Хотя, в общем, приятно пахнет. Послушайте. У нас с вами на двоих сто восемьдесят долларов. На эти деньги можно здесь неплохо погулять. А там видно будет.

– Да-а, – с сожалением покачал головой Кац, – сразу видно, что никакой вы не Фиш. Этих денег здесь даже на один приличный обед не хватит. Не говоря уже о том, что совершенно непонятно, что делать дальше.

Они протискивались сквозь толпу, и Кацу пришлось даже пару раз сказать «пардон», где русский «н», как «п» французский, он произносил сильно в нос.

– Где это вы так по-французски наблатыкались, – подозрительно спросил Евдокимов.

– В детстве няня француженка была.

Евдокимов открыл было рот, но в это время к платформе подкатил поезд, двери вагона, остановившегося перед нашими приятелями, гостеприимно распахнулись и выпустили троих пассажиров. Больше в вагоне никого не было.

– По-моему, – сказал Кац, – мы с вами промахнулись – поезд-то явно не наш. Смотрите: вагоны жёлтые и синие.

– ... В зелёных плакали и пели, – задумчиво произнёс Евдокимов.

– Ну что? – колеблясь, глубоким басом спросил Кац. – Войти, аль нет?

– Рискнём, – вздохнул Евдокимов.

Они вошли и замерли у двери, по обоюдному молчаливому сговору готовые в случае чего силком эти двери разомкнуть и выпрыгнуть на ходу.

Но едва они вошли, как из динамика раздался хорошо знакомый металлический голос: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция “Площадь Восстания”. Переход на Невско-Василеостровскую линию».

– Ха! – торжествующе выдохнул Евдокимов. – Считайте, что я вам ничего не говорил. И никакой бабушки у меня не было.

Ничего на это не ответил Кац. А только сказал:

– Зато моя мама, Анна Семёновна Иванова, была. И прошу вас об этом не забывать.

Поезд с воем втянулся в туннель и, лихо постукивая на стрелках, помчался назад, в родной Ленинград. Минут через пять он стал замедлять ход, и друзья, из дальних странствий воротясь, прильнули к окнам, желая насладиться знакомым пейзажем станции «Площадь Восстания». А поезд шёл всё медленнее и медленнее, потом же и вовсе остановился. Так прошло двадцать минут, затем ещё десять. Друзья попытались разомкнуть двери, но безуспешно. Впав в беспокойство, они начали стучать в стенки вагона, зачем-то дёрнули стоп-кран, который с подозрительной лёгкостью сломался, оставшись в руках Евдокимова. Евдокимов попытался пристроить кран на место, но, разумеется, из этого ничего не вышло. Отчаявшись, они начали кричать, и поезд, как бы сжалившись над ними, мягко тронулся с места и медленно пошёл.

¹ Ну что? У вас обеденный перерыв? (нем.)

– Слава богу! – сказал Иванов-Кац Фишу-Евдокимову, – а то у меня уже всякие, знаете ли, мыслишки зашевелились.

– Наверное, неисправность на линии, – успокаивая больше себя, ответил Евдокимов.

И в этот момент погас свет. В крошечной тьме поезд приближался к обещанной площади Восстания. Вдали послышался паровозный гудок.

– Вы слышали? – тихо спросил Евдокимов.

– Что именно? – не понял Кац.

– Паровоз.

– Ну и что? Здесь же Московский вокзал рядом.

– Но-о-о... – засомневался Евдокимов, – сколько я по этой линии ездил, не припомню, чтобы какие-то звуки с поверхности сюда проникали.

– А может, вам послышалось, – пожал плечами Кац.

– Но ведь и вам послышалось!

Против этого факта аргументов Кац не нашёл.

Тем временем поезд окончательно замедлил ход и остановился. На этот раз, как надеялись друзья, уже на самой станции. Но двери всё не открывались, и напрасно Евдокимов с Кацем вглядывались в тёмные окна – разглядеть всё равно ничего нельзя было. Особенно настораживала тишина на платформе. Создавалось впечатление, что они прибыли в гости к самому Аиду.

– Смотрите, смотрите! – воскликнул Кац, тыча пальцем в тёмное стекло.

Евдокимов посмотрел и увидел слабый, раскачивающийся свет.

Потом они услышали тяжёлые шаги и какое-то звяканье, точно идущие во тьме несли корзину с металлической посудой. Две тени появились у вагонной двери, хрустнул открываемый снаружи замок, дверь отворилась, и в вагон вплыл керосиновый фонарь. А вместе с ним – удушливый запах чеснока, самогона, какой-то овчинный, спёртый дух, аромат потных ног и немых тел. Вглядевшись в неверный свет фонаря, друзья увидели и хозяев этих богатств: серого солдата в папаше и перетянутого крест-накрест пулемётными лентами совершенно опереточного матросика в лихо заломленной на затылок бескозырке.

– Та-ак! – весело сказал матросик, скашивая глаза на модельные туфли Евдокимова. – Буржуи недорезанные. За границу собрались? А может на Дон, к Каледину?

– Вы о чём, господа? – побелевшими губами спросил Евдокимов. – К ка-ка-кому Ка-ка-леди-ну?

– Господа нынче все в Париже, – проскрежетал солдат и, сняв с плеча трёхлинейку, передёрнул затвор.

– А вот мы вас сейчас к стенке поставим, – ласково пообещал матросик, – и попадёте вы, господа хорошие, прямоком в штаб Духонина.

– Гы! – ощерился солдат, точно услышал новую остроту. – А они к Каледину хотят.

– Подождите, – вступил в разговор до сих пор молчавший Кац, – что у вас тут происходит. Это площадь Восстания?

– «Восстания, восстания», – передразнил Каца солдат, – не восстания, а Великой Октябрьской социалистической революции! Выходи по одному.

– А ну, скидай штиблеты! – резко меняя тональность, приказал матрос, – а то у нас братва босиком по насту...

Евдокимов рухнул на сиденье и трясущимися руками стал развязывать шнурки туфель.

– Братки, – спокойно спросил Кац, – а вы откуда?

Матрос вытащил из деревянной кобуры здоровенный маузер и, показав его Кацу, гордо ответил:

– Мы из Кронштадта!

Тут Кац сделал какое-то странное движение, двумя руками схватил матроса за руку с маузером, слегка присел, повернулся вокруг своей оси и... матрос, нелепо подпрыгнув, мелькнул в воздухе ногами в невероятных клёшах, а затем всем телом плашмя грохнулся на пол. Где и остался лежать, разинув рот и бессмысленно сверкая золотым зубом.

— Ты чего... ты что?... забормотал солдат, поражённый этим зрелищем. И тут же получил здоровенный удар открытой ладонью по носу, отчего кровяща хлынула двумя потоками прямо на его шинель, заставив забыть обо всём, кроме самого себя.

— Ну! — сказал Кац. — А вы чего тут расселись? Древней трёхлинейки испугались? И вообще... нашли время переобуваться. Пошли!

Они выскочили на перрон и побежали, сами не зная, куда.

— Что это было? — на бегу спросил поражённый Евдокимов.

— Айкидо, — лаконично ответил Кац.

— А вы никогда не рассказывали, что владеете айкидо.

— Случай не представился.

Евдокимов помолчал минуту и сказал:

— Теперь видно, что никакой вы не Кац.

Они остановились у входа в туннель.

— Наверное, придётся пешочком, — сказал взявший на себя инициативу Кац, — я подозреваю, что эти двое сменяли паровоз на махорку.

— Чёрт возьми, — заметил ещё не пришедший в себя от пережитого Евдокимов, — они ведь могли нас запросто прикончить.

— Ну а тем, кому выпало жить, — прыгнул с платформы на рельсы Кац, — надо помнить о них (он указал большим пальцем через плечо)...

— ... и дружить! — механически закончил Евдокимов.

И они, подворачивая ноги и спотыкаясь, неуклюже побежали по шпалам.

— Увидим ли мы когда-нибудь свет в конце туннеля? — задыхаясь от непривычной нагрузки, риторически вопрошал время от времени Евдокимов Иванова по матери.

— Это прерогатива умерших, а мы с вами пока что числимся по спискам живых, — отвечал на это всесторонне образованный Кац.

— Подождите! — Евдокимов остановился. — Тут какая-то лестница. Давайте подниматься. Хватит блуждать в потёмках! Мы должны подняться. Весь мир смотрит на нас со страхом и надеждой.

— Да? — выражая голосом сомнение, пощупал металлические поручни Кац. — Ну что ж, попробуем. Но только я ни за что не отвечаю. Пошли!

Он решительно поставил ногу на первую шаткую ступеньку и начал подниматься по крутой, уходящей в темноту лестнице. Евдокимов, пытая и чертыхаясь, полез следом. Минут через пять они услышали какие-то глухие, нечленораздельные звуки, сопровождаемые уханьем, похожим на отдалённый бой барабана. Постепенно, по мере приближения, звуки эти начали оформляться в невнятную музыку, а затем сквозь неё стали пробиваться отдельные слова: «...в своих свершениях... нам ли стоять на месте?..»

— Они правы, — сказал Евдокимов остановившемуся в нерешительности Кацу, — нам нельзя стоять на месте. Вперёд!

Музыка становилась всё более различимой.

«Нам нет преград!» — звенел молодой, наглый голос — «ни в море, ни на суше!!!»

Подстёгиваемые этими нахальными заявлениями, друзья из последних сил карабкались вверх. Они уже слышали топот и шарканье тысяч ног, какие-то возгласы, крики, грянуло всё перекрывающее громовое «ура!!!» А потом вдруг внезапно всё стихло — будто в их головах лопнул воздушный шарик. И в это мгновение Кац

и Евдокимов наконец увидели долгожданный свет в конце туннеля: голубое небо, забранное решёткой.

3.

В приёмной было многолюдно.

Эрот с Гименеем, треща крыльями и потихоньку переругиваясь, пристраивали в простенок между окнами афишу лекции «Гигиена брака». За этой процедурой с удовольствием наблюдал Данай, радостно гогоча каждый раз, когда Эрот плечом закрывал первый слог. Его дочери стрекотали, обсуждая туники от Версаче и переливая из пустого в порожнее.

Агамемнон громко ругал Ахилла, употребляя непарламентские выражения.

Брякая щитами, толпились воины Кадма. Изящные амазонки сидели на корточках и, косясь на табличку «Курить и плевать на пол запрещается», курили махорку и сплёвывали меж круглых колен на пол.

Пятнадцать спартанцев окружили Силу Ерофеича и вполголоса его в чём-то убеждали. Изредка оттуда доносились его вскрики: «Знатоки! Убивать надо...», «Селекция...», «Здоровее будете!», «А со скалы пробовали?» Остальные двести восьмидесят пять воинов терпеливо ожидали во дворе.

Фемида, мать Прометея, болезненно морщилась от шума, ежеминутно поправляя чёрную повязку, сползающую на глаза.

Из кабинета высунулся шеф. Бешено вращая круглыми глазами, он заорал:

– Что тут за махновщина?! Где Нестог? Где этот летописец хгенов?! Ко мне его!

– Это, Зевес Кронович, никак невозможно, – вежливо сказал Влас, аккуратно разрезая швейцарским офицерским ножиком яблоко Гесперид, – Нестор в Трои укатил. Так и катит сейчас в пыли, так и катит.

Шеф с грохотом захлопнул дверь.

На гнупом венском стуле у стены сидела женщина, красоту которой слегка портили тонкие губы. Рядом, держа на коленях огромный чемодан, сидел её муж Эпиметей.

– А где это ты вчера шлялся до трёх ночи, а? – шипела Пандора, ухитряясь в то же время строить глазки Агамемнону.

– Любопытной Варваре нос оторвали, – меланхолично отвечал Эпиметей, выбивая дробь на чемодане.

– В двенадцать ночи – звонок, – продолжала раскаляться Пандора, – я трубку сняла, а там дышат и молчат. Кто это тебе звонит по ночам?

– Кто, кто... Альфред Корто!

Держа на плечах огромного кабана, вошёл потный Геракл.

– Ага, – злорадно сказал Сила, – на правёж призвали?

Геракл угрюмо сопел.

– А ты не хулигань, живи по понятиям, – Сила, оглядев Геракла, украдкой потрогал свой тощий бицепс, – никакого сладу с тобой нет. Треножник у дельфийского оракула спёр. На хрен тебе треножник, я тебя спрашиваю?! Ты что, фотограф?

Геракл переминался с ноги на ногу и молчал.

– Вор, а ещё на мокрое пошёл! Стыдно перед коллегами! Ты за что Эвнома замочил, придурок?

– Так он, ета... воду пролил, – загудел Геракл, – а у нас, ета... воду отключили, ну я и... ета...

– Кабана вот в присутствие припёр. Теперь будет вонять тут, как в свинарнике.

Геракл, придерживая ручищами кабана за все четыре ноги, открыл было рот, но Сила не собирался выслушивать его объяснения.

– Знаю, что эриванский. Так что, ты к шефу так с кабаном и вступишься?

– Эриманфский, – поправил Влас, чистя ногти маленькой щёткой.

Увидев, что рядом с Фемидой освободился стул, Пандора пересела поближе к свекрови.

– А вы по какому вопросу, мама? – спросила Пандора, глядя в извлечённое из ридикюля зеркальце и охорашиваясь.

Свекровь передвинула чёрную повязку на лоб и мрачно посмотрела на Пандору:

– По личному.

– Тут слушок прошёл, – сказала Пандора как ни в чём не бывало, – что у деверя моего неприятности. Вроде шеф его на Кавказ командирует.

– Если знаешь, чего спрашиваешь?

– Вы бы, мама, повлияли на Прометея. Кому, как не вам, мама, наши греческие законы знать. Сын, конечно, за отца не отвечает, да и брат за брата вроде нет, но только это на бумаге. А по жизни может и не так выкатиться. Мой Эпочка пострадать ни за что ни про что может.

– Волнует тебя Эпочка, как же! – Фемида неприязненно покосилась на сноху.

– Тебе лишь бы нос свой повсюду совать. Скажи спасибо, что у меня зрение неважное, а то я бы на тебя Эпиметею глаза открыла.

Пандора капризно дёрнула плечиком.

– Не любите вы меня, мама.

– Ой-ой-ой! А ты меня просто обожаешь!

Свекровь натянула на глаза повязку и демонстративно отвернулась. Пандора, посидев для приличия ещё минутку, встала и, покачиваясь на высоких каблуках, направилась к Агамемнону.

– Хай, – мякнула она и повернулась вполоборота, чтобы Агамемнон хорошенько мог рассмотреть соблазнительный вырез на бедре.

– Здорово, девушка, если не шутишь, – Агамемнон покосился на вырез. – У тебя, девка, платьишко порвалось. Поди зашей, а то ходишь тут в непотребном виде.

Пандора, слегка порозовев, повернулась к воину другим боком.

– А вы по какому вопросу?

– С жалобой я. На Ахилла. Если бы ты знала, девушка, какая же он сво...

– Тс-с-с! – Пандора кокетливо прижала лилейный пальчик к губам Агамемнона.

– В моём присутствии попрошу не выражаться.

Суровый воин, почувствовав нежную женскую руку, потянул ноздрями воздух и потеплел лицом.

– Пуазон?.. У нас в Древней Греции все так выражаются. Даже дамы.

– Шанель номер пять, – ответила Пандора. – Нью-Йорк не Америка, Москва не Россия, а Олимп не Греция.

Она села рядом. Закинув ногу на ногу, позволила полам платья разойтись и, увидев вспыхнувшие глаза Агамемнона, удовлетворённо улыбнулась.

– А мы вот с мужем за подарком пришли.

– За подарком? А муж твой кто?

– Эпиметей.

– Братишка Прометеев, что ли?

– Он самый. Правда, они с братом не очень друг друга жалуют. Когда мы из канцелярии письмо получили о том, что для нас подарок приготовлен, Эпиметей аж в крике зашёл: «Бойтесь, кричит, данайцев...»

– А что, подарок от данайцев?

– Так в том-то и дело! Муж так и кричал: «Бойтесь данайцев!» А чего их бояться, господи-е! Мужики как мужики – всем им одно от нас надо. Только другие на халяву хотят, а данайцы, вишь, подарки дарят. Тут уж меня такое любопытство разобрало: а вдруг и для меня там что-то лежит.

«Эпиметей! К шефу!» – раздался в это мгновение зычный голос Силы Ерофеича.

Эпиметей с чемоданом в руках быстро пересёк приёмную и, подойдя к жене, поставил чемодан возле неё на пол.

– Пусть постоит здесь пока. Только смотри, Пандора, чемодан не открывай!

– А что у тебя там? Любовные письма? – подозрительно сузив глаза, зашипела супруга.

– Не твоё дело! Повторяю: в чемодан не лезть!

– Да сдался мне твой чемодан! Сто лет он мне в обед не нужен! Если у тебя хватает совести законной жене любовные письма на хранение сдавать, то пусть он ко мне стихами говорит! Нет, вы только посмотрите, люди добрые, – расплясаясь, повысила голос Пандора, – каков у меня муженёк!

Но Эпиметей в это время уже затворил за собой дверь в кабинет шефа.

4.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – “Тель-Авив”», – произнёс дельфийский оракул.

Прометей и Шурик в изумлении уставились друг на друга.

– Мойры! – весело сказал Прометей. – Заткались, сучьи бабы!

– Экспресс «Сионизм», – откликнулся Шурик, – вот те и новое направление!

– Ну ладно. Бельмондо, так Бельмондо! Приехали. А я, между прочим, – Прометей приосанился, – с Моисеем ихним, как с тобой разговаривал.

– Да-а? – удивился Шурик. – И что он сказал?

– Он вообще высокомерный мужик такой был. Слова цедил еле-еле. Через губу. Сказал, что с Богом знаком и что тот ему даже книжку подарил. С автографом. Но на меня это, честно говоря, никакого впечатления не произвело: подумаешь, он с Богом знаком! Я вот со многими знаком – и то не хвастаюсь.

– А что за книжка, не помнишь?

– Смутно. Какие-то исповеди... заводи. А может, проповеди... Там их десять штук было. Под одной обложкой.

– Слушай, – сказал Шурик, – а у них здесь море есть?

– А как же! Целых три.

«Тахана ракевет», – поведал загадочный полиглот, – «переход на линию Тель-Авив – Беер-Шева».

– Тогда пошли на пляж! – легкомысленно сказал Шурик и встал.

– Надо бы сначала о ночлеге подумать, – отозвался Прометей.

– Мне думать ни к чему. Денег ни копейки, никто не исполняет, не понимает. Вон даже Бунин, Иван Алексеич, – уж на что интеллигентный человек, да и тот над моей гениальной трубой измывается. Так что считай, что в отель нас с тобой не пустят. А знакомых здесь у меня нет, поскольку в мои времена и страны такой не было.

Прометей улыбнулся.

– Ну, положим, тебя тут многие знают. Вот, например, тут живёт один индус. Так он тебя, как облупленного, наизусть всего знает. А вопрос с отелем я улажу: кое-какие связи у меня и здесь есть.

– Индус? – удивился Шурик. – Йог? А как его зовут?

– Зубин Мета его зовут. Но тебе это имя ничего не говорит. Это естественно: он попозже родился.

– Любопытно! – Шурик поджал губы и сделал большие глаза. – Честно скажу: в том, что слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, я был с детства уверен. Но чтобы индус! Чудеса.

– Да, – тем временем задумчиво продолжал Прометей, – придётся заглянуть в мою записную книжку.

– М-гм, – бормотал он, слюнявя пальцы и пытаясь разодрать полуслипшиеся страницы, – вот, например, Кефей с Кассиопеей... Адрес... старый Яффо... телефон... ага! Попросимся к ним на обед. Они накормят. Если, конечно, что-то после свадьбы Андромеды с Персеем осталось.

В прохладном полумраке вокзала Шурик заметил бородатого мужчину в чёрном длинном пальто и шляпе, из-под которой вились кокетливые дамские локоны.

– Послушай, – сказал он задумчиво, – напрасно мы с тобой губу насчёт пляжа раскатали. У них тут холодно: смотри – люди в пальто ходят.

– Да нет, просто у них мода такая. Элегантная. Вот портфель, пальто и шляпа – значит, папа выходной, не уйдёт сегодня папа...

Они нашли маленький недорогой отель в самом центре, на улице Бен Йегуда. Пока Шурик принимал ванну, Прометей включил радио, и их убогую комнатку вдруг наполнил и осветил роскошный вальс. Прометей, человек суровый и не сентиментальный, настоящий боец, неожиданно почувствовал, как эта волшебная музыка завораживает его и покоряет.

– Вот оно, пламя, воспаляющее душу, – думал Прометей, – за это не жалко и на Кавказе пострадать. Шурик! Шурик, – позвал он, – ты не знаешь, что это?

– Эх ты, темнота, – ответил Шурик из ванны, – а ещё Прометей! Штрауса не знаешь. Это же *Rosenkavalier*. Красочная музыка... Хотя и шарлатанская.

– Хороший у Розы был кавалер, – вздохнул Прометей, – просто красавец!

– Ну всё, я готов, – сказал Шурик, взбив невысокий кок, – пошли знакомиться с местностью.

Пройдя коротеньким переулком, друзья вышли на набережную.

– Пойдём в Яффо, – сказал Шурик, – тут вроде бы недалеко. Говорят, красивое местечко.

– Кто говорит?

– Я на Олимпе как-то Персея встретил. Он от восторга прямо чуть ли не слюни пускал.

– Ещё бы ему не пускать – такую деваху там оторвал.

Некоторое время шли молча.

– Жарища-то какая, – заметил Шурик, – прямо хоть галстук снимай. А тот мужик, на вокзале... Помнишь?

Прометей кивнул.

– Так он и вовсе в пальто был. Что-то не пойму я эту страну. Если он летом в пальто, то что же он носит зимой?

– Да здесь таких знаешь сколько? Религия у них такая. На то, на то, – неожиданно и весьма легкомысленно спел Прометей, – и даётся им пальто!

– И давно они в пальто?

– Давненько. Вера-то их – довольно старенькая. Но наша, – Прометей самодовольно улыбнулся, – куда старше.

– Нашёл чем хвастаться, – сказал Шурик, – старухой. Верить надо в молодость! Вот моей вере всего две тыщи лет и она как новенькая. А ваш Олимп весь нафталином пропах.

– Да ну их всех в болото, – отмахнулся Прометей, – лучше пошли искупаемся.

На пляже было многолюдно и пестро. Евреи всех национальностей время от времени срывались с синих топчанов и отчаянно бросались в волны Средиземного моря. Можно было подумать, что их вызывает на ковёр Посейдон. В ровный рокот прибоя вплетались мелодичные звонки пелетонов.

Шурик стыдливо снял сюртук и панталоны, явив на всеобщее обозрение цельный купальный костюм в поперечную полоску. Прометей остался в античной повязке.

В это время мимо прошла обнажённая девушка. Узенькая лента едва прикрывала низ её плоского загорелого животика.

— Бесстыдница! — проводив её горящими глазами, сказал Шурик и надел котелок.

Едва они успели расположиться на синих топчанах, как перед ними внезапно возник бесконечно загорелый молодой человек. Он протянул руку и, приплясывая на раскалённом песке, лаконично произнёс: пять шекелей.

— Что он хочет? — спросил Прометей по-древнегречески.

— Ничего, — ответил Шурик на языке Колхиды. — Танцует просто.

— Денги давай! — настойчиво повторил молодой человек.

Тут выяснилось, что у Прометея никаких денег нет и сроду не было. А Шурик, чьи произведения были ещё никому не известны, был вообще беден, как Иов.

Пришлось устраиваться прямо на песке.

Порывшись в складках своей повязки, Прометей выудил оттуда кривую сигаретку.

— Последняя, — сказал он, встретившись с вопросительным взглядом приятеля.

В Старый Яффо вошли уже затемно.

— Да-а-а, — протянул Шурик, глядя на скалу, — это тебе не перина. У Андромеды, небось, вся спина — сплошной синяк. Представляешь, каково ей было в первую брачную ночь. Да и Персею тоже... Шутил, наверное: девушка, у вас вся спина синяя.

— Да помолчи ты, — с некоторой досадой сказал Прометей, — взгляни — красотища-то какая.

Очень быстро и, как это обычно бывает на юге, немного неожиданно упала и загустела синяя ночь. Земля на своём землином языке зашептала слова благодарности божественной прохладе: отпустило напряжение знойного дня. Они легли рядом на песке. Море ласково играло бирюзовою волной.

— А у нас в России, — сказал Шурик, — сейчас, небось, холодрыга вселенская. — Да у вас там всё не совсем как у людей, — живо отозвался Прометей. — Я там один раз побывал. Как раз в такую холодрыгу и попал. Ты прикинь, Шура: стою я в набедренной повязке у магазина «Сыр». А вокруг дамы в соболях. Я молодой тогда был, сложен, как бог. Или как некоторые из них. Женщины такие взгляды на меня кидали, что в Арканзасе их мужа меня давно бы застрелили. Тут подплывает ко мне мужчина в шубе на больших медведях и говорит: что же ты, мил-человек, голяком по Тверской-Ямской. Не по-нашему это как-то, не по-русски. У нас, говорит он, тут девушки танцуют голые — это бывает, это традиция такая. А мужчине это вроде как бы и не к лицу. Я смотрю на него, а сам чувствую, как сковывает ваш русский дедушка Мороз мои хладеющие члены. А что делать? Повязку на плечи не натянешь. Я попытался, не получилось. А мужчина в медведях посмотрел на них, на плечи и другие члены мои хладеющие, потом расстегнул шубу, скинул её к моим ногам и говорит со слезой в голосе: бери и помни, говорит, Савву. Мне теперь, говорит, шуба не понадобится — я ныне в театре у камелька греться буду. Там теперь моё место. Потому как никому Костик Алексеев не верит. Даже Вове Немировичу. Только мне. Он даже Хозяина уважать меня заставил. И лучше выдумать не смог. Планов у нашего Костика громадьё! Антигону будет ставить. Пока он всё это мне бухтел, я шубу с земли поднял, завернулся в неё, как через столетия будут римские сенаторы в тогу заворачиваться, пригрелся и даже подрёмывать стал... ну прямо, как ты сейчас. И вдруг слово до меня дошло: Антигона. Он Антигону ставить будет! А её ставить, брат, нельзя! Она даже мужу этого не позволяла. Её же класть надо! Я и говорю: слышь, говорю, мужик... как тебя там... Савва. Ты меня с тем, кто нашу Антигону ставить собирается, поближе познакомь: я ему расскажу, что с ней надо делать. В крайнем случае и показать могу. Только я это на людях делать не очень люблю. И вообще, вы бы со мной посоветовались, говорю, прежде, чем в наш древнегреческий огород лезть. Вот

так, Шура, я и попал во МХАТ. И что меня там особо удивило, так это всеобщая дружба и национальный состав труппы: все русские. Я один среди них грек. И ещё какой-то Шверубович. Остальные — точно русские. Взять, к примеру, Ольгу Леонардовну Книппер. Там к бабке ходить не надо. Между прочим, та ещё штучка, скажу я тебе. Муж в Анапу, а она — к Глазенапу. А главный режиссёр и постановщик всяких опасных трюков у них непростой был мужичок — с коготком! Тоже из ваших. Из русских, из российских, из славян. Фамилию и не выговоришь: Жужу... Жду... Джужу... Джугашвили. Вот дьявол! Плюнешь три раза, да и перекрестишься — каких только фамилий на вашей Руси нет. — Чего это ты креститься вдруг задумал? — вяло спросил Шурик.

— Фигура речи. Действительно — чего бы это мне, древнему греку и титану, вдруг креститься вздумалось. Это я, извини, слегка вперёд забежал. Забыл, какое у нас нынче тысячелетие на дворе. Греки-то креститься попозже начали... Да и вообще, я не об этом. Вот возьмём, опять-таки скажем, Грецию. Древнюю, конечно. У нас кто в теремочке живёт? Одни греки. Едут греки через реки, видят греки: в реке Гракх... Мама грек и папа грек, а сын — турецкий человек. Шучу, шучу. Эта шутка очень популярна на Кипре. Я часто с нею там выступал. Зато у вас в России... Кого только у вас там не было, кто только там у вас не погулял! И немцы, и французы, и поляки, и шотландцы с эфиопами. Даже евреи! Этих-то какой чёрт туда занёс?! О татаро-монголах я и вспоминать не хочу — это общее место. А вы что-то там о чистоте расы бормочете. Окститесь, ребята.

— Неправда! — от негодования Шурик даже встал. — Я абсолютно русский человек!

— Ты-ы? — протянул Прометей, измеряя Шурика взглядом гробовщика. — Ты? Ну ты — может быть. Как исключение.

— Вот то-то мне и обидно, — продолжал Шурик, — что человек я русский, а композитор — нерусский.

— А какой же? — удивился Прометей.

— Нерусский, да и всё тут. Так критики считают. Раз, мол, он «Калинку» в свои опусы не вставляет, значит нерусский. Я уж им и паспорт показывал, и метрику родителей. Ничего не помогает! А один даже упрекнул меня тобою: чего это он, дескать, со своим «Прометеем» (с тобой, значит) как дурень с писаной торбой носится? Сразу видно, мол, что не наш. Наши люди в булочную... И пошла писать губерния! А ведь я им, дуракам, хочу про тебя, про твой подвиг рассказать.

— Какой такой подвиг? — Прометей хмуро взглянул на Шурика.

— Что значит «про какой»? Можно подумать, что ты этих подвигов чёртову уйму настрогал. Скажите, какой Геракл! Тебя в моём присутствии шеф предупреждал? Я его слова отлично помню.

— Ты больше его слушай. Наш картавый порой такое говорит, что без амброзии не разберёшь. А кстати, что ты имеешь в виду? В данном случае?

— Прикуривать — пожалуйста, а огонь в руки не давай! Вот что он сказал. И предупредил, что в случае чего в асфальт тебя закатает.

— Ой-ой! Напугал. «В асфальт». Какой асфальт? Они там на Олимпе асфальта никогда не видели. Вот если бы они штаб-квартиру на Везувий перенесли, тогда да. И вообще, слова Кроница надо на семнадцать с половиной делить. Ну дал я им... то есть вам огня. Ну и что? Что случилось-то? Чего крыльями-то трещать? Спалили они кого? Вот ты, Шура, человек современный, вот ты скажи — спалили?

— Пока нет. Но стараются изо всех сил. Видишь ли, Прометеюшка, не сразу дело делается. Они в каждом столетии репетируют.

— Э! Пока они им пользоваться научатся... Но вот самого главного они-то и не поняли. Это только шеф понял. Я ведь им не просто огонь дал — я им огонь творчества подарил. Вот из-за чего Зевес озверел. Раньше богов сколько было? Двадцать? Тридцать? Я не считал. Да это и неважно. Потом сокращение штатов

произошло: остался один. А теперь их миллионы. Каждый стал богом. Пусть ненадолго, пусть на время, что ему Парки отпустили. Но богом!

– Что ты несёшь? Выходит, что и я бог?

– Конечно, Шура. И один из самых главных. В вашей человеческой иерархии, так же, как и в олимпийской, боги по направлениям и специальностям разделены. Вот у нас как? Скажем, Арес – бог войны. Он про войну всё знает. Подкован, как бог, – от всех видов оружия до тактики сражений и стратегии ведения войны. Он самый лучший специалист в этой области. Или вот Деметра – богиня плодородия. Никакой Мичурин и рядом не стоял. Она такие чудеса выращивает! И у вас, у людей, также. Например, Александр Филиппыч... фамилия из памяти вылетела, что-то по звучанию польское. Он ваш бог войны, человеческий Арес, так сказать. И в твоей специальности, Шурик, тоже богов достаточно. И каждый по-своему божественен. А табель о рангах – это от лукавого, это человечки придумали. Бог Бах! Бог Моцарт! Бог Кинцлах!

– А кто это такой? – удивился Шурик.

– Ты ещё не знаешь. Это здесь, в Петах-Тикве, через сто двенадцать лет родится. Большой композитор, настоящий гений. Но что я сказать хотел?.. А-а, да! Так вот: среди композиторов Зевеса нет. И слава богу!

– К-к-какому богу? – робко спросил Шурик.

– А чёрт его знает!

Они замолчали. Душная ночь едва шевелилась над их потными телами. Тысячекратно всеми поэтами описанные звёзды назойливо сверкали, мешая наслаждаться глубочайшей бархатной чернотой южного неба. Вдруг Прометей поднял голову и прислушался.

– Ты слышишь? – спросил он.

– Что? – вяло отозвался засыпающий Шурик.

– Ты слышишь гул?

– Да нет. Какой гул? Ничего не слышу. Не мешай, Прометей, я спать хочу.

Но Прометей, не обращая внимания на слова своего приятеля, встал. Шурик с удивлением наблюдал за тем, как Прометей нервно поворачивал голову, пытаясь уловить звук, который он сам не слышал. Вдруг он наклонился и схватил Шурика за плечо.

– Вставай, Шура! Скорее! Надо бежать!

– Куда бежать, Прометей, ты что? Мы же только приехали.

– Всё пропало, Шурик, – вдруг отчаянно закричал Прометей, – теперь всем кранты! Бежим!

Страх, который внезапно охватил смелого Прометея, передался и Шуру. Он вскочил на ноги и в это мгновение услышал гул, о котором спрашивал Прометей. Это был тихий, очень низкий звук, и это действительно было очень страшно. Они побежали вдоль моря.

– Что это? – спросил он на бегу.

– Эта дура, – делая гигантские прыжки, бормотал Прометей, – открыла чемодан.

– Какая дура? – задыхаясь и едва поспевая за Прометеем, спросил Шурик, – какой чемодан?

– Пандора, невестка моя, – ответил Прометей. – Теперь даже Зевес не поможет. И никто не поможет. Лежать мне на скале, а орёл уже вылупился из яйца. И родине твоей не поздоровится, Шура: ветер, сам видишь, какой – южный. Да и тебе, сынок, долго не жить. Правда, бессмертие в пределах человеческой цивилизации тебе обеспечено. Но как долго будет она длиться, теперь уже никто не знает. Ящик, проклятый ящик!

– Какой ящик?

– Ну, чемодан. Какая теперь, в жопу, разница?!

5.

– Ну и куда это мы с вами попали? – тяжело дыша, спросил Кац. – В Питер?
– Да непохоже, – хрипло ответил Евдокимов.

Он стоял на плечах Каца, пытаясь что-то разглядеть сквозь решётку.

– Что там видно? И давайте поскорее – я ведь не нижний в цирке.

– Сейчас... сейчас, – пыхтя, отозвался Евдокимов. – Я пытаюсь решётку выдавить.

Это ему удалось. Решётка, отвратительно заскрипев, выпала из своего гнезда и, судя по удаляющимся звукам, покатилась куда-то вниз.

– Потерпите ещё секунду, – сдавленно бормотал Евдокимов, – я сейчас попытаюсь выбраться наружу.

Это ему тоже удалось. Через секунду в отверстии появилась его голова, а затем и рука, в которой был зажат брючный ремень.

– Цепляйтесь, коллега, – сказал Евдокимов. – И вылезайте. Вы очень удивитесь.

Кац ухватился за ремень и, спортивно подтянувшись, ловко выбрался наружу.

Приятеля оказались на склоне какой-то горы. Судя по всему, где-то посередине её. Далеко внизу были видны зелёные луга, по которым в различных направлениях медленно передвигались какие-то микроскопически малые белые и чёрные предметы. Воздух был чист, ароматен и прозрачен. Только на горизонте виднелось что-то вроде синей тучи.

– Море, – указывая рукою на тучу, сказал Кац.

– А это что? – Евдокимов смотрел на передвигающиеся по зелёному фону предметы.

– Судя по всему, овцы. Где же это мы с вами очутились, хотел бы я знать. Давайте проведём мозговой штурм.

– Давайте, – легко согласился Евдокимов. – Только сначала взбодримся после тяжёлого перехода.

Он сунул руку в боковой карман и извлёк её уже с бутылкой.

– Откуда? – искренне удивился Кац. – Я думал, что мы ещё в метро всё приговорили.

– Вы помните, что Миша сказал?

Кац отрицательно покачал головой.

– Он сказал: но у нас с собой было. Это, Толя, не просто слова – это магический ключ к пониманию загадочной русской души. Лягушатникам, макаронникам и всяким там фрицам надо не диссертации об этом предмете писать, а суть этой глубочайшей мысли постигать. Потому что у нас с собой всегда было, есть и будет! На том стояла...

– Ладно, кончайте демагогию, – прервал его грубый Кац. – Извлекли, так наливайте.

Постучав по карманам, Евдокимов нашёл те же складные стаканчики, затем удручённо покачал головой и сказал:

– Вот только закуси нет. Придётся без поддержки тыла.

– Ничего. Главный компонент имеется, а остальное – вопрос воображения.

Они выпили. На душе посветлело.

Обратите внимание на пейзаж, – слегка ёрничая, сказал Кац, – как говорили в Одессе, «здаёца мине, шо ми у в Грэции».

Этим наивным шутовством Кац хотел прикрыть страх, который почему-то внезапно охватил его.

– А почему не «в Швэции»? – передразнил его Евдокимов.

– Чуй у меня есть, понимаете? Чуй! Эти горы, покрытые утренним туманом, это синее море у кромки горизонта, овечки с не видимым нам пастушком – всё это чисто греческая античная идиллия. Или пастораль – как вам будет угодно. Я

вам больше скажу. Посмотрите на гору, на склоне которой мы находимся. Взгляните вверх. Видите там что-нибудь?

Евдокимов взглянул.

— Не видите, — продолжал Кац. — И не должны. Потому что вершина Олимпа седого сокрыта от взоров нескромных шапкою облачной пены. И только лишь Трои герои допущены были пред очи святого Зевеса.

— Это что, гекзаметр? Да вы, чёрт побери, поэт! Вот уж не знал, что пью с небожителем. Может, вы ещё и нобелевский лауреат?

— Может быть, — ответил, потупив свой взор, небожитель Кац. — Может быть. В недалёком будущем.

— А почему же вы никогда об этом не рассказывали?

— Случай не представился. Но чу! Пора. *La strada* нас зовёт. Куда направим свои стопы? Вверх? Вниз?

— Давайте рассуждать логически, — предложил Евдокимов.

— Давайте, — не стал упрямыться Кац.

— Что мы видим внизу на этой красивой картинке? — речь Евдокимова обрела учительские интонации. — Мы видим овец и лужок, а также угадываем где-то в кустах наличие «моводеньского» пастушка. Присутствует ли здесь Санкт, как вы уже знаете, Петербург?

Кац отрицательно мотнул головой.

— Следовательно, или, как говорили древнеископаемые народы, *ergo*, нам вниз не надо. Нас там никто не ждёт. Значит... всё выше и выше, и вы-ше стремим мы... — внезапно громко спел Евдокимов.

— Ладно, — перебил его приземлённый Кац, — пошли.

И они стали подниматься по довольно узкой, серпантином выходящей вдоль горы тропе, на которой они загадочным образом очутились. Идти было довольно страшно: справа их тянула к себе бездна, а сама тропинка была скользкой из-за недавно прошедшего дождя. Помимо этого, с каждым их шагом она становилась всё круче и круче.

— Подождите, — сказал, слегка задыхаясь Евдокимов, — давайте немного отдохнём, а то я уже начинаю чувствовать разреженность воздуха.

— Извольте, — согласился Кац.

Разбивать лагерь было негде, поэтому друзья просто опустились на землю.

— Всё это, — сказал Евдокимов, которого потянуло на философию, — символизирует жизнь человеческую. Карабкаться по скользкой дороге вверх — вот смысл нашего существования. И что самое удивительное при этом: мы не можем устоять перед всепобеждающим инстинктом и лезем, не имея ни малейшего представления о цели. А может, нас там ждёт сильнейшее разочарование? Или, что ещё хуже, — смерть? Но остановиться? Нет, только вперёд, пускай на мины. Что вы по этому поводу думаете, Толя?

— А можно я отвечу не по-русски?

— Разумеется, — любезно согласился Евдокимов.

— Киш мир ин тухес!

— Это на каком языке? — полюбопытствовал Евдокимов.

— Это на благородной латыни еврейского местечка.

— Ага! И что это значит? Переведите.

— Каждый Фиш должен **это** понимать без перевода. Не морочьте мне голову вашими неуместными измышлениями. Мы идём вверх, потому что вверх, как это ни странно, идти легче, чем вниз. А кроме того, то, что находится внизу, мы в общих чертах видим. А верх скрыт за облаками. Мы с вами попали в какой-то сумасшедший мир, и я не исключаю, что выход из него именно там.

— Погодите! — вдруг поднял руку Евдокимов. — По-моему, кто-то идёт.

И действительно, из-за поворота доносились шаги. Кто-то шёл вниз, им на встречу. Друзья поднялись с земли и напялили на лица вежливые улыбки. Из-за поворота вышел невысокий мужчина крепкого телосложения. На нём был надет чёрный облегающий комбинезон. В руках мужчина держал короткоствольный автомат с каким-то устройством, напоминающим глушитель. Кац с Евдокимовым окаменели. Мужчина шёл прямо на них, будто их и вовсе не было. Вдруг он, глядя мимо, коротко повёл стволом своего автомата и сказал:

– Step aside².

– Чего? – переспросил Евдокимов.

Мужчина повернул голову к нему, его взгляд стал более или менее осмысленным, и он повторил с точно такой же интонацией:

– Step aside.

В этот момент пришёл в себя Кац.

– Whats the matter³, собственно? – спросил он.

– Get out and do not talk⁴, – ответил мужчина и привычным движением передёргнул затвор.

С этим аргументом спорить было сложно. Друзья прижались спинами к отвесной стене, а мужчина, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. В этот момент послышался шум шагов, глухой говор и из-за того же поворота вышла довольно большая группа людей – мужчин и женщин. На них была обычная европейская одежда. В самой серёдке этой группы шёл человек стандартной внешности, ничем не отличающийся от своих спутников. Но чувствовалось, что именно к нему тянутся их души, взгляды, руки и мысли.

– Послушайте, – глядя на этого человека, зашептал Евдокимов, – вы знаете, кто это? Это же Джордж Буш!

Кац пожал плечами.

– Ну и что? – равнодушно спросил он.

В это время группа поравнялась с Евдокимовым и Кацем.

– Хау ду ю ду, мистер президент! – в порыве антипатриотических верноподданических чувств воскликнул Евдокимов.

Буш вскользя взглянул на него, махнул рукой и прошёл мимо.

– Ду ю спик англиш? – прошептал ему вслед Евдокимов.

Кац расхохотался.

– Ну и произношение у вас, – сказал он, отсмеявшись. – Кто ставил?

– Раиса Яковлевна Шкурко, учительница средней школы посёлка Песочное Ленинградской области. Только она, я думаю, даже не подозревала о том, что есть такое понятие.

– Слава советским учителям! – экстатически воскликнул Кац.

– А вот вы, – сказал Евдокимов, – славно по-американски чешете. Я и не знал. Только не говорите, что случай не представился.

– Но ведь так оно и есть. Не каждый день, прогуливаясь по Олимпу, встречаешь президента Соединённых Штатов.

– А интересно, откуда это он шёл, – задумчиво проговорил Евдокимов.

– Однако вы сноб – какая вам разница? Сколько лет знаком с вами, но вы никогда не говорили, что болеете этой распространённой болезнью.

– Случай не представился.

Кац оценил шутку, улыбнулся и сказал:

– Пора подумать о хлебе насущном. Пошли.

² В сторону! (англ.)

³ Что случилось? (англ.)

⁴ Отойти и заткнуться! (англ.)

И приятели осторожно побрели вверх по крутой и скользкой дорожке. Так шли они довольно долго, пока не добрались до развилки.

— А теперь куда? — спросил Евдокимов. Он очень устал, измучился. Хотелось есть, пить, спать и очень хотелось домой к маме.

— Мама, наверное, уже все больницы обзвонила... Послушайте, Толя, хватит бодриться и притворяться, что нам это всё страшно интересно. Мы попали в какую-то странную временную петлю и боюсь, что нам из неё не выбраться.

— Видите ли, — ответил железный Кац, — время — это тоже понятие относительное. Так что я не исключаю, что для вашей мамы оно в данный момент течёт как-нибудь иначе. Не мучьте себя этими мыслями — они непродуктивны. Соберитесь с силами, мы уже почти у вершины. По крайней мере, облако, которое её покрывает, прямо над нами, его можно рукой потрогать. Я советую вам, прежде чем мы, сделав несколько шагов, войдём в него, снять брюки.

— Зачем?

— Махнёте ими, и получится облако в штанах.

— Отличная идея, — ухмыльнулся Евдокимов. — Только вот непонятно, куда идти: дороги-то две.

— А мы сейчас бросим монетку. Если орёл, пойдём по правой, а если решка...

Но бросать монетку не пришлось, потому что в этот момент как раз на левой дороге появились две фигуры и направились к развилке.

— Послушайте, Толя, — сказал Евдокимов, вглядываясь в приближающиеся фигуры, — а ведь я их где-то видел.

Пока он раздумывал, высокий кудрявый мужчина подошёл к нему и сказал:

— Сегодня у шефа хлопот полон рот. Он зол, как пёс. Так что если у вас не очень срочно, лучше к нему сегодня не соваться.

Евдокимов остолбенел от неожиданности и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но сообразительный Кац выразительно наступил ему на ногу и, любезно улыбнувшись, спросил очкарика:

— А что, собственно, случилось? Мы такой путь проделали. Не идти же обратно!

— Мы тоже не из-за угла вышли, — вмешался в разговор худенький шатен, чей идеальный пробор вызывал изумление, — мы от самого Яффо пешкодралом чешем.

— Вспомнил! — громко сказал Евдокимов. — Мы с вами вместе в метро ехали. Помните, в Берлине. Вы ещё спали в вагоне. Какая удивительная встреча. В любом случае, раз уж мы все вместе оказались здесь, позвольте представиться. Моя фамилия Евдокимов. А это мой друг Толя Кац.

— Очень приятно, — улыбнулся кучерявый. — Прометей. А это мой юный друг Шура Скрябин.

— Как же, как же, фамилия известная. Вы кем Вячеславу Михайловичу приходиться? Внучатым племянником?

— Насколько мне известно, родственника, носящего такое имя, у меня нет, — задрал свой курносый нос, высокомерно произнёс Шурик.

— Ну, на нет и суда нет, — примирительно сказал Кац. — А вы кто по специальности?

— Он у нас теург, — вмешался кудрявый. — Музыка сфер и всё такое прочее. Он как мою зажигалку увидел, когда я ему прикуривать давал, так сразу «Поэму огня» написал.

— Какую поэму? Какого огня? Не читал, — некстати влез необразованный Евдокимов.

— Не позорьте меня, интеллектуал, — шепнул Кац.

И продолжил, обращаясь к Прометею:

— А к шефу мы всё же пойдём, потому что у нас нет выбора. Кстати, как туда пройти? Дело в том, что несколько лет назад я был там, но слегка подзабыл.

У простодушного Евдокимова челюсть отвалилась до самых колен.

— Я и не знал, что вы побывали на Олимпе, — шепнул он. — Почему же вы никогда об этом не рассказывали?

— Случай не представился. Так как туда пройти?

— А это просто, — отозвался Прометей. — Идите прямо по этой тропинке, пройдёте между Сциллой и Харибдой (они сейчас не опасны — в отпуске, сушатся, солнечные ванны принимают), потом Дельфы будут. У оракула спросите. Только вы его слова на семнадцать делите, когда он про ваше будущее толковать начнёт. Скажу вам по секрету: это всё для слабонервных. Никакого будущего он не знает. Его никто не знает, даже сам шеф. Невозможно знать то, чего нет и никогда не было. Я так считаю: будущее — это конечное звено гигантской цепи длиной в пять миллиардов лет. А ещё есть у нас такая теория: любое будущее — это смерть. Жутковато, да? Что делать, если правда горька, как полынь. Поэтому все друг другу врут.

— И вы? — спросил Кац.

— Конечно! А чем я сейчас занимаюсь? Вру с три короба, а вы уши развесили. Ладно, дальше поехали. Значит, проходите вы мимо оракула, направление он вам укажет — это не будущее, это он знает. Попадёте в долину, которую окружают острые скалы. Дальше пути нет. Вам надо будет найти узенькую щель в одной из скал — там раньше винный магазин был. Как в неё втиснетесь, увидите огромную пещеру, а в ней множество людей с копьями. Это воины Кадма, охранники. Хреновые, я вам скажу, охранники. Время-то какое наступило, а они всё с копьями, с дрекольём этим. Правда, они количеством берут. Ну вот, вы мимо них идёте, ни на какие вопросы не отвечаете. Да и не поймёте вы их вопросов на древненижнегреческом. В углу старенький лифт увидите. Он прямёхонько в приёмную вас и привезёт.

— Спасибо, господин Примитеев. Правильно я расслышал вашу фамилию? — прижал обе руки к сердцу Евдокимов. — Мы хотим прошение в высшую инстанцию подать, чтобы нас в Питер вернули. А то мне уже хочется удавиться этой петлёй времени.

— Это всё, — сказал до сих пор молчавший Шурик, — из-за слабости духа. Вот посмотрите на моего друга (он указал пальцем на кучерявого очкарика) — воплощённая воля, убеждённость в собственной правоте и готовность к самопожертвованию. Я долго думал, как его писать. И понял: не должно быть никаких разрешений в консонанс — только гармоническое шестизвучие!

Евдокимов переглянулся с Кацем.

— Ну, мы пошли, — нерешительно сказал он.

— Конечно, конечно! — закивал головой Прометей. — Вы на моего Шуру внимания не обращайте. Для того чтобы его понять, надо гороху накушаться... или очень сильно музыку любить. Потому что он бог. А божий промысел, равно как и слова, божественными устами глаголемые, человеку не дано понять. Шурика даже наш Кроныч чуть ли не за равного держит. Хотя и спуска не даёт. Значит, вы, ребята, поняли, куда идти? А то подумайте ещё: там, наверху, очень опасно.

— Нет, пойдём, — сказал Кац. — Выхода у нас никакого — или грудь в крестах, или голова в кустах.

— Второе куда более вероятно, — дружелюбно заметил Шурик.

Он кивнул Прометею, и они пошли по скользкой тропинке вниз. Евдокимов с Кацем смотрели им вслед.

— Какая удивительная встреча, — задумчиво сказал Кац.

– Ха! – воскликнул Евдокимов. – А то, что с Бушем только что повстречались, вас не впечатлило?

– Поклал я на вашего Буша, – всё также задумчиво заметил Кац, – с приборием.

– Эй! – донёсся крик снизу. Приятели узнали голос Шурика. – Эй, мужики! Забыли вас предупредить. Имейте в виду – Пандора, черти бы её побрали, чемодан открыла.

– Какой чемодан? – засмеялся дремучий Евдокимов. И страшно удивился, увидев, что его друг побелел и затрясся.

– Да вы чего? – спросил он.

– Ничего, – тяжело дыша, ответил Кац. – Пошли! Хотя теперь, если ветер в нашу сторону дунет, не дойти нам.

6.

– Вот ты всё чаем надуваешься, мышей не ловишь и за событиями не следишь, – говорил, попыхивая сигареткой, Влас Тимофеевич. – Смотри, как бы тебе шеф полную отставку не дал.

– Мне отставку?! Да ты, Влас Тимофеевич, смеёшься! Кто ему молнии его заряжает? А гром кто записывает? Да его положение на мне, как памятник на цоколе, стоит. Он без меня... Да он без меня просто фокусник провинциальный. Это я его громовержцем сделал, я его на трон посадил. А в случае чего могу оттуда и попросить. Вон кандидатов на такую хлебную должность как собак нерезаных: Иегова на низком старте стоит. А за ним очерединка аж до самого Пелопонеса выстроилась – и Иисус, и Мухаммед, и Будды всевозможные. Не говоря уже о таких, как Ра, – оч-чень серьёзный мужчина. А я всем им нужен. Даже такому безобидному, как Иисус.

– Осади назад! Нашему Кронычу ещё несколько сотен лет в этом кабинете штаны просиживать.

– Ну и тем лучше: значит, мы с тобой ещё долго без работы не останемся, – сказал Сила Ерофеич и потянулся к заварному чайнику. – Хотя знаешь, – продолжил он, журча струёй, – я иногда думаю: ведь Греция-то Древняя не вечна – уже Древний Рим из-за горизонта выглядывает.

– Уж чего-чего, а Древнего Рима нам с тобой бояться не надо.

– Что так?

– Ты уж мне, Сила Ерофеич, поверь – в нашем ведомстве ничего не изменится. Только некоторые переименования произойдут. Ну, это процесс известный. Вот, например, Россия – наша с тобой праисторическая родина – одними переименованиями и живёт. К примеру, был царь, а стал секретарь. А потом и вовсе какой-то непонятный президент – слово-то совсем чужеземное. Что изменилось? Был Санкт-Петербург, потом Петроград, потом Ленинград, теперь опять назад поехали – Санкт, видите ли, Петербург. Меньше, чем на святость, они там не согласны. А главное, чтобы слово покрасивше, поиностраннее было: «прэзидэнт», «Санкт-Петербург». Но что по сути изменилось? Вот и у нас произойдёт то же самое: Зевес Кроныч имя поменяет, станет Юпитером. А за ним все остальные, как обезьяны: Афродита станет Венерой, Арес – Марсом, Гера – Юноной. Вот только мы с тобой, старый друг, как были Силой и Власом, так ими при любых наименованиях и останемся. Настоящее не меняется.

– Да, ты прав! Я это ещё в Главке заметил.

– В каком главке?

– В какой, – поправил Влас.

Помолчали.

– Напрасно ты про Россию вспомнил, – сказал Сила Ерофеич. – Что ты там ни говори, а у меня за неё душа болит.

– А у меня, можно подумать, не болит. Порою хочется всё бросить к известной матери и напрямик в Москву. Я бы там в шесть секунд ажур навёл.

– Нельзя. История не канава – не перепрыгнешь. Всё должно идти своим чередом.

– Да знаю я, – скривился Влас Тимофеевич. – Кабы не это, только бы меня здесь и видели. Дичь, деревня. Развлечений ноль. Сиди, кури. А меня, между прочим, минздрав лично предупредил.

Послышался шум, двери обшарпанного лифта разъехались, и в приёмную робко ступили два человека. Даже решительный Кац был ошеломлён размерами этого помещения: приёмная была практически бесконечной.

– Вам чего, молодые люди? – строго спросил Влас Тимофеевич.

– Да мы шефу заявление принесли, – вдруг подал голос Евдокимов.

– О чём заявляете? – проскрежетал Сила.

– Домой хочу, – замирая, прошептал Евдокимов, – к маме.

– Ну и кто вас здесь держит? Идите... к своей матери.

– А ты? – обратился Сила Ерофеич к Кацу. – Ты к маме не хочешь, мидовская твоя жорда?

– Прекратите, коллега, – брезгливо скривился Влас Тимофеевич. – В своём происхождении юноша не виновен – дети за отцов не отвечают.

– А кто должен за них отвечать? Ладно, Иванов по матери, сядь тут в сторонке, не отвсечивай. Заявление сюда давайте, шеф позже рассмотрит. А ты чего застыл, как холодец? Да-да, я к тебе обращаюсь, скрытый Фиш. Сядь рядом с другом, и чтоб ни звука! Поняли, вы оба?

– Где же ваше айкидо? – зашептал Евдокимов, усаживаясь на неудобный табурет.

– Какое тут, на хрен, айкидо! Вы что, не видите, с кем мы дело имеем?

Раздался мелодичный щелчок – это Влас достал из портсигара очередную сигаретку.

– На чём мы остановились? – спросил его Сила Ерофеич.

– О России говорили, – ответил Влас.

Выпуская дым, он щёлкал себя по щеке, и сиреневые аккуратные кольца медленно поднимались к потолку. Сила проследил за ними взглядом и сказал:

– Скука. Недавно тут бабы наши заспорили, кто из них сексуальнее. Поначалу вроде в шутку, а потом так разошлись, что хоть святых выноси. Начали юбки задирать, ноги показывать. Афродита вообще до пояса разделась.

– Топлес? – лениво спросил Влас Тимофеевич.

– Какой там лес! Прямо в приёмной!

– Ну и кто оказался сексуальнее?

– Да чёрт их знает! Мне – так ни одна не понравилась. Вот помню, как-то довелось мне побывать в Курской области. Так там в колхозе Ильича была одна – помощник ветеринара по искусственному осеменению коров... Вот это была, скажу я тебе, женщина! Одни груди по полпуда. Об остальном даже вспоминать больно. А эти... одна лапша. Ну, я судить их отказался, а тут по коридору молодой военный проходил, летёха зелёный. Я его к этому делу и приспособил. Он из-за баб наших слюнями весь мундир обмочил. Вместе с орденами. А как Афродитины сиськи увидел, так сразу её и выбрал. Хотя, скажу я тебе, – смотреть там не на что. Так что теперь, благодаря этому летёхе, Афродита у нас тут самая-пресамая. Гера, конечно, озверела. Да и Афина тоже осталась недовольна. Даже пообещала этому Борису при случае яйца мечом отрубить – куда только мудрость её дедалась.

– Парису, – поправил Влас Тимофеевич.

Стуча копытами, в углу топтался Хирон. Ему хотелось в туалет, но бежать на зелёный лужок было ломотно.

— До каких пор, — бормотал он, пытаясь задним ходом вдвинуться в персональный сортир шефа, — будет продолжаться эта дискриминация по видовому признаку. — И я ещё должен был Геракла воспитывать! Ну и воспитал, конечно, дикаря. А как иначе я мог? Тут на собственных примерах не очень-то разъездишься. Сказал ему как-то, что после посещения туалета надо мыть руки. А он в лицо мне рассмеялся: тебе-то, говорит, зачем руки после туалета мыть, если ты ими до хвоста не достаёшь. А как речь о сексуальной культуре зашла, у меня совсем руки опустились: я ему только одно положение показать и смог. А он мне в ответ... Привёл свою Деяниру — он тогда с ней только женился — и такую Камасутру показал, что у меня комплекс неполноценности открылся: и сверху, и снизу, и сбоку-припёку. А в заключение ещё кое-что: теперь, говорит, папаша, будет тебе продемонстрирован сеанс французской любви. Мне только и осталось сказать: ты, сынок, напрасно думаешь, что это французы выдумали. Тут ты, сынок, ошибаешься — древние греки, скажу я тебе, тоже кой-чего умели. А ученик мой упёрся: нет, дескать, это импортная вещь, мне по благу достали. Схватились мы с ним, а он, конь здоровый, свалил меня, ногу на меня поставил и говорит, признавай, старый осёл, своё поражение. Пришлось признать, а что было делать — вон он какой бычара, посмотрите на него. Теперь из-за этого всё культурное человечество в заблуждении находится. До чего дошло — яйца кур учат! Так он, гад, на этом не успокоился — потребовал, чтобы я ему свой портрет подарил, а на нём надпись сделал: «Победителю-ученику от побеждённого учителя». Пришлось ещё одно унижение пережить: идти на поклон к этому голоному мальчишке Фидию и упрашивать его, чтобы он мой скульптурный портрет лепил — лепила, блин! Мало того — потом на этом барельефе мне пришлось ещё эту дурацкую фальшивую надпись кайлом вырубать. Эх-э-хе, грехи наши тяжкие!

Горестно вздыхая, Хирон отошёл к противоположной стене: туалетом воспользоваться ему не удалось — круп не влез.

— Толя, — шёпотом говорил Евдокимов, — они нас не замечают. Что делать? Как к шефу пробиться?

— Давайте без паники, — морщился Кац, — должен же быть какой-то выход. А если он есть, мы его найдём. Я считаю, что самое главное — это дождаться наших новых знакомых. Может быть, они нас представят.

— А с чего вы взяли, что они сюда придут?

— Теург должен появиться на Олимпе — вот с чего.

— Ну-ну, — недоверчиво качал головой Евдокимов.

Но Кац, как всегда, оказался прав. В очередной раз, скрипнув, разошлись двери старенького лифта, и в приёмной показался Шурик. Войдя, он бросил взгляд по сторонам и, заметив Хирона, направился к нему.

— Учитель, — сказал Шурик, — ты мудр и велик. Объясни мне, что Наташиному папе надо. Чего ему не хватает? Разве я не гений?

— А господину Секерину, — ответил Хирон, — твоя гениальность даром не надь. Его наличность твоя интересуется.

— Какая там наличность! Да разве в деньгах счастье?

— А в чём же? — искренне удивился Хирон.

— Как?! — чуть ли не закричал Шурик. — Жизнь художника должна быть бесстрашным стремлением к открывшейся ему в его искусстве высокой цели. Какие деньги?! Я ненавижу и презираю эту бумагу. Музыка — вот звезда. Если я не буду смотреть на неё, если она не будет светить мне в жизни и если я не буду стремиться к ней, то погибнет мысль, а с ней и всё. Пусть лучше я исчезну в безумном порыве, но мысль останется и будет торжествовать. Вот.

– Это правильно, – кивнул кудлатой головою Хирон. – Наташин папа, к примеру, твёрдо намерен отдать дочь за богатого аристократа. И эта мысль останется в нём навсегда и будет торжествовать в его душе. Во всяком случае, пока он не сбудет свою мечту.

– Но Наташа! Эта святая чистота! Неужели же она разделяет низменные стремления своего презренного родителя?

– Не разделяет, нет! Ни в коем случае, – замахал руками Хирон. – Конечно, не разделяет... Но сочувствует. Тебе, Шурик, не дано понять, как кружится голова у молоденькой девушки от мысли, что вчера она была просто Наташей Секериной, а сегодня стала вашим сиятельством.

– Не верю! Нет. Я предлагаю ей больше, чем сиятельство, – я предлагаю ей бессмертие.

– Шурик! На хрена ей бессмертие? Это когда ещё будет. А карета с гербом может уже завтра стоять у её ворот.

– Нет! Тысячу раз нет! Я должен встретиться с ней. Я объясню, я сыграю ей свою «Поэму томления», я расскажу об Олимпе, куда она поднимется со мной. Я немедленно напишу ей письмо и приглашу её на свидание. Пусть оно будет последним, но я должен попытаться вырвать её из рук прагматичного отца. Моя Наташа – не предмет для торговли! Как может господин Секерин торговать нежным телом своей юной дочери! У меня стынет в жилах кровь, когда я представляю себе мою Наташу в первую брачную ночь с каким-нибудь пожилым развратником-аристократом. Она, святая душа, даже не поймёт, что он с ней будет делать.

– Ничего. Потом разберётся, – бесчувственно заметил Хирон.

Но Шурик не слышал его слов.

– Сейчас же пойду на почту писать письмо. Она придёт ко мне, она обязательно придёт!

– Она с Гефестом придёт, – сказал Хирон.

– Зачем мне Гефест? Мне Гефест не нужен. Что я, лошадь?

– Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь, – грустно сказал Хирон. – Ты, Шурик, погоди. Скажи лучше, где ты Прометея потерял.

– Так ведь он на Кавказ уехал. Лежит там, отдыхает. Пару дней назад звонил. Кавказ, говорит, подо мною. Один, говорит, в вышине.

Постепенно приёмная стала заполняться народом. Пришёл могучий Одиссей. Увидев его, Шурик очень обрадовался и, оставив Хирона, направился к нему.

– Я вот что решил, Одиссей. Вот сейчас, как Прометея прикончу, за тебя возьмусь.

– Ну что ты, Шура, – смущённо забасил Одиссей. Но и невооружённым глазом было видно, что слова Шурика ему польстили.

– Разве можно меня с Прометеем равнять? Он – Титан, а я кто? Сплошной неудачник.

– Что ты? Что ты? – заволновался Шурик. – Твоя жизнь полна приключений. Я уже заранее слышу, как ляжет мой девятизвучный аккорд на деревянные, медью пересыпанные. Вот расскажи мне поподробнее, как ты чуть было не переспал с Киркой. Меня волнует эта тема.

– А-а... – протянул Одиссей, теплея взглядом, – было дело. То есть, правильнее было бы сказать, дела не было. Понравилась мне Кирка, дочь самого Гелиоса. Но она, как любая женщина, даже из простых, захотела воспользоваться моими чувствами для того, чтобы превратить меня в свинью. И тогда я обнажил...

– Подожди, Одиссей, – перебил гиганта Шурик, – что же привлекло тебя в Кирке? Ведь она примитивная, как грабли.

– Не мешай, Шура, – сказал вошедший в раж Одиссей. – И тогда обнажил я свой...

– Да подожди ты! Ты сначала про Кирку расскажи.

– Так я же и рассказываю. Обнажил я свой меч и бросился на волшебницу! Упала предо мной на колени Кирка и стала умолять вложить...

– Одиссей, ты непоследовательно рассказываешь. Так она волшебница была?

– Ну да. Как любая молодая и красивая женщина. Они все превращают мужчин в свиней. Но я свиной быть не захотел, и когда она стала умолять меня вложить меч в ножны, я вложил. Пожалел её. Только велел моих друзей расколдовать: они уже давно в хлеву находились. Согласилась Кирка, и пошли мы с ней в хлев. Там увидел я моих друзей в свинском обличьи. Как бросились они к Кирке, как стали тереться о её прекрасные, длинные ноги! Но я прикрикнул на неё, и обратилась она в жалкую уродливую старуху. Тут друзья мои сразу отрезвели и вновь вернулись в мужское обличье.

– А что стало с ней? – спросил Шурик.

– С Киркой, что ли?

– Ну да.

– А она тоже вернула себе прежний облик. Но только интерес у меня к ней после этого начисто пропал: как взгляну на неё, так и вижу морщинистую старуху. Тем не менее, мы с друзьями там целый год прожили. Оказалось, что на островке, помимо Кирки, и другие девушки есть. Мы там так оттянулись! – Одиссей, погрузившись в воспоминания, мечтательно улыбнулся и полуприкрыл глаза.

– А Пенелопа? – тихо спросил Шурик.

– На фига мне эта ткачиха? – открыл глаза Одиссей.

– Нет, Одиссей, – торжественно произнёс Шурик, – не возьмусь я за тебя. Мне чужды твои полигамные устремления. Жена, супруга, спутница жизни, семья – это святое! Это – как музыка. А то, о чём говоришь ты, это упадническая, развратная мораль салонов и гостиных. Я ненавижу это! Когда мне приходится выступать в салонах, я вижу, как эти светские львы во время моей игры подмигивают чужим жёнам. И те не возмущаются и не бьют наглецов по их сытым обвислым щекам. Боже, как пуста и глупа эта жизнь! Ты видишь, Одиссей, во что превратила меня она. Это хождение по салонам и игра перед «эмбесиями» довели меня до последней степени раздражения.

– Да-а, Шура, – озабоченно сказал Одиссей, – тебя лечить надо. Да разве таким был ты совсем недавно, когда мы с тобой познакомились в метро?

Шурик хотел что-то сказать, но почувствовал, что кто-то осторожно тронул его за плечо. Оглянувшись, он увидел человека, с которым познакомился на склоне Олимпа.

– А-а, здрас-с-ьте, – сказал Шурик, мучительно пытаясь вспомнить имя того, кто стоял перед ним.

– Евдокимов, – видя его затруднения, подсказал Евдокимов. – Виктор Евдокимов.

– Как же, как же... – светским голосом промолвил Шурик, – добрались-таки? А где ваш приятель? Ведь вы тогда, если мне память не изменяет, были с другом.

– Да вот же он, к нам идёт.

И точно: через приёмную к ним направлялся Кац.

– Ведь и вы не один были, – продолжил Евдокимов. – А ваш спутник где?

– Вы о Прометее спрашиваете? Это боль моего сердца. Я пытался его спасти, я увёз его, я прятал его в разных странах, но ничего мне не помогло: его невестка добралась-таки до чемодана. И налетевший вихрь несчастий унёс его на Кавказ, где возложил на скале. Единственное, что я смог, – я сделал его бессмертным. Но это такая малость по сравнению с теми страданиями, которые он переносит сейчас. И только из-за того, что решил сравнять меня с богами.

– Но ведь не только вас, – осторожно заметил образованный Кац.

– Да, вы правы, не только меня. Но лишь я один сумел быть благодарным и использовал свой божественный дар для того, чтобы подарить бессмертие тому, кто меня им наградил.

– Это прекрасно, – сказал Евдокимов, – а не могли бы вы и за нас попросить?

– Мне всё подвластно, – скромно ответил Шурик. – А в чём, собственно, дело?

– Мы тут с другом мотаемся по чёрт знает каким местам, а меня, между прочим, в Питере мама ждёт.

– Мама? – переспросил Шурик, и в уголке его глаза сверкнула непрошенная слезинка. – Простите, нахлынули воспоминания детства золотого. Конечно, попрошу. Прямо сейчас пойду к Зевесу Кроничу и попрошу за вас. А хотите, я вас с ним познакомлю. Он необыкновенно интересен – он дитя времени.

Вы хотите сказать, что он – дитя своего времени?

– Нет-нет, я не оговорился. Он дитя Времени. Отца его так звали – Время.

– Какое странное имя, – сказал Евдокимов.

– Имя? – переспросил Шурик. – Какое странное и удивительное явление!

– Знаете, Александр Николаевич, – вступил в разговор Кац, – пожалуй, я не решусь на такое знакомство. Дитя Времени, сын Времени, герой своего времени – кто знает, может, это именно он, так по-простому обращающийся с этой субстанцией, и поместил нас в эту петлю.

– Наверное, – сказал Скрябин, – скорее всего. Но, как известно, только тот, кто подвесил, может перерезать. Он точно может. Ждите меня здесь.

И он быстро пошёл к двери в кабинет шефа.

Забегая вперёд, можно сказать, что приятели благополучно вернулись в свой город. Евдокимова встретила в прихожей мать с половником в руке.

– Я тебя уже час жду, – сказала она. – Суп на столе остывает. Чего это ты сегодня так задержался?

А Каца не встретил никто. Его жена убежала на аэробику и обеда ему не оставила. Так что он, не солоно хлебавши, включил телевизор и стал смотреть передачу Андрея Макаревича «Смак».

На Олимпе же всё шло своим чередом. В приёмной в ожидании авторского свидетельства сидел Дедал.

– Свидетельство ты, конечно, получишь, – говорил ему Влас Тимофеевич, – но поверь – лучше бы ты его не получал.

Дедал не поверил.

Эдип, сидя в уголке, холил и лелеял свои комплексы. Медея, нервно сжимая пальцы, готовила месть Пелию. Гектор мучительно думал, является ли он, троянец, греком. Фетида, держа сына за пятку, заранее оплакивала его. Марсий тихонько наигрывал на своей флейте.

– Ты завязывай с этим делом, – сказал ему Сила, – неровён час, Аполлон заглянет.

Словом, шла обычная скучная жизнь.

– Знаешь, – вдруг сказал Влас, – а ведь я вчера в театр ходил.

– Да ну? – удивился Сила. – И что смотрел?

– Толстого пьесу. «Власть тьмы».

– Власть – мы! – помолчав, поправил Сила.

Послесловие

Прошли века. Прометей, которому надоело каждый день пить боржом и лечить свою печёнку, решил открыть Зевесу Кроничу страшную тайну, из-за которой его на Кавказ отправили. Вся фишка была в том, что Зевес не должен был жениться на Фетиде. Только и всего! Как часто бывает, страшные тайны при ближайшем

рассмотрении оказываются ничтожными. К этому времени Зевесова женилка уже давно закончилась, так что этот вопрос был для него уже не актуален. И отпустил он несчастного на все четыре стороны. Впрочем, дурень Прометей сам виноват. Шепнул бы он вечность назад шефу одно словечко, да и пошёл бы себе домой, выпил-закусил и хлопот никаких не знал бы. А так столько времени на Кавказе без толку проторчал.

Шурик давно ушёл из жизни. А куда ушёл, никто не знает. Но, судя по всему, ему на Олимпе местечко приготовили.

А Евдокимов с Кацем живы по сей день. И будут живы, пока жива Россия. И ни Израиль, ни Америка, ни Германия помешать этому не смогут.

Март 2006

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН

4-Я И 5-Я ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «РЕЙН»

Исток непонятного светел и чист. Но и
Воспетый, ты вряд ли раскроешь секрет,
Каким начался, таким тебе и остаться.
Сколь ни бесчинствуй нужда
И воспитание, всё же
Основа дана от рожденья,
И этот сияющий луч, который
Встречает новорождённых.
Но где же он, кто,
Чтобы свободным прожить
Всю свою жизнь, чтобы так
Воплотилась мечта, истечь
С благодатных высот, словно Рейн,
Из освящённого лона
Родиться счастливым, как он?

Поэтому речь его — ликование.
Нет, он не плачет в пелёнках,
Подобно детям иным.
Там, где кривые его берега к нему с двух сторон
Подползают, змеясь вдоль него и желая,
Да, жажда обуздать его легкомыслие и воспитать,
И охранить его, держа за зубьями скал,
Смеясь, разрывает он их на куски,
Словно змей ребёнок Геракл,
И с добычей бросается в путь.
И если б его в поспешности не укротил
Тот, кто боле велик, и дал ему вздыбиться,
Будто молнии ствол, тогда б раздвоил он Планету.
Словно замороженные, бегут навстречу ему леса
И в пояс клонятся горы.

ПОЛОВИНА ЖИЗНИ

Жёлтыми грушами полный
И зрелым шиповником,
Берег свесился в озеро.

Вы, прелестные лебеди,
пьяные от поцелуев,
Макайте же головы
В святотрезвляющую воду.

Горе мне, где же мне взять
Зимой цветы, где —
Солнечное тепло
И прохладную тень?
Холодной стеной стоит
Передо мной безъязыкость. По ветру
Звякает флюгер.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

ФУГА СМЕРТИ ¹

Чёрное молоко рассвета — мы пьём его вечером,
мы пьём его утром и днём, мы пьём его ночью,
мы пьём его, пьём,
мы в воздухе роём могилу, в ней ложится легко.
В доме живёт человек, он играет со змеями, пишет,
когда же темнеет, он пишет в Германию, твои золотые волосы, Маргарита,
он пишет это и выходит из дома, звёзды вспыхивают, он псов подзывает своих,
он свищет евреев своих, заставляет могилу копать в земле,
он приказ отдаёт нам: сыграйте теперь плясовую!

Чёрное молоко рассвета — мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя утром и днём, мы пьём тебя вечером,
пьём тебя, пьём.
В доме живёт человек, он играет со змеями, пишет,
когда же темнеет, он пишет в Германию, твои золотые волосы, Маргарита,
пепельные твои, Суламифь, мы воздушную роём могилу, в ней ложится просторно.

Он погоняет: глубже копайте в пространство земли, такие-сякие, играйте и пойте,
он железку выхватывает из кобуры и машет ею, глаза его голубые,
глубже втыкайте лопату, такие-сякие, сыграйте мне плясовую!

Чёрное молоко рассвета — мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя днём, мы пьём тебя утром и вечером,
пьём тебя, пьём,
в доме живёт человек, твои золотые волосы, Маргарита,
пепельные твои, Суламифь, он играет со змеями.

Он велит: слаще играйте мне смерть, смерть — из Германии мастер,
ведите темнее смычок по скрипкам — и дымом подниметесь в воздух,
могила вам в облаках, не тесно там и легко.

¹ Paul Celan, "Todesfuge". Из: Paul Celan, *Mohn und Gedächtnis*. С любезного разрешения
© 1952 Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Чёрное молоко рассвета – мы пьём тебя ночью,
мы пьём тебя днём, смерть – из Германии мастер,
мы пьём тебя вечером, утром, мы пьём тебя, пьём,
смерть – из Германии мастер, глаза его голубые,
он встретит тебя свинцовою пулей, его попадание точно,
в доме живёт человек, твои золотые волосы, Маргарита,
он псов натравливает на нас и могилу дарит в пространстве,
он играет со змеями и видит во сне, что смерть – из Германии мастер,

твои золотые волосы, Маргарита,
пепельные твои, Суламифь.

ЦЮРИХ, ЦУМ ШТОРХЕН ²

Нелли Закс

О слишком многом шла речь
и о малом. О Тебе
и Всё-таки-Тебе, о
замутнении светлом,
о еврействе, о
твоём Боге.

О
Нём.
В день Вознесенья, на той стороне
стоял собор и протягивал нам
немного золота через реку.

О твоём Боге шла речь, и я
говорил против Него, я
принудил сердце своё
надеяться
на
высшее Его, на задыхании хриплое,
гневное слово.

Твои глаза смотрели на меня и как бы мимо,
твой рот
говорил им вслед, так что я слышал:
«Мы
не знаем, ты знаешь,
мы
не знаем,
что
верно...»

Париж, 30-е мая 1960 г.

² Paul Celan, "Zürich, zum Storch". «Цум Шторхен» = Отель «У аистёнка». Из: Paul Celan, *Die Niemandsrose*. С любезного разрешения © 1963 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

ТЮБИНГЕН, ЯНВАРЬ ³

Глаза, со-
блзненные слепотой.
Их «Исток не-
понятного светел и чист», их
память о
башнях Гёльдерлина, плавающих в воде,
отражённых
криками чаек.

Утонувшие гробовщики являются при
этих
погружающихся словах:

Если бы,
если б пришёл человек,
если б сегодня пришёл в этот мир человек
с бородой из света,
как у патриархов, и если б
он о нашем времени
говорил,
он бы только
лепетал, лепетал,
всё вре-, всё вре-,
мя-мя.

(«Палакш⁴. Палакш!»)

ЯЗЫК ЗА РЕШЁТКОЙ ⁵

Округляется глаз между прутьями.

Веко – дрожащий зверек –
вверх отгребает,
выпускает взгляд.

Радужная, поплавок без иллюзий и мутный.
Небо должно быть близко, серое, словно сердце.

³ Paul Celan, "Tübingen, Jänner". Из: Paul Celan, *Die Niemandsrose*. С любезного разрешения © 1963 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

⁴ *Примечание переводчика*: "Palaksch" – неологизм оригинала, неперебиваемое междометие, звукопись. Современники рассказывали, что когда у Гёльдерлина случались видения и приступы во время прогулки, то он в ужасе бежал по Тюбингену, сжимая голову руками и крича: «Палакш! Палакш!». В немецком литературоведении нет согласия в том, что этот возглас мог бы значить. Я возвожу слово «палакш» к индогерманскому корню п-л-х. Сравните палакш с сегодняшними полыхать, плаха, плашмя, пламя, полымя). Вспомните также Яна Палаха, сжегшего себя в августе 1968 на площади Венцлава в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии.

⁵ Paul Celan, "Sprachgitter". Из: Paul Celan, *Sprachgitter*. С любезного разрешения © 1959 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Косо в железной закрепе
коптит лучина.
По свечению ока
угадывается душа.

(Если бы я был как ты, ты как я.
Не на одном ли мы
стояли ветру?
Мы чужие.)

Кафель. На нем
тесно друг к другу, обе
серые, как сердца, лужи:
два
рта, полные немоты.

ГЕРТА МЮЛЛЕР

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ⁶

1.

Прощание, как яблоко, кругло,
катиться начинает незаметно.
И масок карнавальное мурло
свои
манатки сматывает спешно,
поскольку хочет жить.

2.

В конверте из перьев живёт петух,
в конверте из листьев кленовых — аллея,
а заячья душа — в конверте меховом,
в конверте слёз спит озеро.

Жилище на углу — конверт особый:
наряд милиции столкнул с его балкона
кого-то над бузиновым кустом⁷.
Потом это опять назвали

⁶ С любезного разрешения Герты Мюллер. © Herta Müller.

⁷ *Примечание переводчика:* Имя одного из величайших немецких поэтов Гёльдерлин (Friedrich Hölderlin, XVIII–XIX вв.) можно было бы перевести на русский язык как “Бузинников”. Его судьба примечательна тем, что он сумел сохранить себя как поэта, несмотря на тяжёлый политический, социальный и психический конфликт с обществом и культурой своего времени. В двадцатом веке в немецкоязычной литературе установилась традиция понимать образы бузины, бузинового куста, бузиновой наливки и т. д. как символы поэтической судьбы и бескомпромиссной преданности Поэзии. Поэтому бузиновый куст под балконом, на котором происходит убийство, — это не просто деталь ландшафта, а свидетельство о том, что убивают поэта.

самоубийством. Протокол о нём
живёт в бумажной крепости-конверте,
а дама некая живёт
в конверте из волос, завязанных узлом.

3.

И правитель поклонится нам слегка.
Ночь приходит обычно пешком.
Два неоновых башмака с крыши фабрики обувной
отражаются в чёрной реке, перевёрнуты вверх каблуком.
И неоново-бледный башмак выбивает нам зубы
вверх каблуком, а другой отражённый башмак
превратил наши рёбра в форшмак.
Утром гаснут неоновые башмаки,
слово «яблоко» — деревянное, словно гроб,
листья клёна краснеют влёт.
С неба сыплются звёзды, сладкая воздушная кукуруза,
а правитель поклонится и убьёт.

Перевёл с немецкого ©Борис Шапиро

ФРАГМЕНТЫ

(из книги «Почтовая лошадь»)

СОН О БАЙРОНЕ

ИЩУ ПОГИБЕЛИ

На Севере я думал прожить год, а прожил восемь лет и ни разу об этом не пожалел. Эти годы дали прочное знание русской провинции, той самой, благодаря которой только и держатся и прирастают талантами Москва и Петербург. Но деревенский, народный полюс открылся мне не первым. Еще раньше я открыл для себя полюс городской, рафинированный.

За восемь лет до поездки на Север, январским вечером я стоял в фойе Дома писателя, оглушенный невыносимым горем. Передо мной был портрет Михаила Леонидовича Лозинского. К раме этого портрета чья-то рука прикрепила маленькую зеленую веточку: это была весть о смерти моего учителя. Горе так невыносимо грызло меня еще и потому, что, не зная о том, что уже стряслось, я весь вечер хохотал вместе со всеми зрителями театрального капустника. Уморительного капустника, в котором участвовали Уварова и Беньяминов и который теперь сразу погас в моем сознании.

Я вышел на пустынную набережную Невы, в зимний, привычный, но для меня совершенно изменившийся мир. Ни о чем другом, кроме смерти Лозинского, я думать не мог. Не пройдя сотни шагов, понял, что не успокоюсь, пока не найду предприятия, достойного его памяти. Нужна была не просто большая по объему работа. Нужно было крайнее усилие, полная переводческая гибель.

Через полтора месяца я это предприятие нашел: нужно перевести всё, целиком, стихотворное наследие Байрона, шестьдесят три тысячи строк.

Предприятие требовало примерно четырнадцати лет, если не принимать в расчет стихийные бедствия вроде влюбленностей и болезней. Я заложил картотеку сведений о Байроне (тогда я знал даже, на какую ногу он был хром) и перевел первую тысячу строк, начав с юношеских стихотворений.

СОН О БАЙРОНЕ

Мне теперь трудно поверить, как я бредил этим человеком. Вот в ком было великое изобилие полярно противоположных черт!

Он был очень красив — прекрасные глаза и вьющиеся волосы, а его улыбку Колридж называл вратами рая. Но роста Байрон был небольшого. Природный лорд в малейшем движении, он от рождения хромал и очень боялся потолстеть. Любил Вольтера, особенно «Кандида». Но ненавидел Шекспира, потому что сам не обладал даром перевоплощения и всех своих героев списывал с себя.

О его славе нечего и говорить. На чей-то простодушный вопрос, как произносить его фамилию — «Байрон» или «Бирон», — он с полным правом ответил: «Байрон. Так меня называет весь мир». Европейская молодежь восторженно копировала его мелкие привычки. А он надменно отвергал заигрывания литературных кружков, политических партий и наследника престола, но был в добрых отношениях с Джозефом Блекетом, сапожником, писавшим стихи, и посвятил ему шутовское стихотворение.

Среди своих он бывал весел, добр, любил озорные проделки. Держал дома трех гусей, очень к нему привязавшихся. Обладал несравненным юмором. Однажды, подойдя с бутылкой воды к

перепившему участнику дружеской компании, предложил: «Позвольте вас разбавить». Полное отсутствие юмора у жены Байрона было одной из главных причин их развода. Но оставаясь один, он становился мрачен. Не однажды говорил, что у него нет друга. Когда молодой человек, прочитав байроновского «Каина», впал в меланхолию и совершил самоубийство, Байрон грустно сказал: «Если бы я знал, что этим кончится, я не стал бы сочинять эту вещь».

Вальтер Скотт писал о нем: «Я не знал человека более благородного. Однако он не снискал всеобщей любви и уважения, и только лишь потому, что имел несчастье вести себя неосмотрительно». Байрону доставляло большое удовольствие распространять небылицы о якобы сневавших его пороках, а потом видеть всё это в газетах, но публика-то принимала напечатанное всерьез. Когда он навеки покидал Англию, мать прокляла его и крикнула ему вслед, что он так же глуп, как уродлив.

Он говорил, что есть поэзия стиха и поэзия поступка. Однажды в Греции, в Пирее он встретил людей, несших кого-то в мешке. Оказалось, что несут гречанку, которая провинилась перед хозяином-турком и должна быть сброшена со скалы в море. Байрон вступился, отбил девушку, а потом еще раз защитил ее, теперь уже перед судьей. Но был у Байрона поступок побольше, чем спасение девушки. Поступок величиной в жизнь.

После конца Французской революции Европу охватило разочарование. Фигура Байрона стала символом разочарованности в мире. Гёте сказал о нем, что ему везде было тесно. Но в отличие от тех, кто просто предавался разочарованию, Байрон вел неустанную, вдохновенную и деловитую борьбу за свободу. Как свою личную, он отстаивал свободу целых наций, помогал им собственным участием в борьбе, своим именем, оружием и деньгами.

Байрон был богат, его литературные доходы всё возрастали, и как-то он сказал: «Я могу некоторое время содержать довольно многочисленный клан, племя или орду».

Греки-повстанцы предложили ему стать их главнокомандующим, и Байрон не смог им отказать. Но поэзия обернулась презренной прозой. Повстанцы оказались далеко не тем народом, который воспел Гомер. Они не торопились с боевыми действиями против турок, зато без конца кланчили у Байрона прибавку к жалованью. Он заразился болотной лихорадкой, нервные спазмы нарастали. В шесть часов вечера восемнадцатого апреля 1824 года он в изнеможении отвернулся к стене и сказал: «А теперь надо спать». Это были его последние слова.

Скорбь о его кончине была мировой скорбью.

Однажды он мне приснился. Во сне я увидел придорожную гостиницу в какой-то южной стране. Карета перед входом, дверца ее открыта, подножка откинута. Я стою у колеса кареты и жду его выхода. Он появляется с непокрытой головой и в дорожном плаще. Быстро идет к карете, ставит ногу на подножку, замечает человека у колеса и поворачивает ко мне голову. В двух шагах от себя я вижу его лицо, на меня смотрят прекрасные, живые, внимательные глаза, в них нетерпение и чуть насмешливое любопытство. Он что-то спрашивает, но — о ужас — во сне я забыл все слова английского языка! Не понял, что он сказал. Не могу ответить. Я в отчаянии, слезы текут у меня по лицу. Он слегка пожимает плечом и садится в карету. Слуга захлопывает дверцу. И от этого хлопка я просыпаюсь в тоске и слезах, хотя мне, здоровому парню, фехтовальщику, слезы не свойственны.

ОТПУСК НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

К тому времени я уже был знаком с Анной Андреевной Ахматовой.

В зимние сумерки на улице Красной конницы зашел разговор об английских поэтах. О Китсе Ахматова сказала, что это поэт последней стройности, которой после него уже ни у кого не было. Броунинга, с его полной открытостью читателю, сравнила с ленинградским многоэтажным домом, в который во время блокады попала бомба: половина обрушилась, а другая стоит, дом виден в разрезе, висят абажуры, и у каждой комнаты свой цвет обоев.

Разговор перешел на Байрона, и я решил рассказать Анне Андреевне о своем заветном намерении.

Ахматова внимательно выслушала, заговорила сама, и с первых ее слов я почувствовал, как раскачивается и грозит рухнуть здание моих намерений — вполне в духе ахматовского блокадного

сравнения. Нет, говорила она, переводить всего Байрона не нужно, это ошибка. Байрон – поэт очень неровный, он автор не только гениальных лирических отступлений «Чайльд Гарольда», но и длинных, скучных, справедливо забытых восточных поэм. А вот перевести и издать том избранных стихотворений – действительно нужное дело, потому что Байрон, которого у нас обычно переводят подражанием Пушкину, всё еще ждет своего русского переводчика.

В какие-нибудь четверть часа Анна Андреевна, словно раскладывая безукоризненный пасьянс, перечислила всё то, что я смутно ощущал, но не позволял себе осознать, чтобы не разрушить предприятия. Теперь оно рухнуло, освобождая место для других построек, и таким образом, Ахматова подарила мне четырнадцать лет работы.

На улицу я вышел в непривычном томительном состоянии. Тогда еще не были на общем слуху слова, ныне прочно вошедшие в речь: повышенное давление, стресс. Я просто-напросто чувствовал, что не могу жить. Слишком я дорожил моей затеей, слишком подчинил ей душу и разум. По-видимому, давление крови действительно перешло опасную черту.

Выход я нашел бессознательно, сработал инстинкт. На мое счастье еще не закрылась ближайшая пельменная. Не помню, сколько я съел порций, но что-то очень много. И погрузился в спасительное отупение.

Через несколько лет я прочел в журнале статью известного ученого о стрессах. Автор писал, что когда американские офицеры впервые заступили на ночное боевое дежурство при баллистических ракетах (два поворота ключа влево, три вправо – и начнется мировая ядерная война), командование, беспокоясь за их психику, обратилось за советом к психологам. Те сказали: поставить в помещении для дежурства большие холодильники и набить их деликатесами. Так и было сделано. И когда наутро начальство заглянуло в холодильники, то поразилось невероятным опустошениям, которые произвели за ночь дежурные офицеры. Инстинкт требовал наполнить желудок, отвлечь от мозга излишек крови.

Обо всем этом Ахматова, разумеется, не подозревала. Она многие судьбы поворачивала, ничего об этом не зная. Чаше всего стихами. Но и собственной личностью. И даже случайно оброненным словом.

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством. Сама же переводила только для заработка. Сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить.

Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе.

В Комарове, дачном поселке под Ленинградом, я однажды спросил, не нужно ли принести воды, и услышал следующее:

– Спасибо, вода есть. Но вот что вы можете сделать: вон там, на столике под сосной, лежат мои переводы Елизаветы Багряны. В той же папке и подстрочники. Прочтите, поправьте, если нужно, и отнесите на почту.

Именно так: поправьте и отнесите. Подразумевалось, что показывать правку перед уходом на почту не нужно.

Нет, своим кровным делом она перевод не считала.

К старости Анна Андреевна стала проще, сошла с котурнов, когда-то очень высоких. Со мной она была добра и проста – скорее сказочная бабушка, чем злая волшебница. Но не совсем добрая бабушка – с норовом. Если мнения не совпадали, иногда поворачивалась к собеседнику профилем – это был признак неблагоприятности.

Бывали, однако, и царские милости. Прочитав принесенное, сказала:

Вы – чудо перевода.

В другой раз:

– Неужели вам не хочется всё время переводить? С таким искусством?

С удовольствием и не раз повторяла строки моего перевода из Китса:

Я даром отдам
Всех лондонских дам...

Эта веселая дерзость ее позабавила, пришлось по вкусу.

У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем.

На дворе стоял 1955 год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой.

И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался топтун – сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение.

Ахматова сказала:

– Ближе. Еще ближе.

И, понизив голос, начала читать стихи – «Реквием»:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ...

Я слушал, не помня себя. И потому, что Анна Андреевна совершала опасный поступок, – всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем, – и потому, что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было двадцать три года, я был крепким малым, фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало.

Как в тумане, я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали, Ахматова внимательно на меня смотрела и наконец спросила:

– Что вы скажете об этих стихах?

И я услышал свой голос, который произнес с запинкой:

– Это очень... интересно.

После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла. И царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы, и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.

Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения – Ахматова придавала им большое значение: совпадения, тайные даты, невестречи, трехсотлетние пустяки – это был ее инструментарий. И я между прочим сказал, что день моего рождения послезавтра: мне исполнится тридцать один год, я родился первого апреля.

Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела.

– Не может быть.

Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице.

Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, и я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт:

– Этой милой подробностью я не знала.

Прошло почти сорок лет, и перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках:

Взоры огненной огня
И усмешка Леля...
Не обманывай меня,
Первое апреля!

Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания: 1963. Заглянул в комментарии – так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишие, держа в руке паспорт, или вечером после моего ухода, или наутро, но записала его и поставила дату на следующий день.

Всё это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал – и добавил, что мое положение совершенно безответственно: никто не может доказать, что это четверостишие не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ:

– Вы ошибаетесь. Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль: усмешка Леля.

Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года.

В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос: что означало на светском, дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля»?

Перебрав старые фотографии, я нашел одну, сделанную во время военных сборов, – на ней есть нечто подобное усмешке.

Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

О рекомендации в писательский союз она заговорила сама, избавив меня от душевных мук по этому поводу. Сказала, что даст рекомендацию, как только это потребуется.

Потребовалось довольно скоро и, увы, неожиданно спешно. Я приехал к Анне Андреевне и услышал нечто, меня ошеломившее:

– Понятия не имею, что полагается писать. Я только раз в жизни давала рекомендацию, очень давно, одному молодому поэту. Но то был Союз поэтов, и всё было по-другому... Сделаем так. Вон там, на стуле, машинка, здесь – бумага и копирка. Садитесь и пишите. Я буду у себя, а вы, когда напишете, постучите.

Переводы мои представлялись мне в виде длинного безрадостного перечня недостатков. Рекомендация, написанная на этой основе, просто не имела бы смысла, и я сказал об этом Анне Андреевне.

– А вы вспомните, что я вам говорила о ваших переводах, и напишите всё это в точности.

Вспомнить всё это, разумеется, труда для меня не составило. Однажды Анна Андреевна даже написала так называемую внутреннюю рецензию – для Детгиза – на рукопись моего сборника переводов «Дерево свободы»:

«Переводчик с большим вкусом отобрал действительно превосходные стихотворения и тем самым поставил перед собой труднейшие задачи.

Он не только вполне справился с ними, но достиг замечательного успеха. Все переводы выполнены на высоком поэтическом уровне, а такие из них, как баллада “Воды Клайда”, стихотворения Бернса “Любовь – как роза красная”, “Пегги Монтгомери”, “Эпитафия”, все включенные в сборник стихи Китса и некоторые другие стихотворения, песни “Китобой”, “Русалка” – представляют собой большие достижения всей переводческой школы нашего времени.

Достигнута более чем достаточная степень точности перевода. Во всем сборнике нет ни одного случая существенного расхождения перевода с подлинником. Но при этом переводы воспринимаются как природные русские стихи».

Через полчаса я уехал с рекомендацией. Ахматова подписала ее, наотрез отказавшись прочесть.

А в начале следующего года я получил от нее в подарок книгу стихотворений, вышедшую в Гослитиздате. На титульном листе была надпись: «Милому Игнатию Михайловичу Ивановскому, самому лучшему переводчику. А.Ахматова. 24 февраля 1962, Комарово».

В сентябре 2003 года, в музее Ахматовой в Фонтанном доме я увидел книгу «Записные книжки Анны Ахматовой», изданную в Турине. В списке упомянутых фамилий нашел и свою. Через тридцать семь лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет.

Вот некоторые записи.

«Ивановский, ученик и секретарь М<ихаила> Л<еоновича>, сказал мне, что Лоз<инский> ни одно письмо не отправлял, не оставив себе копии. Т<аким> о<бразом> я могу быть уверена, что все его письма ко мне существуют, несмотря на то, что оригиналы большинства из них погибли у меня, потому что все, что у меня, неизбежно гибнет».

(Я не был секретарем Лозинского. Был его учеником, а после его смерти разобрал и описал его архив. И. И.)

«Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных “объяснений” Ивановскому, он сказал: “Я чуть не крикнул посередине: перестаньте – не могу больше. Ведь то, что вы читаете, это та же поэма (скажем, “Решка”), но в прозе – это невыносимо“».

«Ивановский с розами».

«Полночные стихи – Ивановск<ому>». (То есть обещана копия «Полночных стихов».)

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Незадолго до окончания института иностранных языков я прочел драматическую поэму Лонгфелло «Микеланджело». Читая, узнавал источники — вот это взято у Вазари, а это у Челлини — примерялся к добротным белым стихам, потом попробовал переводить, и работа меня поглотила. Как всегда, рядом с работой шла игра: попутно занимаясь портретом эпохи Возрождения, я взял да и сфотографировался в наспех сооруженном подобии исторического костюма: «Молодой человек с яблоком». И очень позабавил этой фотографией Лозинского. Михаил Леонидович рассматривал снимок, то приближая его к глазам, то удаляя, и при этом говорил с комической серьезностью:

— Нет, пожалуй, это не кватроченто. Скорее, кинквеченто: поворот головы свободнее.

С переводом он был знаком. Написал на странице рукописи, содержавшей трагический монолог Микеланджело: «Очень хорошо».

Потом как-то само собой вышло, что каждую субботу к Александре Николаевне Яacobсон стала приходить Елизавета Александровна Уварова — послушать чтение очередных сцен из «Микеланджело». А потом я переписал перевод на пишущей машинке, переплел и — забыл о рукописи. Издать три тысячи стихотворных строк, в которых сплошь разговоры об искусстве, да еще без всякой социальной подкладки, было бы в то время настоящим чудом. Но чудес в издательствах не бывает, да и жил я по тем же законам, что и Александра Николаевна Яacobсон. Окончил перевод — переходи к следующей работе, которую тоже не издашь. Гонорар — понятие отвлеченное, теоретическое, отношения к тебе не имеет. Молодость в лучших традициях, то есть вполне нищая. На дачу к Лозинскому, в июльскую жару, я приезжал в потертом черном костюме — он был у меня один-единственный, да и тот домашними усилиями перекрашен из серого.

Я окончил институт, служил, переводил. Получил первый в жизни заказ — спешно, за ночь перевести десять строк Виктора Гюго для девятнадцатого тома собрания сочинений. Вот эти стихи:

Как всюду о пришельце новом,
Здесь говорят: «Откуда он?»
Изгнания холодом суровым
Я всё сильнее окружен.
Не вижу родины далекой,
На смену радости высокой
Пришли надолго дни тоски.
Зовет могила, я немолод,
И веет в душу зимний холод,
И снег ложится на виски.

Через несколько месяцев том вышел в свет и таким образом состоялся мой неожиданный дебют. А пока что я забыл и об этом переводе.

Чудо все-таки произошло. Оно позвонило по телефону и заговорило голосом Даниила Михайловича Горфинкеля. Даниил Михайлович давным-давно составил том стихов Лонгфелло, отдал в издательство и тоже забыл об этом. Издательство напомнило само: в Советский Союз, впервые после войны, собирался приехать президент Соединенных Штатов, и всё, что было подходящего к случаю, нужно было спешно издать. Лонгфелло несомненно подходил.

Я, однако, в чудо не поверил начисто и сразу решил от него отгородиться. Не признавать его реальность, чтобы не изменить законам моей жизни. Но раздался новый звонок, на этот раз из издательства. Просили приехать немедленно, подписать договор.

Приехал. Подписал, не читая и по-прежнему начисто не веря. Сколько мне полагается денег, не поинтересовался ввиду нереальности происходящего. Начались неожиданные вопросы:

— Номер вашего банковского счета? У вас нет счета в банке? Тогда номер сберкнижки. Как, и сберкнижки нет? Сегодня же заведите. Нет денег? Но ведь нужно всего пять рублей. Займите у кого-нибудь.

Занять я мог только у матери. На мою просьбу — дать эти пять рублей, и тогда придут какие-то там большие деньги из издательства — мать сказала со вздохом:

— Знаю, знаю, что тебе опять не дожить до заплата. Но врать-то зачем? Деньги! От издательства! Сказал бы правду.

Прошло полмесяца. До заплата я и в самом деле не дотянул. Когда совсем прижало, вспомнил

о поездке в издательство и на всякий случай, по пути, зашел в сберкасса.

Девушка-контролер, моя ровесница, достала карточку, заглянула в нее, и что-то в ее лице изменилось. Рядом возникла другая девушка и тоже заглянула, но смолчать не смогла, это было выше ее сил. Она сказала в пространство:

– Такой молодой, а уже гонорары получает.

Я заглянул в сберкнижку. В ней появилась цифра, окончательно подтвердившая полную нереальность происходящего – три тысячи рублей. На службе я зарабатывал в месяц сорок пять.

Подумав, я спросил:

А можно мне взять – ну хотя бы рублей сто? Понимаете, очень нужно.

Девушка зарумянилась. Богатый молодой человек явно издевался. Однако выглядел так невинно, говорил так искренне, что это сбивало ее с толку. Она пожала плечами.

– Да хоть всё берите.

Я взял половину и отправился разыскивать мать.

ПЕСНИ

Я студент первого курса. Когда я буду на третьем курсе, умрет Сталин, но сейчас до его смерти остается еще два года. Кажется, что он, как Кощей, бессмертен, и никаких перемен никогда не будет.

Самое первое и естественное желание переводчика английских поэтов – побывать там, где эти поэты жили и писали. Но об этом нечего и думать. И снова я зажигаю свечу перед большой картой Англии – почему-то физической, с обозначением полезных ископаемых, – гашу свет и сижу в полутьме, при колеблющемся пламени. И каких только не приходит мыслей о славном заморском народе. Как этот народ талантлив, как полон жизненных сил, и как мне близка его поэзия! Читаю одно английское стихотворение, другое, третье, всё меня радует и восхищает, но пока что только радует, только восхищает. И вдруг – вот оно, сердце пропускает один удар. Это стихотворение я буду переводить.

Есть стихи совсем особого рода – тексты английских и шотландских народных песен. Я переводил их, потому что очень любил петь. Голос у меня был – в школе я потешал одноклассников тем, что по их просьбе изображал сирену воздушной тревоги (блокада только что окончилась). Подбирал положение голосовых связок – и одноклассники затыкали уши, пронзительный вой заполнял все четыре этажа школьного здания, появлялся дежурный учитель и отводил меня к директору. Когда же я добрался до английских песен, то с великим увлечением взялся за перевод текстов – чтобы петь самому. А это и есть способ переводить песни. Поешь – и невольно проверяешь, совпадают ли обе мелодии – музыкальная и стихотворная, точно ли ложится текст на музыку, удобно ли петь. Так было с английскими, а потом и шведскими песнями.

Я пел всегда и везде, где только были слушатели. Во время литературных выступлений перемежал чтение переводов пением песен. Пел в столичных редакциях и в глухой провинции, в самодеятельных концертах сельских учителей и за рулем «газика» районной газеты. Пел в гостях. А если слушателей не оказывалось – пел у себя дома, в ванной.

С интересом и вниманием слушала однажды английскую песню Ахматова, требовательно сказала: «Еще» – и повторяла это слово, пока не иссяк весь мой тогдашний запас – восемь английских песен. Уже после смерти Анны Андреевны прибавились песни шведские, в весьма большом количестве.

Когда я пою английскую ли, шведскую ли народную песню, мне представляется русская деревенская девушка. Она прикинула на себя английский или шведский наряд и, стоя перед зеркалом, смотрит и смотрит, любит на себя в обновке.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

СТАНСЫ

Погибает свобода в отчизне твоей,
Но соседи сражаются пылко.

Вспомни мужество римлян и бейся смелей,
Не жалея ни лба, ни затылка.

Мир запомнит, что ты угнетенным помог,
Он, конечно, героя прославит.
И тебя увенчает лавровый венок,
Если прежде петля не удавит.

НЕ БРОДИТЬ МНЕ НОЧЬЮ С НЕЮ ...

Не бродить мне ночью с нею
В тишине полей,
Хоть любовь зовет сильнее,
И луна горит светлей.

Но клинок ножны износит,
А душа износит грудь.
Вот и сердце тихо просит
От блаженства отдохнуть.

Хоть любовь зовет сильнее
В этот поздний час ночной,
Не бродить мне ночью с нею
В поле под луной.

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ НЬЮФАУНДЛЕНДСКОЙ СОБАКИ

Когда надменный герцог или граф
Вернется в землю, славы не стяжав,
Зовут ваятеля с его резцом
И ставят памятник над мертвецом.
Конечно, надпись будет говорить,
Не кем он был — кем только мог бы быть.
А этот бедный пес, вернейший друг,
Усерднейший из всех усердных слуг —
Он как умел хозяину служил,
Он только для него дышал и жил,
И что ж? Забыты преданность и труд,
И даже душу в нем не признают:
Его кумир, всесильный господин,
На небесах желает быть один.
О человек, слепой жилец времен!
Ты рабством или властью развращен.
Кто знал тебя, гнушается тобой,
Презренный прах с презренною судьбой!
Любовь твоя — разврат, а дружба — ложь.
Ты словом и улыбкой предаешь.
Твоя порода чванна и горда,
Но за нее краснеешь от стыда.
Ступай к богатым склепам — и не стой
Над этой урной, скромной и простой.
Она останки друга сторожит.
Один был друг — и тот в земле лежит.

ЭПИТАФИЯ ДЖОЗЕФА БЛЕКЕТА, ПОЭТА И САПОЖНИКА

Здесь дремлет мастер, о прохожий,
Тончайшей мысли, толстой кожи.
Бедняга Джозеф был таков,
Он не износит башмаков.
И так и этак он строчил,
Покуда здесь не опочил.
Ступай потише, милый друг:
Кто подобьет тебе каблук?
Почтим у гробовой доски
Его стишки, его стежки.
Мир помянет его добром,
Владел он шилом, как пером,
Кроил из кожи всё, что мог,
Из кожи лез, кроя стишок.
Чернил он обувь многим людям,
Но мы чернить его не будем.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ

СКВОЗЬ СМЕРТЬ

Георгий Иванов

Теперь, более чем через четверть века, «сквозь смерть», двенадцать лет моего перешедшего в дружбу знакомства с Георгием Ивановым, его духовный облик, его настоящий «портрет» представляются мне совершенно другими, категорически непохожими на те, которые запечатлелись в памяти подавляющего большинства знавших его людей, даже считавших себя его друзьями. Делаю эту оговорку потому, что знаю, что будут возражения, будут и удивление, и возмущение. Что ж — пусть будут. Думаю даже, что в каждом возражении будет находиться какая-то доля правды, ведь человек так сложен, как не бывать наисложнейшей электронно-вычислительной машине, так глубок — как ни один океан.

Вторая мировая война оказалась для Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой настоящей катастрофой: из обеспеченных людей они стали почти нищими. Дело в том, что до войны Одоевцева получала от своего отца из Риги деньги, на которые они могли жить более чем безбедно. Когда я с ними познакомился в 1946 году, они попросту бедствовали. Могут сказать — мол, надо было работать, найти все равно какую работу, но работать. Работал же Смоленский бухгалтером, Гингер — корректором, Туроверов — банковским служащим.

Конечно. Но ни Георгий Владимирович, ни Ирина Владимировна работать не умели. Не не хотели, а не умели. И я имел возможность в этом убедиться.

Всё это сны:
Руки твои ни на что не нужны.
Этим плечам ничего не поднять,
Нечего, значит, на Бога пенять.

Здесь нужно сделать одно замечание. Георгий Иванов был исключительно честен в своих стихах, выставляя себя таким, каким он был «внутри себя». Ему не пришло бы в голову написать, как это делал, например, Ходасевич: «Мне лиру ангел подает,/ Мне мир прозрачен, как стекло». Хотя бы потому, что вряд ли может существовать человек, для которого «мир прозрачен, как стекло». Я вовсе не критикую Ходасевича, который, конечно, знал лучше, чем я, что ему можно писать и чего нельзя.

Летом, в 1948 году, я проводил свой отпуск в маленьком альпийском городке. Получаю письмо от Георгия Иванова: «Ты спрашиваешь о настроении, о планах. Прилагаю стишок:

Собиратели марок, эстеты,
Рыболовы с Великой реки,
Чемпионы вечерней газеты,
Футболисты, биржевики;
Все, кто ходят в кино и театры,
Все, кто ездят в метро и такси,
Хочешь, чучело, нос Клеопатры?
Хочешь быть Муссолини? — Проси!
И просили и получали,
Только мы почему-то с тобой
Не словчились, не перекричали
В утомительной схватке с судьбой».

Он был уверен в своей неспособности к какой-либо работе, кроме писания стихов. Воспринимал эту неспособность как обреченность. Толкуйте это как хотите – суеверие, предрассудок, самовнушение; это ничего не изменит. Это было фактом, и я этому свидетель. И это приносило ему немало унижений и оскорблений, потому что он отлично знал, КТО он и каково его место в русской поэзии.

До войны были деньги, присылаемые отцом Одоевцевой. После войны Латвия была оккупирована СССР, и денежные поступления прекратились. А жить было надо. Георгий Иванов понимал, что теперь содержать жену надо ему. За печатавшиеся в газетах и журналах стихи платили гроши. «Чеховское издательство» переиздало его «Петербургские зимы». Какие-то доллары он получил. Хватило ненадолго. А дальше? – «Руки твои никому не нужны».

Оставалось лишь – ходить с протянутой рукой по «меценатам», небольшой кучке богатых русских – и буквально просить «на кусок хлеба». И это ему – Георгию Иванову! Ведь я уже упомянул, что ценителей его поэзии можно было по пальцам перечесть, к тому же, как правило, чем богаче были «благотельствовали», тем скупее они «благотельствовали».

Последний вечер в 1956 году в Малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи, не собрал даже сорока человек!

Ведь до поэзии, до вечной русской славы
Вам дела нет...

Этот черный период я слишком хорошо знал. Слишком, потому что сам тогда не легко жил и много помочь не мог. Помню, как однажды пришел к ним в дешевый отель, где они жили. Комнату наполнял тяжелый полумрак. Одоевцева была простужена и лежала, Иванов сидел около нее на кровати. Они несколько дней ничего не ели; за комнату, конечно, не было заплачено. Мы вышли с Жоржем что-то купить, наверно, хлеба, колбасы, сыра. О чем говорили, не помню. Вернее, ни о чем: то, что было тогда главным, и так было ясно.

То, что мне хочется, это разрушить легенду о Георгии Иванове – грубияне и цинике, потому что грубость и цинизм служили лишь прикрытием его внутренней беззащитности, боли, обнаженной раны, которыми становилась в такие периоды его жизнь. К одному из них относятся стихи:

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога
И бессмыслица, и грех.

Горестное очарование этих строк не только в том, что они подкупают своей обнаженной правдивостью, но и в том, что, трансцендируя личное, они становятся общим: каждый эмигрант, где бы он ни находился и к какой бы национальности ни принадлежал, может сказать о себе то же самое и такими же словами, превращая их в общеэмигрантскую трагедию.

Это заметил и Наум Коржавин, как-то сказавший мне: «В отличие от других поэтов-нытиков, Георгий Иванов пишет так, что его стихи никогда не воспринимаются как личная жалоба, но как твое собственное переживание».

Были, конечно, и антракты, но редкие и кратковременные. Так, когда Одоевцева написала роман «Оставь надежду навсегда» и за его французское издание получила сравнительно приличный гонорар, на следующий же день они укатили в Ниццу. Ниццу они любили особенно, и Георгий Иванов любил повторять, что в богохранимые времена ее любил и богач граф Зубов за ее «лучший в мире базар», куда за покупками всегда ходил сам. Сколько времени длились «ниццы», уже не помню. Что-то около месяца. Ивановы нанимали там комнату в приличном отеле, наверстывали «черные дни» и возвращались в Париж без гроша. Начинались новые мытарства, новые унижения, новый очередной период «распроклятой судьбы эмигранта». Крепла броня, которой он прикрывал свой внутренний мир, который затем преобразился в один из лучших когда-либо написанных на русском языке стихов – глубоких, точных, музыкальных:

Я верю не в непобедимость зла,
Но только в неизбежность поражения.

Ведь чтобы найти подобные строки, нужно обращаться к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Мандельштаму, Анненскому. Это — строки, на которых можно построить целый философско-религиозный трактат. Или другие, характеризующие расколовшийся на два непримиримых начала современный мир:

Туманные проходят годы,
И попережку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

Или еще — о задаче, миссии людей, преследуемых советской властью:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Перечислять имена бежавших из «планетарного ада» или высланных коммунистической властью носителей веками создававшейся русской культуры и науки — не хватит и газетного листа, может, даже целой газеты — к тому же главнейшие из них известны всему миру. Не Лысенко же с Демьяном Бедным перенесут культуру и науку в грядущие столетия! Перенесут их те, кто, избежав лагеря или вырвавшись из него, очутился на Западе или, как великий Сахаров, предпочел унижения и страдания ради правды. Георгий Иванов сконцентрировал эту истину в четырех строках!

Приведенные примеры — не разбор ивановских стихов, но лишь попытка объяснить, дать почувствовать тем, кто его знал и возмущался его резкостью и грубостью, да, самой настоящей грубостью, — что эти черты были единственной возможностью защиты им своего совершенно беззащитного, детски ранимого внутреннего мира, рождавшего такие строки.

Начиная с послевоенного времени, эмиграция стала для Георгия Иванова «и тюрьмой, и сумой». И чем больше лет проходит с его кончины, с тем большей болью я ощущаю эти его и «тюрьму, и суму». Ощущаю их как свою вину перед ним, хотя тогда я ничем помочь ему не мог.

В 1955 году Ивановым удалось устроиться в дом для престарелых на берегу Средиземного моря, недалеко от Ниццы, в Йере. В доме было много испанцев, преимущественно «красных», в свое время убежавших от Франко. С некоторыми из них Георгий Иванов близко сошелся и даже подружился, хотя сам был закоренелым монархистом. «Правее меня только стена», — любил повторять он. В Йер я приезжал три раза во время летних отпусков. Он мне рассказывал о своих испанских друзьях, подчеркивая их исключительную порядочность и обаятельность. Это тоже показательная черта его характера: он не оценивал человека на основании одних лишь его политических взглядов.

В первый мой приезд в Йер я нашел Жоржа более спокойным: заботы о насущном отпали, какие-то мелкие деньжата появились — выдавали небольшие пособия, что-то присылали друзья. В Париж я привез сразу же запомнившееся последнее написанное им стихотворение, начинавшееся словами: «Свободен путь под Фермопилами» и кончавшееся:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.
Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Русская молодежь неповинна в грехах родителей и не ведает, что живет в тюрьме. Лишенный собственных своих радостей, русский поэт радовался за нее.

Во второй раз, в 1957 году; он был уже другим, сгорбился, тяжело дышал, трудно ходил. Мы еле доплелись до скромного рестораника, что находился метрах в трехстах от их дома. Почти ничего не ел, не выпил и глотка вина (а как раньше любил!). Разговора о его здоровье не поднимали. К чему?

В Париже, как и раньше, почти каждые две недели получал письма из Йера, больше от Одоевцевой, с июня только от нее: «Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку, Жорж очень просит. Ему стало хуже...» Раз два послал, потом – не было денег. (Случались и у меня такие «периоды»).

29 августа 1958 года снова приезжаю в Йер. Вхожу в Дом, спрашиваю – где комната Ивановых. Замешательство. Кто-то смущенно отворачивается, кто-то провожает и указывает на дверь. Стучу и, не дожидаясь ответа, вхожу. Вся в черном сидит Одоевцева.

– А Жорж?

– Позавчера...

На местном кладбище – чуть заметный бугорок земли, маленький, связанный из двух веток воткнутый в него крест.

Повторяю одни из последних написанных им строк:

.....
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть, вернуться в Россию – стихами.

Ты уже вернулся, дорогой Жорж. И если бы знал, КАК вернулся! В России тебя уже знают, читают, перечитывают, запоминают навсегда.

Владимир Алексеевич Смоленский

Владимир Алексеевич Смоленский был безусловно самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами рук. Я сказал «музыкальными» потому, что жесты словно аккомпанировали музыке его поэзии.

Он был первым из парижского литературного мира, с кем я познакомился. Это было в конце 1944 года. Познакомился и с его второй женой, Таисией Ивановной, которой он посвятил немало своих стихов.

Постепенно знакомство перешло в настоящую дружбу, так что до его кончины в 1961 году я, как правило, минимум раз в неделю заходил по вечерам к нему, на седьмой этаж улицы Лакретель, минутах в пятнадцати, «на своих двоих», от моей «Церковной» (rue de l'Eglise). Заходил просто, захватив бутылку вина (против чего регулярно протестовала Т.И.), которую мы распивали за ужином и за беседами о «странностях любви», об очередных сплетнях и, конечно, о поэзии. Особенно мне запомнилась одна из этих бесед. Пишу «запомнилась» в кавычках потому, что сейчас, более двадцати лет спустя, не помню ни одного им сказанного слова, но ощущаю «сквозь смерть» неповторимое метафизическое звучание беседы.

Смоленский не был большим поэтом, таким, как, например, Ходасевич или Пастернак, но это был в полном смысле слова «поэт Божьей милостью», живший поэзией и ничего выше ее не признававший. Но это был сложный и глубоко несчастный человек. Наиболее близко я с ним сошелся во время летних отпусков, которые он, Т.И. и я проводили в альпийском городке Сервоз, километрах в пятнадцати от подножия Монблана. Смоленские снимали комнату у местных крестьян, я – в скромном отельчике. Это было в конце 40-х и в начале 50-х годов. Уже тогда у Владимира с Т.И. начинался разлад. Что было тому причиной? Чужая душа – потемки, да еще душа глубоко неблагополучная. Я почти никогда не видел радости на его лице, разве что перед снежным великолепием Монблана или играющими маленькими детьми. Тогда лицо Владимира преображалось, просветленное грустной радостью. Я понимаю онтологическую несовместимость этих слов, но в экзистенциальном плане мира, в котором жил Смоленский, это было воистину так.

За все годы нашей дружбы я не заметил – может быть, был недостаточно наблюдателен, – чтобы у Смоленского были враги. Единственно кого он ненавидел – это большевиков, убивших у него на глазах отца. Для него они были палачами «его России». Поэтому когда после Второй мировой войны немногие русские эмигранты, среди которых были и близкие ему люди, взяли советские паспорта и ждали возвращения на родину, Владимир к ним охладел; не поссорился с ними, а именно охладел: вычеркнул их из своей души. Их имен называть не буду.

Дело не в них, а в моем друге Володе Смоленском. Каким он проступает передо мною, «сквозь смерть», двадцать два года спустя? Трудно, невероятно трудно сказать. Мне чувствуется в его душе столько неизжитой боли и тоски, что не хватает подходящих слов, чтобы передать это читателю – человеку, лично его не знавшему, и не удивить знавших его мало. Попробую это сделать через его стихи, но, конечно, не в литературоведческом смысле, а в смысле человеческого, душевно человеческого. Здесь мне кажутся характерными два стихотворения:

Как летящая из сил последних птица
Посредине ледяного океана,
С верной смертью продолжает биться,
Средь ветров, и стужи, и тумана.

Как она должна свое дыханье
С силою своею соразмерить,
Чтоб в себе преодолеть желанье
Больше не бороться и не верить.

Что должно ей, этой птице, мниться
В океане том необозримом... –
Так и ты, душа, должна стремиться
К берегам своим недостижимым.

Вот этой птицей мне и представляется живший «из последних сил» Смоленский. «Ледяным океаном» – его жизнь, ставшая «ледяной» отчасти по его собственной вине. Или судьбе? Ведь в том-то и тайна человеческой жизни, что зачастую личная вина и «слепая» судьба неразрывно сплетены. Какая же это вина? Во всяком случае, совершенно достаточная, чтобы жерновом навалиться на предельно тонкую и чуткую душу.

И второе, подобное первому:

Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.
И, может быть, она уже стареет...
За годом год, за ветром ветер веет,
Раскосые кругом теснятся люди –
Но нет меня и никогда не будет,
У маленькой и желтоватой груди.

Сергей Рафальский считал это стихотворение одним из лучших и, во всяком случае, лучше других выражающим внутренний мир, умонастроение Смоленского: не только он разлучен со своей любовью, но и его любовь разлучена с ним; он обречен жить с мечтой, но и мечта обречена жить с ним. Снова двойная обреченность.

Георгий Иванов, как и Смоленский, ненавидел и не принимал советский мир. Но будучи меньшим лириком и большим реалистом, в какой-то момент понял, что жить в двух мирах нельзя, «проснулся, чтоб увидеть ужас, бессмысленность своей судьбы...» Владимир такого пробуждения не хотел, а вдруг... И поэтому старался «убежать»:

Мне трезвый мир невыносим –
Недвижность есть в его движении.
Пронизан мглой, пропитан тленьем,
Безвыходной тоской томим,

Он мне невыносим. Люблю
Божественное опьянение...

Поэтому:

Мы будем пить, пока вино в стаканах,
Мы будем жить, пока любовь в сердцах,
Бессильны против любящих и пьяных
Земная злоба, нищета и страх...

Здесь все же придется коснуться личной жизни поэта. Он кончил какую-то коммерческую школу и работал бухгалтером на небольшой фабрике, принадлежавшей почитателю его поэзии. Не думаю, чтобы он был хорошим бухгалтером, даже не в смысле профессионализма, но просто потому, что считал недостойным поэта такое ремесло: «считать деньги!» Но надо было как-то жить, а значит, как-то работать. Ничего другого Владимир делать не умел. Когда я его спрашивал, почему он пошел на бухгалтерские курсы, он только разводил руками.

Затем семейные обстоятельства. Таисия Ивановна была его второй женой. От первой у него был сын Алеша, высокий, стройный, интересный — но не такой красивый, как отец, — юноша, которого я видел два раза. С Т.И. отношения у Владимира были одинаково (так мне казалось) и трудные, и светлые.

Во всяком случае, одни из лучших его стихотворений посвящены ей:

Не знаю как, не знаю почему,
Какими силами земли и неба,
Но ты со мною делишь корку хлеба
И к сердцу приникаешь моему.
И в смерти час и в вдохновенья час
Со мною ты всегда неотделимо.
Все движется, все — мимо, мимо, мимо...
Недвижно лишь твоих сиянье глаз.

Или конец другого:

И я пойму, зачем из темноты
Я вызван был на счастье и муки,
И улыбнусь... Ко мне склонишься ты
И на груди мне накрест сложишь руки.

Не помню, чтобы Смоленский ходил в церковь. И не потому, что был неверующим. Но потому, что и вера его была мучительной: она как бы раздваивалась между Богом и Христом. Здесь — тайна; ведь и Христа он считал Богом, но Христос был ему ближе своей *богочеловечностью*. Бога же он воспринимал скорее по-древнееврейски «сокрушающим ребра» и «карающим». Отсюда и страшные строки:

Проклясть земной и страшный мир,
Людей и ангелов и Бога...

За что? За то, что

Ты отнял у меня мою страну,
Мою семью, мой дом, мой легкий жребий,
Ты опалил огнем мою весну,
Мой детский сон о правде и о небе...

Толковать их не берусь, даже сейчас, «сквозь смерть», потому что сам Владимир не отдавал себе полностью отчета в том, что написал. Могу только — но опять же, лишь его собственными стихами, — дать представление о его душевном состоянии:

Никакими словами, никакими стихами,
Ни молчаньем, ни криком — ничем
Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами,
О том, что закрытыми видишь очами,
Когда неподвижен и нем,
И глух, ты лежишь, как в могиле, в постели,
На грани того бытия,
И в темном, надземном, надзвездном пределе,
Над жизнью и смертью, без страха, без цели
Душа пролетает твоя.

Никакими словами...

Фотографически запечатлелись наши горные прогулки вдвоем в Сервозе. Сговаривались с вечера, что Владимир зайдет за мной, потому что из моего отельчика, сразу после небольшой площадки перед ним, поднималась извилистая дорожка на горный перевал. Она проходила возле шалаша деда Бушара, которому принадлежал небольшой клочок земли, где, кроме елей, росло еще несколько сливовых деревьев. Из плодов их дед гнал отличный «мар» (местный самогон) и продавал по баснословно дешевой цене. Мы частенько его покупали, и это служило поводом не брать с собой, несмотря на все ее домогательства, Т.И. Домогательства Смоленского раздражали, но понять Т.И. было нетрудно, так как случалось, что за такую прогулку, длившуюся три-четыре часа, мы иногда выпивали всю бутылку. Мар нас нежно пьянил, развязывались языки и распахивались души, а горный воздух, развеивая алкогольные пары, предохранял от «положения риз». Внизу, конечно, доставалось и Владимиру, и мне.

Совсем другими вспоминаются последние, длившиеся почти год, месяцы мучительного умирания Смоленского от рака горла, особенно после операции, когда он уже почти, точнее, совсем не мог говорить, отвечая жестами или написанными на бумаге несколькими словами. Они раковой опухолью врезались мне в память, и мне физически тяжело о них писать. Ведь дело касается чувства, духовно-душевной драмы, с которой я соприкасался, входя в квартиру Владимира. В ней уже хозяйничала смерть, она была почти физически ощутима, но какой-то издевательский оптимизм (или слепота?) прогонял мысль о ней. Творилась мистерия, и у меня не хватало слов ее описать. Да я и не знаю, существуют ли для таких вещей слова. Воистину «никакими словами...»

Чужая душа — потемки. Но в потемках, ощупью, можно все же как-то пробираться. К душе Володи Смоленского мне до сих пор страшно прикоснуться, столько в ней было любви и нежности, горести и отчаяния. И вот они сейчас расположились вокруг меня, я их чувствую, как мои собственные, но подойти к ним, коснуться их — не в силах.

Одна только боль, боль, боль.

И вот 8 ноября 1961 года, часов в десять утра, телефон. Звонила наша общая знакомая поэтесса А.И.Горская: «Скончался Смоленский...»

Ему было 60 лет.

Он лежал на кровати, смуглый, с белым венчиком на лбу. Еще более красивый, чем при жизни. Почему-то мелькнула мысль (до сих пор от виденья не могу отделаться): таким был Магомет.

В комнате были Т.И., ее младшая сестра и муж сестры, священник И.Верник. Около кровати на стуле лежала открытая книжка стихов Бунина, которые за последние недели Владимир очень полюбил. Самого же Бунина он всегда любил. И Бунин его. Насколько помнится, больше никого не было. Не было и слез. Одна лишь, в каждом ушедшая в себя, напряженность.

Я старался стихами Смоленского передать его образ, облик, внутренний мир. Приведу теперь его любимое, «коронное», которое он читал на всех своих выступлениях, и всегда сопровождавшееся бурными аплодисментами:

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косыя
В небесный ударяют щит,

А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.

Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы или из могилы
Выходит, улыбаясь, мать.

И вот, стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему —
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.

Публикацию подготовил Александр Радашкевич

ДВА ЭССЕ

КЛЮЧИ ОТ «МИРГОРОДА»

Первый поворот ключа

Неужели в Миргороде водится нечистая сила, да еще такая, какой нигде в другом месте на всем белом свете не встречали?

А рыцари с чубами и сабелюками, в необъятных шароварах из дорогого алого сукна, нарочно, из презрения к богатству, вымазанных дегтем, те самые рыцари, что беззаветно преданы своему боевому товариществу и родной земле, они что ж, тоже из Миргорода?

Что ж это за дивный город, о котором только и было известно от людей, проезжавших через него в места более известные и привлекательные, что водится посреди этого города непросыхающая лужа, столь любимая свиньями, да еще водятся там бублики, весьма вкусные, хотя и «пекутся они из черного теста».

...В электричку берешь с собой книжку, готовую разделить с тобой все тяготы предвыходного путешествия, ту, что выдержит и тесноту, и напор, и каплю подтаявшего мороженого от зависшего над тобой попутчика, и... словом, томик Гоголя из серии «Библиотека школьника», с единственной картинкой на бумажной обложке, прошедший с тобой уже ни одну сотню пригородных верст, спутник надежный и проверенный.

Странное дело, есть такое понятие – «дорожное чтение». Относящаяся к этому разряду литература считается как бы «не претендующей». Не претендует она ни на достойный художественный уровень, ни на серьезность, ни на глубину, зато непременно должна быть занимательной...

И что ж это за занимательность, если ни уму, ни сердцу?

Да простят меня любители «легкого дорожного чтения», но ничего скучней развлекательной литературы не знаю.

Как говорил незабвенный Собакевич, «ты мне лягушку хоть сахаром облепи, а я ее есть не стану». Облепленные и хохмами, и сексом, и кровью «развлекательные лягушки» не для моего организма. Иное дело литература из серии «Библиотека школьника», здесь и десяток-другой страниц перевернешь – и снова чувствуешь себя школьником, но какой школы! Той, где до сих пор не покинули своих учительских мест лучшие и умнейшие люди нашего не бедного на таланты Отечества.

Иногда вещи как бы совершенно привычные видишь словно впервые, будто глаза у тебя шире открылись.

О том, что «Тарас Бульба» и «Вий» впервые были опубликованы Гоголем в сборнике под названием «Миргород», естественно, я знал, как и все, со школьных времен. А тут, увидев на бумажной обложке джужего казачину во всей живописности своего наряда, вооружения и выражения усов, а под ним слово «Миргород», вдруг подумал: это что ж за загадку загадал мне Гоголь Николай Васильевич, а я все хожу себе и не вижу его долгой и тихой усмешки.

Нет, не зря он признавался своему другу детства, отрочества и юности А.С. Данилевскому: «Мне всегда приписывали какую-нибудь скрытность. Отчасти она есть во мне».

Ох, Николай Васильевич, «отчасти» ли?

Не весь ли вы скрытность и загадка, начиная со злосчастной поэмы вашей, с «Ганса Кюхельгартена», скупленного вашим слугой в магазинах Петербурга и преданного вами огню, и кончая неведомыми нам страницами второго тома «Мертвых душ», также обращенными вами в пепел?

Два костра озаряют вашу биографию, где и событий-то никаких, кроме разъездов да сочинительства, нет.

Освещают эти два костра вашу загадочную судьбу, но странным светом, нисколько не добавляющим ясности...

Случайного в своих сочинениях Гоголь не терпел, а потому и переписывал и совершенствовал свои уже увидевшие свет шедевры, и по многу раз. Стало быть, и четыре повести, парами, в затылок друг другу выстроенные в сборнике, поставлены так не случайно.

Первую часть «Миргорода», как всем известно, составляют «Старосветские помещики» и... «Тарас Бульба»!

Удивления достойна пара и во второй части: скачки на ведьме, полеты черного гроба в ночной церкви – это «Вий», и зауряднейшая история нелепой ссоры, которой даже названия не придумалось, и потому рекомендована она читателю как бы прямо объявленным содержанием: «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Окажись у меня в электричке под рукой книга «Реализм Гоголя» одного из самых замечательных исследователей творчества Гоголя Георгия Александровича Гуковского, погибшего в заключении и труда своего не закончившего, я еще бы раз перечитал страницы, посвященные «Миргороду». Впрочем, в памяти осталось впечатление о том, что исследователь уж очень сложно объяснял композицию «Миргорода», так сложно, что и запомнить не удалось. Пришлось на манер Тяпкина-Ляпкина, который, как известно, аж до сотворения мира своим умом дошел, попытаться, тоже своим умом, понять соединенность в пары уж очень различных героев.

Что за компания, создатель?

Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем, тишайшие люди, с одной стороны, и неуправляемый в своих порывах Тарас Бульба с удалыми сыновьями, с другой.

А вторая часть? С одной стороны, «Вий», где главным действующим лицом означено железное лицо косолапого приземистого существа с длинными веками, опущенными до самой земли, и «Повесть о том, как поссорились...», где действующими лицами можно скорее признать бабу, вывесившую на просушку ружье, или бурую свинью, похитившую судебное прошение, но никак не Ивана Ивановича, не Ивана Никифоровича, фигуры совершенно неподвижные, способные разве что топтаться всю жизнь на месте.

Итак, понять, почему повести выстроены именно в таком порядке, именно в этот ряд, значит понять, быть может, что-то весьма важное в каждой из них.

Ключ к «Миргороду» – это ключ к четырем сочинениям совершенно удивительным и таким несхожим между собой по всем статьям, кроме мастерства исполнения.

И вместо того, чтобы читать взятую в дорогу книжку, начинаю решать задачу.

Естественно было предположить, что, открывая сборник «Старосветскими помещиками», до этого не публиковавшимся, автор рассчитывал на то, что с этой неизвестной читателю вещи и начнется чтение всей книги.

Дальше следует «Тарас Бульба», тоже впервые предъявляемый публике.

Можно предположить, что, поставив эти две вещи одну за другой, автор рассчитывал на эффект контраста... Логично? В том-то и дело, что *логично*, до уныния логично. Будто не гениальный писатель сборник «Миргород» составил, а начинающий литературный критик.

Впрочем, случилось и Гоголю выступать критиком, но и в этой роли он оставался художником.

Тут же предстали в воображении впечатавшиеся в память подробности обеих повестей.

Как хороша военная нота в «Старосветских помещиках»!

Помните, как Афанасий Иванович пугал Пульхерию Ивановну своим намерением пойти на войну, причем сообщалось это непременно при госте? Гостя же Пульхерия Ивановна и утешала, демонстрируя при этом некоторую осведомленность в военном деле: «Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит».

Врезались в память и боевые эпизоды из «Тараса Бульбы».

«Не уважали казаки чернобровых паненок, белогрудых, светлооких девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам... Но не внимали ничему жестокие казаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали им же в пламя. “Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!” – приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении».

Нет у меня весов, на которых взвешу, чье душегубство страшней, ляхов ли, четвертовавших и снимавших кожу с живых казаков, или казачья месть за муки товарищей. Но есть ли сцена более жестокая в отечественной литературе прошлого века?

И есть ли в этой же литературе разговор более умирительный, сердечный, исполненный участия и доверия друг к другу, чем беседы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны?

«За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою...

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет».

...И вдруг я понял, что никогда раньше не читал именно подряд эти две вещи, выстроенные автором одна за другой.

Что же соединяет эти два сочинения, что их сближает и делает как бы неотделимыми друг от друга?

Мне показалось, что я угадал, а может быть, услышал не высказанное автором прямо: обе эти вещи — о ЛЮБВИ!

Да, что бы ни говорили строгие и мудрые судьи о «существователях», чьи интересы не перелетают за забор, огораживающий их усадьбы, но, отважimsя признаться, кто же не мечтал о гармоническом единении с другой душой, с другим существом, которое вот так же чутко, нежно, участливо и бескорыстно откликалось тебе и которому ты, в свою очередь, был бы так же не тягостно желанен и необходимо дополнял бы собою мир...

Ваша душа должна быть исполнена любви, настроена слухом сердца на постижение этого многообразного и высокого чувства, чтобы, вступив в следующую повесть, в «Тараса Бульбу», прочитать и ее как повесть о любви.

Доказательства основательности этого подозрения не влезут в короткие заметки, но что роднит добрейших и безобидных старосветских помещиков и пеструю вольницу запорожцев?

Проба смертью.

Вспомните, как умирала Пульхерия Ивановна, и в смертный час всецело погруженная в мысли о своем Афанасии Ивановиче, коего любила, судя по всему, даже больше жизни. А как умирали казаки? Мы помним, как умирал Остап, помним и смерть Бульбы, не чующего под собой костра, но с радостною душою взирающего на спасение своих товарищей. А помним ли гибель множества славных казаков, того же Степана Гуски или Бовдюга, чья душа понеслась к вышним, рассказать, «как умеют биться за Русскую землю и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».

И тех, кто верен своей земле, верен товариществу, верен воинскому долгу, возлюбит казацкий бог!..

Я вспомнил, что видел этого бога. Он, чуть пряча улыбку, сидел в окружении счастливого хоровода апостолов в росписи центрального купола одной из самых старых киевских церквей, Кирилловской, что на Подоле. Именно он, румяный и круглощекий, не с терновым, а вроде бы и цветочным венком на челе, должен был принять из рук ангелов молодую душу сраженного вражьи копьей под сердце куренного атамана Кукубенко... «Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос. — Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберег мою церковь».

И то, что Христос обращается к атаману по-воински, по фамилии, напоминает о том, что и Он — воин и пришел в этот мир с мечом.

Нет, это надо же в себе чувствовать такую силу и такое право, чтобы взять вот так и взмахом пера начертать: «Садись, Кукубенко, одесную меня!..»

Это уже прямо строка из Евангелия от Николая Васильевича.

И мысленно ты уже несешься вслед гению и страдальцу, всю жизнь искавшему пути к высшей любви, все обнимающей, к высшей, последней правде и всепримиряющей справедливости...

Для чего возишь с собой томик из «Библиотеки школьника», читаешь для чего?

Для того и читаешь, чтобы встретиться вот с такой строчкой: «Садись, Кукубенко, одесную меня!..» и ходить целый день счастливым.

Второй поворот ключа

Как читать классику, чтобы прикоснуться к той глубине содержания, которая и составляет непреходящую ценность нашей великой литературы?

Наверное, это очень сложно... Нужно беседовать с многоумными людьми, читать мудреные литературоведческие книги, ходить на лекции и в кружки...

Да, конечно, кто ж спорит, но есть и другой путь приобщения к богатству содержания классических сочинений.

В этой связи мне памятен ответ великого пианиста XX века, Святослава Рихтера, на вопрос в телевизионном интервью.

«Сегодня очевидно, — сказали Святославу Теофиловичу, — что вами создана уникальная исполнительская школа. Что вы считаете отличительной чертой этой школы? Как вам удалось достичь такой глубины и оригинальности в вашем искусстве?»

Можно было ожидать пространного, оснащенного сложной музыкальной терминологией ответа.

Ответ же был краток и прост, потому что отвечал гений.

«Я просто внимательно смотрю в ноты», — сказал великий маэстро и не добавил больше ни слова.

Внимательно смотрю в ноты?..

Понятно, что каждый из нас «внимает» и нотам, и написанному тексту в меру своих возможностей, но я убежден, что путь, указанный «школой Рихтера», безошибочен, плодотворен и доступен не только избранным.

...Ну что ж, попробуем без оглядок на необъятное количество комментариев к сочинениям Гоголя, *внимательно* взглянуть и на вторую часть сборника «Миргород».

Внимание же наше объясняется желанием продолжить поиски ответа, поиски нити, так причудливо соединившей в первой части и во второй разительно непохожие между собой повести.

В первой части сборника «Миргород» это сельская пастораль, «Старосветские помещики», рядом с героико-романтическим «Тарасом Бульбой». Вторая же часть соединяет фантастические приключения бурсака и ведьмы, «Вий», с историей двух провинциальных туенядцев и сутяжников, «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«...Так соединили, не так соединили, какая разница?..»

Полагаю, что для невнимательного читателя — никакой. Но в этом случае, быть может, от читателя ускользнет заветная, существенная мысль автора, а следить за мыслью великого человека и сам Пушкин считал интереснейшим занятием!

Что считать в литературе интересным, что считать занимательным?

Набивший руку сочинитель, знающий современный рыночный спрос, без труда даст читателю возможность в меру вывалиться в грязь, пощекочет его нервы, поиграет на самых низменных инстинктах, даст насладиться откровенной или полуоткровенной похабщиной, щегольнет жаргоном, блеснет остроумием и приоткроет якобы одному ему известную связь власти с преступным миром... и т.п.

Какими вопросами заманивают читателя сочинители занимательной литературы?

«Кто убил?», «Кто украл?», «Кто предал?», «Где спрятал?» и т.д.

Режиссер Жалакявичус рассказал как-то, как к нему после демонстрации фильма «Никто не хотел умирать» в посольстве США в Москве подошла жена посла. Дитя образцовой нынче для нас американской цивилизации поблагодарила режиссера за доставленное огромное удовольствие, поздравила с успехом, а в конце доверительно поинтересовалась: «Извините, но я все-таки не поняла, где же было золото?» Ей и в голову не могло прийти, что так много и ловко можно пролить крови по какому-то другому поводу.

Чем безоглядней мы будем участвовать в процессе «переоценки ценностей», тем скорее и наши мозги так же замыкаются и приобретут простодушную округлость.

Не для таких мозгов вопросы, заботящие автора даже в такой искрящейся и веселой истории, как «Сорочинская ярмарка».

Почему же все заканчивается не сладким поцелуем соединившихся возлюбленных, а грустным и глубоким вопросом, обращенным автором к самому себе, а может быть, и к нам?

Ревнитель строгих правил в литературе, В.В. Набоков, и к классикам относившийся без снисхождения, ужасался, представляя себе Гоголя, «строчащего на малороссийском том за

томом «Диканьки» и «Миргорода» о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреех и лихих казаках».

Напрасно самолюбивый мэтр спешит махом перечеркнуть едва ли не половину написанного Гоголем.

Нет, не было до Гоголя «фольклорных повестей и романтических историй», заканчивающихся так, как заканчивается «Сорочинская ярмарка», и начинающихся так, как «Майская ночь», где радость и уныние об руку являются на сцену.

Читая его «Диканьки» и «Миргорода», необыкновенно интересно следить, как последовательно, именно с первого шага идет гений к вопросам, на которые будет искать ответ всю жизнь: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами!»

В мучительных и долгих поисках ответов, от которых зависела не только его судьба, Гоголь открывал сокровенные связи, что сплетали жизнь в нашем, именно нашем, отечестве в узор пленительный и таинственный, однако способный, чуть измени зрение, обернуться картиной отталкивающей... Не так ли несравненной красоты панночка вдруг обращается в кровожадную ведьму в «Вие»?

С чего начинается «Вий»?

Гремят колокола над Киевом, звенят у ворот Братского монастыря, соединяя небо и землю и призывая заодно бурсаков в классы...

Как заканчивается «Вий»?

Звонарь, онемевший от выпитого на поминках по сгинувшему от нечистой силы Хоме Бруту, бежит спать «в самое отдаленное место в бурьяне, причем не позабыл, по прежней привычке своей, ухватить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке».

Повесть о летающих в полночной церкви черных гробах, о ночных прогулках на спине ведьмы над земными безднами начинается в стихии самой что ни на есть реалистической, бытовой, преподнесенной чуть иронически, и заканчивается возвращением в эту же стихию, где последнюю точку назначено исполнить аж старой подошве.

«Славный был человек Хома!» — только что возглашал на поминках знакомый нам звонарь.

«Славная бекеша у Ивана Ивановича!» — возглашает автор в первой же строке, приглашая нас к знакомству с героем новой повести, поставленной в сборнике в затылок «Вию».

Совпадение?

А то, что обе вещи заканчиваются в церкви, тоже совпадение?

В «Вие» нечисть, с подсказки чудовища с веками, опущенными до земли, набросившись на несчастного Хому Брута, читающего в церкви у гроба панночки заупокойную, не расслышала утреннего крика петуха, не успела выскочить вон... «Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом... и никто не найдет к ней дорогу».

А вот конец «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Финал. Автор едет под унылым проливным дождем через Миргород.

«День был тогда праздничный; я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью и вошел тихо... Церковь была пуста... Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами: позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?..

В это время лампада вспыхнула живей перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа... Это был сам Иван Никифорович!»

Здесь же, чуть подальше, оказался и другой герой повести, Иван Иванович; оба бывших приятеля, замершие навеки в нечистой, мелкой, позорящей человеческое звание тягбе.

Надеясь, даже изначально настроенный на несогласие читатель принужден будет согласиться, что не может быть случайностью и такая рифма, как замершая в церкви нечисть в одной повести и в церкви же обнаруженные автором замершие два уroda.

Именно читая вслед за «Вием» повесть о соре и более гнусной, чем смешной, тягбе двух почтенных жителей «Миргорода», обращаешь внимание на то, как часто в этой по всем статьям обыденнейшей, не претендующей на подглядывание за иными мирами истории поминаются «черт» и «сатана».

Можно привести примеры, но читатель и сам при желании найдет их в изобилии.

Можно ли хотя бы на основании предъявленных наблюдений сказать о том, что обе повести стоят рядом не случайно?

И та и другая вещь, как мне кажется, — о НЕЧИСТИ.

Если «Вий» сообщает о присутствии в мире чего-то таинственного, необъяснимого и враждебного людям, то вторая повесть обращает нас к нечисти, поселившейся в нас самих.

Против нечистой силы, обитающей и действующей вовне, есть надежные средства, даже против ведьмы, и автор с готовностью их рекомендует: «Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет... Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы».

А если без шуток.

Есть ли средство против нечисти, разъедающей наши души, сводящей наши страсти и желания к обладанию ношеной бекешей, неисправным ружьем... или грудой золота, есть ли средства от этой порчи?

Нет, тут не помогут ни заклятья, ни плевки.

Остается лишь тяжко вздохнуть, запахнуть мало спасающей от бесконечного дождя рогожей и горестно вымолвить:

«Скучно на этом свете, господа?»

Прощай, Миргород!

Мы, кажется, поняли, почему автор выбрал именно тебя ареной для представления картин забавных, загадочных и героических.

Миргород — не географическая точка, не населенный пункт, а мир, МИР... Мир, где любовь друг к другу наполняет смыслом жизнь, казалось бы, самых никчемных существователей, где любовь к отечеству пестрое собрание людей превращает в народ, и каждому человеку придает неодолимую силу.

Это мир, где нечистая сила способна овладеть и жизнью и душой, если поддаться ей, если не распознать ее, способную явиться то в обличье красавицы, чьи уста — «рубины, готовые усмехнуться», то в обличье гусака, шипящего и самодовольного, навеки в нас поселившегося...

Прощай, Миргород!

«Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо».

Медленно... пронеслась!.. мимо...

Что за наслаждение — «внимательно смотреть в ноты»!

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ...

Я почитаюсь загадкой для всех,
никто не разгадает меня совершенно.

Гоголь

Казалось, большего кавардака, неразберихи, суеты, бестолковщины и вздора не случилось в Москве за всю долгую и пеструю ее историю: Москва после двадцати девяти лет подготовки открывала наконец памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю.

Мысль о том, чтобы соорудить памятник Гоголю в Москве, родилась сразу же в день торжественного открытия на Тверском бульваре памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Это был счастливый день народного торжества, единения, взлет национального самосознания — такое хотелось пережить еще раз, и как можно скорее.

Тут же объявили *всенародную* подписку на памятник Гоголю и собрали четыре тысячи рублей.

Да вот беда, деньги на *всенародный* монумент не хлынули рекой, даже не побежали ручьем, их пришлось выдавливать по капле. Если «монумент» в переводе с латинского значит — «напоминание», то сбор денег «на Гоголя» напоминал извлечение Петром Ивановичем Бобчинским денег из прорехи в правом кармане Петра Ивановича Добчинского. За последовавшие за тем десять тысяч дней собрали еще сто тысяч рублей, почти по червонцу в день. Не густо, если учесть многолюдство читателей Гоголя и безмерную продолжительность срока, ушедшего на сборы. Правда, семья промышленников Демидовых пожаловала меди 110 пудов, по двадцать два рубля за пуд, вклад существенный.

Из глубины 1880 года казалось, что времени достаточно, чтобы в 1902 году пятидесятилетие со дня кончины писателя отметить открытием достойного монумента. Но дело двинулось таким неумышленным образом, словно вожди всего предприятия отдали в руки Селифана, только что обласканного *тонкими* *приятелями* из маниловской дворни...

Едва-едва успели к столетию со дня рождения, которое с неотвратимостью наступило в 1909 году.

Ну как не восхититься ни с чем не сравнимой российской неспешностью!

Обществу любителей российской словесности, тому самому Обществу, где на публичном заседании, посвященном открытию памятника Пушкину, произнес свою речь-завещание Достоевский, давший определение *всечеловеческой отзывчивости* русской души, понадобилось всего лишь десять (!) лет, чтобы учредить Комитет по сооружению памятника.

Прошло после этого радостного и долгожданного события всего-навсего три года, и государь сподобился своей монаршей милостью повелеть Комитету «открыть действия». Воля государя — свята, слово самодержца — закон. Однако, будто для какой-то исторической симметрии, опять же ровно через три года после монаршего повеления Комитет собрался на свое первое заседание, то есть *открыл действия*.

Наконец-то была оглашена и фамилия члена Комитета, к которому следовало обращаться по вопросам, касавшимся до сооружения задуманного памятника.

Фамилия члена Комитета была — Нос!

А.Е. Нос.

«— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!»

Вот, вот, иногда только ссылками на шутки черта и можно объяснить все происходившее с самим Николаем Васильевичем Гоголем и вокруг него.

Промелькнул двадцать один год со дня рождения счастливой идеи, и как раз накануне пятидесятилетия со дня смерти Гоголя Комитет, украшением которого был, безусловно, господин Нос (где только отыскали?), объявил «условия на составление памятника».

Без проволочек, всего лишь за шесть лет (проницательные критики находят в этой кратности цифре «три» бездну смысла!) был проведен конкурс. Поданные скульпторами известными, именитыми, авторитетными проекты были отмечены почетными местами, наградами, премиями и... к исполнению не приняты.

Неукротимо приближалось 100-летие со дня рождения, а вместе с ним и необходимость дать отчет в потраченных времени и деньгах.

Тут же родилась новая счастливая идея — поручить памятник только одному скульптору, а конкурс — ну, как бы конкурс — сделать из мнений участников Комитета. А что?..

«... Русский человек в решительные минуты найдет, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения... поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: “Эй, вы, други почтенные!” и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога».

Если Селифан таким традиционно-национальным способом привезет Чичикова к Коробочке, а Коробочка-то и приведет предприимчивого героя к краху, то в нашей истории дело пошло вовсе фантастической дорогой, конца которой и по сей день не видно, поскольку история с памятником Николаю Васильевичу Гоголю в Москве не может считаться оконченной, впрочем, как и в Санкт-Петербурге, где зародышу памятника скоро исполнится полвека, и вся его дальнейшая жизнь как бы еще впереди.

Итак, для важности и ответственности каждого члена Комитета наделили правом «вето», чтобы будущий проект, если и будет принят, так только единогласно. Да как же быть ему не принятым, если неизбежное единодушие было гарантировано надвигающейся датой, отступить за которую некуда?!

Выбор Николая Андреевича Андреева для исполнения памятника Гоголю был в высшем смысле провидческим: именно из рук этого скульптора выйдут и будут как бы руками этого скульптора соединены два самых фантастических и до нынешних времен до конца не разгаданных героя нашей отечественной истории — Гоголь и Ленин.

Вершиной творчества Николая Андреевича Андреева будет признан памятник основоположнику фантастического реализма, Гоголю, и *лениниана*, серия скульптурных изображений человека, сумевшего самые, казалось бы, невероятные свои фантазии обратить в плоть и кровь.

Гоголь, не обидевший в жизни мухи, будет сидеть на постаменте сгорбленный то ли от боли, то ли от стыда. Владимир же Ильич в исполнении Н.А. Андреева с натуры во множестве ракурсов предстанет перед зрителями благостно задумчивым и умудренно мечтательным.

Собственно, Н.А. Андрееву было рукой подать и до самого Гоголя, и даже до Пушкина. Работая над гоголевским портретом, он встречался с младшей сестрой Николая Васильевича,

Ольгой Васильевной и, по преданию, изобразил ее на барельефе, опоясывающем постамент, в виде Анны Андреевны Сквозник-Дмухановской. Только этим преданием и можно объяснить, почему на барельефе Анна Андреевна вовсе не молодящаяся модница, а особа пожилая и строгая. А в апреле 1906 года в обсуждении модели будущего памятника участвовал сын Пушкина...

К своим тридцати годам Андреев был уже скульптором известным, даже баллотировавшимся по рекомендации Репина и Опекушина, автора памятника Пушкину на Тверском бульваре, в действительные члены Академии художеств. К этому времени уже и бюст Гоголя работы Андреева украшал железнодорожный вокзал в Миргороде, однако всезнающая пресса решительно возражала против поручения памятника «малоизвестному скульптору».

Памятник, предъявленный Андреевым Комитету в завершенном виде, как и следовало ожидать, был одобрен единодушно, поскольку возражение хотя бы одного из членов могло обернуться катастрофой для всего Комитета.

А что публика?

Одни сочли памятник оскорблением и писателя, и публики, другие столь же убежденно объявили сгорбленную, утонувшую в кресле, закутанную в шинель и обращенную носом к земле фигуру, поднятую на высоком прямоугольном постаменте, — шедевром.

Андреев изваял фигуру человека, если не сломленного, то придавленного, согнутого незримой для нас тяжестью.

Это, несомненно, Гоголь, фигура трагическая, не спешащая посвятить нас в свою заботу, в свою печаль, а потому мы почти не видим лицо, опрокинувшееся вниз; он то ли прячется от нас, то ли всматривается в *не для всех доступный кладезь* своей души.

Да, одни находили памятник замечательным, другие отвратительным.

Софья Андреевна Толстая была на торжествах и на следующий день записала в дневнике: «Памятник Гоголю — отвратительный».

А вот Лев Николаевич Толстой, увидев памятник впервые лишь осенью, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, сказал: «Мне нравится, очень значительное выражение лица».

Нет согласия, нет единомыслия, как было с памятником Пушкину, да и могло ли быть иначе, речь-то идет о Гоголе! О Гоголе, которого читать необычайно интересно и легко до радости, но так трудно проникнуть и понять его загадочную душу, спрятанную за множеством выставленных им самим завес...

В попытках угадать и рассчитать движения этой души исписаны сотни, тысячи страниц, превышающие числом все им самим написанное, но какие тут могут быть отгадки, если под одной оболочкой догадал Бог соединиться несоединимому.

Кто загнал Гоголя в пост и молитву, в самоуничтожение, в страх жизни и в страх смерти?

Кто подталкивал его всю жизнь объясняться с публикой, оправдываться, просить быть верно понятым?

Кто от имени Гоголя, чьи сочинения вызывали восторг и поклонение современников, давал несбыточные обещания, раздавал векселя, суля превзойти все прежде сделанное и возвыситься до тех вершин, где творческая сила художественного гения сравняется с силой чуть ли не самого Творца небесного?..

Кто отказал гениальному Гоголю в праве быть свободным, верить лишь своему внутреннему непревзойденной тонкости слуху, верить своему и только своему проникающему и вещи и души глазу и не поверять каждый свой шаг и каждое свое слово меркой рассудочного практицизма?..

Кто непрестанно сыпал яд сомнений в чашу жизни, из которой пил себе на погибель Гоголь, Николай Васильевич?..

...Так как же можно одним портретом, одной фигурой соединить Моцарта и Сальери, сходных лишь париками, чулками да камзолами? Именно эти два пушкинских образа, два характера, два способа жить и сознавать искусство соединились в одной оболочке под именем

«ГОГОЛЬ».

Именно так, без имени, без отчества, без дат и титулов обозначен вдавленный в кресло, погребенный в себя человек, кутающийся в просторную дорожную шинель, прячущийся от мира, где у него не было ни дома, ни семьи, ни любви...

Пожалуй, так и есть «Моцарт» и «Сальери».

Это же «Сальери», трудолюбивый, начитанный, с юности воспаленный тщеславием, дотошно изучал примеры и образцы, а после в тишине и тайне изготовил «Ганса Кюхельгартена», поэму громоздкую и выпренную, местами напоминающую перевод с чужого языка. Впрочем, сходство

это автор, надо думать, видел, стремился к нему и почитал достоинством, поскольку с первого шага намеревался войти в мировую поэзию, где царили в ту пору немецкие романтики. Метил на мировую арену, а попал на задний двор русской литературы, уже обретшей свое достоинство и самосознание. Заслуженно получил щелчки, из снисхождения к провинциалу вполне щадящие.

Это «Сальери» в трагическом осознании неудачи послал слугу скупить непроданные экземпляры поэмы и предал их огню...

Два факела, два костра, словно задуманные кем-то для симметрии, испепеляющие первое и последнее творение Гоголя, осветят его художническую судьбу с двух сторон.

«Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рождены,
Пылая, с легким дымом исчезали!..»

Это «Моцарт» отобрал у растерянного «Сальери» перо и, дав волю своему воображению, разгоняя припадки тоски, стал выдумывать смешные лица и характеры, ставить их в смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это и для чего и кому от этого выйдет какая польза.

В одночасье, сидя в промозглом Петербурге, никому не нужный и не интересный провинциал написал блестящие всеми красками благоуханной Украины веселые, загадочные и таинственные истории, названные с подсказки нового питерского знакомого «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Написал первую часть, а с разбегу и вторую, и стал знаменит!

Это «Моцарт», обожженный изморозью петербургских камней, напишет «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», открывающие новую эпоху в отечественной литературе, а пекущийся о понятности и пользе «Сальери» оснастит «Арабески» статьями, где будет просить снисхождения за молодость и незрелость и даже немножко сжульничает, «омолаживая» даты некоторых сочинений.

Дальше так и пойдет. «Моцарт» напишет бессмертного «Ревизора», а обеспокоенный тем, чтобы все было верно и в пользу автора понято, «Сальери» станет писать «Театральный разъезд», не успокоится и напишет еще и «Развязку «Ревизора»», и даже в двух редакциях. Все это из опасения, чтобы моцартовский смех, смех свободного человека, не был принят за клевету, за насмешку и не повредил во мнениях, с которыми необходимо считаться.

Каков Сальери!?! Вот паспорт, выданный ему самим Белинским: «Человек действительно с талантом, а главное — с замечательным умом, способностью глубоко чувствовать, понимать, и ценить искусство».

Это «Сальери» склонял «Моцарта» к *трудам, усердию и самоотвержению* и вовсе не бесплодно заставлял без конца возвращаться к своим сочинениям, переписывая и «Тараса Бульбу», и «Портрет», и «Ревизора», казалось бы, уже снискавших автору славу.

«Моцарт» создаст «Мертвые души», ставшие величайшим праздником отечественной словесности, славой нашей литературы, а опьяненный успехом хлопотливый «Сальери» пообещает блестящее и несбыточное продолжение, для чего немедленно возьмется за воспитание и публики, и автора... В иступленном стремлении к *пользе* явятся миру «Выбранные места...» из выдуманной переписки с несуществующими друзьями. И вместо обещанного шедевра появится книга болезненная, чуждая «Моцарту» духом несвободы, приторным слогом, назойливой нраво-учительностью и трагическим отсутствием того спасительного юмора, которым были полны сочинения, питающие читателя живой силой и по сей день.

Книга, призванная пояснить деятельность автора и пользу от его труда, породила лишь вопросы, обиды и недоумения, потребовавшие новых объяснений в «авторской исповеди», так и не увидевшей свет при жизни автора, хотя и содержащей на немногих своих страницах двадцать шесть упоминаний слова *польза*.

Разумеется, «Моцарт» и «Сальери» — не больше чем персонажи трагической коллизии, метафорическое обозначение двух начал, в разной мере, но непременно сосуществующих в творческой натуре. Когда гармония этих двух начал нарушается, происходит трагическое самоубийство Гоголя, бунт Льва Толстого, или творческий кризис Зощенко... Непосредственная творческая стихия, повелительно-безотчетная, вдруг ощущает свое бессилие перед рефлектирующим сознанием, испытывающим неодолимое желание, потребность осмыслить не столько процесс творчества, сколько судьбу своих созданий, их место и роль в жизни, окружающей художника, их пользу...

И вот непосредственная творческая сила, та, что сродни любовному смятению, та, что не ищет себе ни оправдания, ни объяснения, вдруг цепенеет, замирает перед судом рассудка, здравого смысла и... умирает, угасает в рассуждениях практического ряда, прямо как у Подколесина...

«Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом...», и уже не вкусишь блаженство, какое точно бывает только разве в сказках...

На барельефе, опоясывающем постамент, герои гоголевских сочинений.

Может показаться, что Гоголь опустил голову вниз как раз для того, чтобы самому вновь разглядеть свои создания, укрепиться или усомниться в своих симпатиях и отвращении.

Отношение Гоголя к своим героям, к чертам, в них воплощенным, не раз публично объявленное, чрезвычайно интересно в своих глубинных, не на поверхности лежащих мотивах.

Сколько бы ни радовались обличению *сущестователей*, ни одно желание которых «не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик», и чья жизнь движется по заведенному маршруту от еды ко сну и от сна к еде, нежность и ласковость, с которой говорится о добродушных, беззлобных, чистосердечных Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче, искренна и несомненна. «Неизъяснимая прелесть» низменной буколической жизни обнаруживает себя в сравнении с той жизнью, что пышно буйствует как раз за частоколом, где «страсти, желания и беспокойные порождения злого духа» возмущают мир. За частоколом — украденный и вывезенный обманом лес, за частоколом шляется где-то беспутный племянник, за частоколом воруют, блудят, хищничают.

Горькая ирония — вовсе не обличение; душевное сострадание перед лицом рушащейся жизни, рвущихся человеческих привязанностей — не сатира; скорбное сознание бессилия благости и добродушия удерживают от насмешки и карикатуры.

Но если симпатия к *старосветской* жизни и сострадательная печаль, сменяющая ироническую улыбку во взгляде на миргородских обывателей, объяснимы мирным характером этой жизни и беззлобностью нрава главных героев, то откуда же любование *лицарями* Сечи Запорожской, запросто забивающими насмерть провинившегося товарища или снимающими кожу с живых пленников? Откуда, из каких душевных запасов взяты торжественные звуки и праздничные краски для песен в честь сыноубийцы Бульбы и славных его казаков, поддевающих младенцев концом копья и закидывающих в окна полыхающих домов прямо в простертые руки заживо горящих матерей?

«“Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!” — приговаривал только Тарас. И поминки по Остапе справлял он в каждом селении...”

Почему симпатии автора на стороне героев, чьи поступки «побольше, чем обыкновенное разбойничество»?

Надо думать, не сами по себе эти герои и эта жизнь, лишенная сколько-нибудь развитого самосознания и взгляда на себя со стороны, не душевная узость и неспособность к взрослому размышлению делают привлекательными для автора и безобидных старичков с глухого подворья, и мечущихся от Варшавы до Константинополя неугомонных *лицарей*, вершащих дела, превосходящие обыкновенное разбойничество. Не поворачивается душа увидеть обличение и в живописнейшем портрете Ноздрева с непропорционально ободранными бакенбардами, бесконечно смешны вора и взяточники вместе со своим предводителем, который если и брал с иного, то, право, без всякой ненависти, смешон и фитилька Хлестаков, которого можно принять за *персону* только со страха великого да от убеждения, что дым с шапок на головах воров виден аж в Петербурге...

ВЛАСТЬ и БОГАТСТВО, два главных искусителя, два главных извратителя человеческих душ, — ваше царство во всей своей разъявляющей бесчеловечности приковало к себе взгляд автора. Но эти-то смешны, а те даже страшны, не им простится, простится не ведающим, что творят.

Иное дело власть — не та, что дана вместе с атаманской булавой на казачьем круге, и богатство — не то, что служит минутным знаком доблести и бесстрашия...

К власти, служащей для возвышения над другими, к богатству, ставшему целью жизни, не стремятся, не ведая той цены и платы, которую приходится отдать за вожденное благо.

Власть всегда идет об руку с унижением и насилием.

А богатство и приобретательство лишь для безукоризненного Констанжогло не сопряжены с преступлением.

Чичиков, поэт и подвижник приобретательства и накопительства, стяжательства и обирательства, не верит ни минуты в возможность честно разбогатеть. Скорее всего он прав.

«Позвольте спросить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?» — поинтересуется Чичиков, изумленный достатком и процветанием Костанжогло.

«Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами», — скажет Костанжогло, более похожий на агитплакат, чем на живого помещика.

Гоголь еще в давнюю пору, когда власть над крепостными передавалась по наследству и не подлежала сомнению, уже чуял тлетворный запах беспощадной и бесконтрольной власти денег, чье царство будет подольше рабовладения, и здесь-то его печаль и сознание бессилия приобретают по-настоящему трагические тона.

«Дело в том, что пришло нам спасти нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность».

Мы знаем эти *условия*, когда во всеобщую известность приведены цены на место в парламенте, то есть в Думе, когда во всеобщую известность приведены цены на убийство, на подкуп, на шантаж...

А еще он заметил «то мелкое сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем, затем чтобы жить на счет бедных».

С той же прямоотой, как и о старосветских помещиках, говорит Гоголь о герое, занявшем его воображение так надолго. «Кто же он? стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает... Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель».

Слово сказано!

«Приобретение всего; из-за него позавелись дела, которым свет дает название не очень чистых».

«Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Копейка не выдаст... Все сделаешь и все пробьешь на свете копейкой...» Этот завет отца поможет Павлуше Чичикову стать скотиной Чичиковым, определит идеологию, психологию и жизненное поведение огромного числа людей в надвигающуюся эпоху.

Дворовый человек Плюшкин, Попов, откроет в отечественных летописях бесконечную череду лиц, *проворовавшихся благороднейшим образом*.

Николай Васильевич Гоголь предвосхитит поразительные гримасы наступающей эпохи: «Обокрадет, обворует казну, да еще, каналья, наград просит! Нельзя, говорит, без поощрения, трудился».

Вот она, эпоха *кипящей меркантильности*, вот он, век, обретающий *физиономию банкира*.

Только и осталось, что крикнуть во всеуслышание: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!»

Надвинувшаяся и набравшая силу эпоха в утверждение своих прав на все лучшее, что дала жизнь, воздвигла своему обличителю памятник.

Несусветица, вздор, торжественное головотяпство, помпезная глупость, сопутствовавшие открытию памятника, служили как бы живой иллюстрацией и подтверждением тому, что взгляд художника на свое не постижимое здравым умом отечество был верным и, к сожалению, дальнзорким. Не то что десятки лет, но и целое столетие мало что поменяло в нравах, повадках и житейских приемах соотечественников.

Если дом Собакевича, как и вещи в доме, казалось, кричали: «И я Собакевич!» благодаря своему сходству с характером и статью хозяина, то и подробности тридцатилетней истории сооружения, водружения, открытия, а затем и последующего «закрытия» памятника Гоголю каждой своей подробностью кричали: «И я из Гоголя! И мы из Гоголя!»

Первоначально памятнику было отведено почетное место на самой Арбатской площади, знаменитой, многолюдной и просторной. Однако поставлен монумент был в начале Пречистенского бульвара, как бы и на площади, но и в стороне. Кто же одолел, у кого поднялась рука и хватили сил и власти потеснить самого Гоголя? Да Селифан и потеснил, вернее — «селифаны». Извозчичья биржа. Вот оно, увиденное, названное и предсказанное на годы *управление, гораздо сильнее всякого законного*.

Автору «птицы тройки», бесприютному путешественнику, проводшему в дороге чуть ли не полжизни, именно «селифанами» было указано его место, где стоять, вернее, сидеть. И все

равно место оказалось не окончательным, может, и здесь взяла верх неведомая сила, всю жизнь перемещавшая бездомного из края в край?

Когда новые «селифаны», всевластные и безотчетные, воздвиглись на облучке, стали править Русью и «пустились вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога», видно, генеральному «селифану», ежедневно проезжавшему через Арбатскую площадь на свой кремлевский облучок, мозолил глаза и заставлял думать о постороннем сгорбленный человек, не пожелавший ни разу встать перед лицом отца народов. И монумент, напоминание о Гоголе, угнетенном великой мыслью и великой скорбью, вовсе уберут с глаз подальше, хотя и недалеко, во двор дома недоброй памяти графа А.П. Толстого, где в муках и бреде прекратилась жизнь великого писателя.

...Но пока на дворе лишь 1909 год, Россия, не глядясь в зеркало, примеряет новомодный *столыпинский галстук*; Москва еще не знает ни своей судьбы, ни судьбы монумента и потому спешит явить во всей широте и многообразии нравы, вкус и причуды ума, вызывавшие смех и содрогание души автора «Мертвых душ».

Гоголевский юбилей широковещательно отмечали рестораны, соревнуясь в составлении меню, пестревших яствами со стола Коробочки, Собакевича, городничего и, конечно, Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Скородумки, шанишки, пряглы, *припеки со сняточками*, ну, разумеется, и бараний бок с кашей, и пудря с молоком, сами того не ожидая, оказались возведенными в яства сакральные, в средство причащений к великому художнику и страдальцу.

Профиль Гоголя, узнаваемый легко даже в самых скверных и неряшливых исполнениях, запестрел черт знает на чем, добро бы только на школьных тетрадках и календарях, но и аптечные товары украсились острым силуэтом. И карамельки были с «гоголем», и шоколадки были с «гоголем», а уж печенье «Гоголь. С. Сиу и К^о» трудно превзойти и нынешним пошлякам.

Готовились все, в газетах можно было прочесть приватные приглашения на официальный праздник: «Окна на торжество Гоголя сдаются, открытый вид. Арбатская площадь, трактир Григорьевой...»

Вот оно — торжество Гоголя!

Поставив соображения утилитарные выше эстетических, Собакевич, как известно, двигал колонны на фасаде своего жилища; бессмертные его наследники, опять же для удобства, поставив интересы практически выше исторических, сдвинули дату открытия монумента с конца марта, где размещается день рождения героя, в конец апреля, где больше надежд на благоприятную для публики погоду.

Но черт, надо думать, не оставил своими заботами давнего своего врага; накануне торжества, 25 апреля, что для Москвы редкость невиданная, зима бросила в город все свои нерастраченные запасы. Снега навалило пропасть, тяжелого, сырого, улицы покрылись снежной жижей, в воздухе повисла промозглая сырость.

А может быть, всю эту дрянь принесло на торжества из Петербурга, так и не дождавшегося своего памятника лучшему из его портретистов?..

К открытию монумента готовились основательно, вокруг памятника, еще покрытого материей, на живую нитку были выстроены трибуны для участников торжеств. Трибуны расположили в виде буквы «П», заняв чуть ли не все свободное пространство на подходах. Несколько рядов скамеек были воздвигнуты народом не только бойким, но и вороватым, а потому дощатое сооружение было подвергнуто накануне праздника испытанию общественной критики.

Разнесся слух, что трибуны хлипкие и под тяжестью гостей непременно рухнут.

Однако сам городской голова Гучков, убежденный в умеренной вороватости подрядчиков, лично требовал заполнить трибуны публикой.

И хотя *голова*, по Гоголю, в мирской сходке всегда должен брать верх, но Москва не Диканька, и верх здесь берут частенько пронырливые и крикливые. Да и слишком свежи были еще воспоминания о раздавленных на Ходынском поле участниках другого праздника, так что страх был велик.

В последний час, в последнюю минуту правители Москвы родили решение, которому мог бы позавидовать и сам Сквозник-Дмухановский. Недаром же Гоголь уверял: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных».

Ну разве можно выдумать из головы историческое решение московских правителей: «Трибуны укрепить — публику на трибуны не пускать!»

Да, такая действительность любого выдумщика изумит, хотя бы и самого Николая Васильевича!

Помните у него историю со скамейками для публики?

Это когда Нос пустился фланировать по городу, а публика собиралась на него смотреть: «Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами... нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя». Прекрасные скамьи. Прочные. Умеренная цена.

И это *фантастический реализм*.

Нет, «трибуны укрепить — публику не пускать» — вот это наш, российский фантастический натурализм.

Праздник начался ранним утром молебствием в храме Христа Спасителя на Волхонке, внизу Пречистенского бульвара, а двадцатитысячная толпа, жмущаяся около пустых трибун, охраняемых городовыми, в промозглом холоде ждала несколько часов, пока служба закончится и молящиеся с клиром поднимутся к Арбатской площади. Вместе со взрослой публикой на деревянной эстраде три часа томился и мерз детский хор в три тысячи голосов, прежде чем возгласил сочиненную к случаю сладенькую кантату.

Венки, возлагаемые к монументу во множестве, были несколько помяты, поскольку доставить их по назначению сквозь стиснутую толпу было не так-то просто...

Где-то на площади затерялся забытый всеми, никому не нужный депутат из Сорочинцев...

Праздник национального единения не вышел, на новую вершину самосознания взойти не удалось. Ярких речей, как при открытии памятника Пушкину, не прозвучало, но и неяркие речи расслышать можно было лишь с великим трудом, даже стоя рядом...

Предуведомляя тех, *которые пожелали бы как следует сыграть «Ревизора»*, Гоголь будто бы впрок описал и тех, кто разыграл представление с открытием ему памятника: «Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшей задачей своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы. Но сами они не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется».

Сдернули покрывало — Гоголь сидел, опустив голову вниз, ни на кого не глядя, ему было не до смеха... Легкий поворот головы влево и слегка накинута на левое плечо шинель, потоком спадающая на колени и дальше направо вниз, выглядывающая из-под правого борта шинели рука с открытыми пальцами, то ли выронившими перо, то ли готовыми его взять снова — все делало памятник живым...

Многим памятник не понравился, и даже резко, вскоре появятся предложения его взорвать.

В общем, что удалось, так это выдержать «гоголевский» стиль праздника; все здесь было — и комедия, и фарс, и лубок, не хватало лишь завершающей неожиданной черты, окончательной точки, замыкающей гармоническое в своей гротескной остроте торжество.

Явилась и необходимая точка.

Проницательный патриот, Василий Васильевич Розанов, в своей статье, обозревавшей только что установленный памятник, назвал свой отклик со всей определенностью: «Отчего не удался памятник Гоголю?»

Морально низвергнув едва воздвигнутый долгожданный монумент, автор с пророческой категоричностью объявил: «Памятника, по крайней мере в Москве, второго Гоголю не будет: и то, что испорчено “на этом месте и в этот год”, естественно, никогда не исправится. Это, конечно, безмерно печально».

Нет, не зря писал юный Николай Васильевич своей матушке: «Никто не разгадает меня совершенно».

Не разгадали при жизни, но и после смерти все, что связано с Гоголем, ни угадать, ни предвидеть все так же невозможно. И приключения с памятниками — тому свидетельство. И чтобы понять, вернее, отказаться что-нибудь понимать, надо коснуться, хотя бы и вскользь, необъяснимого в самих сочинениях Гоголя.

Ну почему, к примеру, майор Ковалев, отказываясь жениться на дочке штаб-офицерши Подточиной, ссылается на свою молодость — дескать, послужить надо еще лет пяток, «чтобы уже ровно было сорок два года». Смешно — «ровно сорок два»? Что за вздор, начинать новую жизнь «ровно в сорок два»? Ковалев решительно смешон. Но вот и Поприщин внесет эту дату в свои «Записки»: «Ноябрь 6... Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба». Грех смеяться над сумасшедшим, но только в безумную голову придет дожидаться до начала службы по-настоящему сорока двух лет. Но в тридцать восемь лет уже не от имени Поприщина, а от своего собственного Гоголь скажет: «Мне захотелось служить — в какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной

должности... я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место».

Можно было бы и не заметить эти сорок два года, если бы они не означали число лет, прожитых Николаем Васильевичем Гоголем.

Так кто же был примером для вступления в должность в сорок два-то года?..

Не о себе ли писал Гоголь за десять, за пятнадцать лет до поджидавшей его трагедии, когда описывал муки несчастного Чарткова, вдруг осознающего цену своего отступничества, пытающегося преодолеть пропасть, отделившую его от подлинного искусства:

«Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, охвативши и бросивши на полотно, можно было бы сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей...»

Существует множество описаний последних дней, конца Гоголя, но душа робеет, когда читаешь написанное им почти за двадцать лет до своей смерти:

«Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и общее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе...»

«Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот...»

«К счастью для мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее...»

«Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал...»

«Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания».

Нет, недаром же по завершении первой части, первого тома «Мертвых душ», адресуясь к читателям, автор скажет: «Все мои последние сочинения — история моей собственной души»...

Хорошо, но откуда он знает, что ждет эту душу?

Счастлив читающий Гоголя в первый раз, но и перечитывающего ждут впечатления новые; например, ни с чем не сравнимое чувство открытия, заглядывания в судьбу писателя, ему самому еще неизвестную. Вот у Тараса Бульбы вдруг мелькнуло ноздревское словечко «бабиться», а оброненная в майскую ночь под Диканькой люлька еще не предвещает ни плена, ни страшной казни, а только упрек, дескать, «не казак, да и только», а чтение Комиссаровой записки, адресованной отцу влюбленного в Ганну Левко, лишь напомнит о том, как будут читать выуженное почтмейстером Шпекиным безжалостное письмо Хлестакова...

Гофман в «Невском проспекте» схватит Шиллера за нос, пригрозит его отрезать, а мы уже знаем, что впереди хождения этого странного органа, оповещающего о вертикальной симметрии мужского тела...

А когда Башмачкин, упрятавшись от всех невзгод в новую шинель, будет вдыхать и впитывать в себя неизвестные до той поры ароматы счастливой, блещущей многоцветьем жизни, мы вспомним, что у витрины, где какая-то красавица *так ловко скинула башмак, что обнажила всю ногу*, мы уже останавливались вместе с одним *заслуженным полковником*, явившимся на Невский проспект посмотреть прогулки носа, отделившегося от коллежского асессора...

Да и в «Мертвых душах» мелькнет сольвычегодский купец, вышедший из драки с устьысольскими купцами безусловным победителем, но без носа...

И многоголосый собачий хор, которому вместе с читателем будет изумляться Чичиков, прежде чем выступить в усадьбе Коробочки, репетировал во дворе тетушки Ивана Федоровича Шпоньки...

Эти зеркальные отблески, эти дальние рифмы не хочется считать случайными, они создают ощущение эха, отзвучия, переклички, соединяющей в единое целое гоголевские тексты. Это малая из примет, подводящих к мысли о единстве и цельности творческого наследия писателя.

Быть может, противоречивость личности Гоголя, о чем так много и разнообразно было сказано, вовсе не нарушила художественной цельности его творческого наследия, а то, что противоречило, он сам сжег.

Он сжег «Ганса Кюхельгартена», собрание своих сочинений открыл «Сорочинской ярмаркой», написанной вовсе не первой даже среди повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Он сжег и второй том «Мертвых душ», завершив собрание сочинений ликующим гимном России, которым обрывался том первый.

Все сделано прочно, основательно, навсегда.

Но кто водил его рукой, когда в последней сцене «Сорочинской ярмарки» он написал пляску полумертвых старух? В финале первого сочинения мелькнули мертвые души. Странный финал забавной и вроде бы непритязательной истории (мы еще к нему вернемся) приобретает значимость, требует осмысления, порождает вопросы, на которые навряд ли удастся когда-нибудь найти ответ.

«Никто не разгадает меня совершенно»!

И вот так же неожиданно и так же несогласно со всем предшествовавшим повествованием завершит Гоголь и последнее свое творение, увенчав похождения афериста восторженным акафистом земле, по которой летит, унося ноги, предприимчивый подлец.

Эти странные, загадочные рифмы магнетически притягивают к себе, требуют разрешения.

На полях «Сорочинской ярмарки», в книге, принадлежащей кинорежиссеру Г.М. Козинцеву, готовившемуся к постановке фильма «Гоголиада», отчеркнута финальная сцена, где пляшут старухи, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы», и сделана пометка: «Ср. "Птица тройка"».

Ну конечно, эта перекличка двух как бы несообразных финалов первого и последнего сочинений Гоголя знаменательна.

Вряд ли автор сам видел эту странную рифму. Скорее всего нет. Но эта рифма как бы замыкает, как бы окольцовывает все написанное Гоголем в прозе, она же наводит на мысль о том, что все тексты, лежащие между первым и последним произведениями собрания сочинений, составленного самим автором, как бы единое создание.

Скорее всего, связь между финалом «Сорочинской ярмарки» и «Мертвых душ» глубоко укоренена не только в художественный стиль, присущий Гоголю, но и в его мироощущение. И не случайно со смелостью музыканта, убежденного в том, что слух ему не изменяет, Гоголь завершает оба произведения как бы резким введением контртем:

«Звенит и плещет веселая свадьба Параски и Грицько... на краю бездны небытия...»

«Бежит разоблаченный авантюрист из города, а тройка выносит его на такой простор, в такую даль, в такое море жизни, где и тысячи мутных, нечистых ручьев, и сотни извилистых тропок, натоптанных всевозможными пронырами и мазуриками, смешавшись и растворившись в могучей и вольной стихии, становятся ничтожной, неразличимой малостью перед лицом неизбывной силы и необъятного простора».

То, что так и не удалось Гоголю сказать в несбывшемся втором и лишь мерещившемся третьем томах «Мертвых душ», он сказал музыкой финала первого тома...

Откуда же возникает, чем порождается эта неотвратимая и по здравому как бы рассуждению алогичная контртема, позволяющая совершенно неожиданно и по-новому увидеть все рассказанное?

Для русского художника, для русского писателя, мне кажется, потребность творчества всегда сопряжена с полнотой ощущения жизни, с готовностью выразить, назвать, запечатлеть ее загадочное существо. И вот, когда вещь завершена, сюжет исчерпан, с обжигающей очевидностью надвигается печаль от неисполненного замысла, от невыраженности того, важнейшего, ощущения, для раскрытия которого и понадобилось рассказать историю. Автор поднимает глаза от последней страницы и видит, как огромна, как необъятна жизнь, ускользнувшая, оставшаяся за пределами уже завершенного сочинения.

Вот здесь-то, свободный от пут и обязательств сюжета, автор волен сказать свое последнее слово до того, как читатель вынесет свой приговор.

И эта минута была предчувствована и предсказана в разгар поэмы, в самой ее середине: «И далеко еще то время, когда иным ключом грозная выюга вдохновенья подымется из облаченной в святой ужас и блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» И вот на последней странице грянул величавый гром других речей, выплеснулось одушевляющее автора чувство, с которого все, быть может, и началось и с которым еще жить до последней страницы последнего тома, — выплеснулось с блеском и полнотой, на какую способен лишь гений, разом озирающий всю громадно-несущуюся жизнь!..

Говорят, неинтересно читать, когда знаешь, чем кончится. Верно, но это только тогда, когда содержание сочинения адекватно рассказанному анекдоту. Зная загодя, что «Мертвые души» закончатся «птицей тройкой», необычайно интересно наблюдать, как сам автор, быть может, того еще и не подозревая, лишь доверяя своей гениальной интуиции, готовится к прямому диалогу с Русью.

На протяжении сравнительно небольшого повествования, каким оказался первый том «Мертвых душ», Гоголь чуть ли не сорок раз напрямую адресуется к чертам и повадкам русского

человека, рассуждает и комментирует с необычайной полнотой предъявленные нравы, укоренившиеся на Руси. Ирония, восторг, горькая усмешка, недоумение, восхищение, скорбь — сколько чувств, сколько мыслей пробуждает в авторе вид своего отечества! И уж никак не ждешь, что вся пестрая мозаика мелодий, тем, мотивов, иронических и насмешливых пассажей вдруг сольется в финальном апофеозе и станет гимном России...

Существует целая традиция, поддержанная высокими авторитетами, рассмотрения творчества Гоголя как бы в противоположении вещей, созданных в разные периоды... Периоды! Да когда им случится и сколько их надо считать, если от «Вечеров на хуторе...» до выхода первого тома «Мертвых душ» пройдет всего-то двенадцать лет! Загляните в первые письма из Петербурга, в них вы найдете «цитаты» из «Выбранных мест», а в не опубликованном при жизни раннем критическом опыте уже читаем описание Петербурга, которым восхитимся в «Невском проспекте»: «...чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов» — это написано до «Ночи перед Рождеством», до «Страшной мести», стало быть, в какой период? Мысль о внутренней художественной цельности замечательно аргументирована Андреем Синявским в его глубоком и увлекательном исследовании «В тени Гоголя»: «...в своем литературном развитии он не так развивался, как открывался новыми сторонами души, не столько наследуя себе, сколько переходя от одной книги к другой, от одного своего облика к другому». Но разве на Гоголя может быть один взгляд, одна точка зрения?

«В период создания „Диканьки“ и „Тараса Бульбы“ Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти... Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом „Диканьки“ и „Миргороды“ о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреев и лихих казаках». Это мнение В. Набокова, писателя значительного, и проницательного комментатора судьбы и творчества Гоголя.

Страхи Набокова, как мне кажется, напрасны, Гоголю не грозило стать автором «украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй», поскольку он не был таким автором ни в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», ни в «Миргороде», которые читал Набоков с невыносимой скукой.

Здесь есть смысл чуть отступить в сторону или приподняться, чтобы увидеть и «Вечера», и «Миргород» в широком пространстве отечественной литературы.

Десятилетие с 30-го по 40-й год — время в русской литературе фантастическое.

Это время, когда родилась наша проза!

Именно в эти десять лет Пушкиным созданы «Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», именно в эти десять лет Гоголем написано практически все, что создало бессмертие имени писателя, в это же время новым и блистательным словом русской литературы явился «Герой нашего времени».

Это десятилетие можно сравнить со Среднерусской возвышенностью, где зародились, взяли исток, набрали неиссякаемую силу все главные европейские реки нашего отечества, соединившие разбросанные по дебрям и степям народы в единую и весьма интересную нацию. Не так ли и литература, именно проза, всего лишь на пространстве одного десятилетия образовала столь значительную возвышенность, таящую в недрах живительную силу, способную и по сей день питать три главных направления — эпическое, гротескное и психологическое.

Энергия этих источников определяется вовсе не значительностью сообщенных нам историй о станционных смотрителях, днепровских русалках или кавказских дуэлянтах, энергия этих источников, по моему убеждению, определяется языком прозы, фундаментальным словарем русской прозы, созданной гением Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Не боясь ошибиться, можно сказать, что во всем сколько-нибудь значительном, что будет создано в отечественной литературе за последующие полтора века, в разной мере, но можно обнаружить «проценты на капитал», принятый от Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Это в «Старосветских помещиках» Афанасий Иванович взирает на бездыханную свою Пульхерию Ивановну, «как бы не понимая значения труп», а мы понимаем, что из этой фразы и подобных ей фраз, как из зерен, разрастается дивное поле прозаического языка Андрея Платонова.

Без труда можно показать, что уже в первых своих прозаических опытах Гоголь явился как новое слово отечественной литературы, и то, как он рассказал свои истории, стоит едва ли не больше того, о чем он нам поведал.

Первые же слова Рудого Панька о «господах в ливреях» и о «великом лакействе», первые же слова «Сорочинской ярмарки» о горшках на возу, закутанных в сено и *скупающих своим заключением и темнотою*, возвещают появление в литературе нового языка, что, естественно, бывает реже, чем появление новых сюжетов.

Это у какого же *фольклорного писателя* найдешь такое странное, почти страшное завершение чудных, красочных, забавных и насмешливых водевильных картин, чем, в сущности, и предстает перед нами ярмарка в Сорочинцах до последних страниц? И вот страница последняя: «Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету...»

Зачем же последние аккорды этой веселой пасторали полны трагического предчувствия?

«Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему». Точка. Веселый водевиль окончен.

Но, может быть, это случайность, как бы оговорка? Тогда и в «Майской ночи» с первых же слов оговорка: «...парубки и девушки шумно собрались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразрывные с унынием».

И в каких это романтических повестях, нагоняющих скуку на изощренного читателя, сдирали с живых людей кожу и бросали в окна к горящим матерям поддетых на копые младенцев?

Нет, оговорки были в подражательном «Кюхельгартене», а в «Диканьке» и «Миргороде» уже заговорил Гоголь, и каждый, кто захочет это услышать, услышит.

...А вот сам Николай Васильевич не может больше сказать ни слова в свое оправдание, он пригнул голову, обреченный покорно слушать.

Что же он слышит сегодня?

Может быть, с противоположной стороны бульвара, из Центрального дома журналистов до его слуха доносится речь сегодняшних газет, сегодняшних политиков и публицистов.

Каково ему, верившему в магическую, преобразующую силу искреннего, чистого, неожиданного слова, слушать полузаморскую тарабарщину, на которой привыкли выказывать себя на Руси торжествующая пошлость и глупость.

Не Пушкин ли заметил:

«Леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны».

А не сегодня ли произнесены эти слова Гоголем: «Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не должен теперь всякий истинный поэт и мыслитель думать, прежде всего, о воздержании, произнося: “Господи, положи хранение устом моим”».

Слово, язык творений Гоголя — сами по себе величайший памятник национальной культуры, ее богатство, его гротескное письмо с поразительной естественностью вбирает в себя широту и беспристрастие эпоса, точность и строгость психологического письма, остроту ироники, пафос лирики и горечь сатиры.

Русский прозаический язык Пушкина и Гоголя появился как неправильный!

Пушкин сам пишет о том, что за шестнадцать лет публикаций критики нашли у него лишь пять погрешностей в грамматике, которые он признал и с благодарностью поправил: «Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже, почти так, как пишет Гоголь».

Признание дорогого стоит. Стало быть, Гоголь пишет... как говорит Пушкин! То есть языком живым, свободным, заряженным энергией гения!

Читатели, а главным образом писатели, ревнители правил, были не готовы к явлению Гоголя. Его обвиняли, упрекали, высмеивали, а Булгарин, Сенковский и Полевой даже по выходе первого тома «Мертвых душ» призывали автора прежде «поучиться русской грамоте, а потом уже писать».

Но упрямому хохлу было тесно в узаконенном пространстве, как юному Гвидону, не по дням растущему, — в засмоленной бочке. «Правильный язык» не охватывал и не выражал всех чувств, мыслей, наблюдений, оттенков человеческой природы и повадки, вот и приходилось искать слова особенные и ставить их в непривычные сочетания.

Рассказывая о художнике, он скажет и про себя: «Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете».

И вот — пожалуйста: «Стенным часам пришла охота бить».

Скольким неодушевленным предметам и самым неожиданным вещам Гоголь дал жизнь, оторвав их от привязи правил и норм, показал нам привычный предмет с необычайной стороны. И конечно, прав был Набоков, когда говорил, что до Пушкина и Гоголя русская проза была подслеповата.

Это какое же пристальное и насмешливое нужно иметь зрение, чтобы коротенькие и густые усы под носом у винокура показались «мышью, которую винокур поймал и держал во рту, подрывая монополию амбарного кота». А вот и «широкая труба с винокурни какой-нибудь, наскуча сидеть на крыше, задумала прогуляться...» Глядишь, и Тарас Бульба вдруг раз — и «моргнул усом».

А по каким правилам нужно составлять слова, чтобы описать невиданное, небывалое, ошеломляющее, что-то *чрезвычайно безотчетное!*

Какими словами, по каким правилам описать Невский проспект, когда он «лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в ненастоящем виде».

А как он умел описать звук, сообщая самой фразе, самим словам особую мелодичность: «...зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра».

И той печальной струне, что зазвенит в отуманенной голове безумного Поприщина, еще долго звенеть и отзываться эхом в сочинениях прямых и косвенных наследников Гоголя.

Да что ж выживать, выбирать и выписывать слова и фразы, изумляясь свободе и гениальному чутью на слово, если читателя ожидает — на каждой странице! — возможность самому пережить радость от встречи с метко сказанным русским словом!

...Так почему же он, сделавший нас зрячими, открывший нам глаза на самих себя, на жизнь нас окружающую, позволивший увидеть и услышать то, что без него навсегда осталось бы для нас неизреченной тайной, — сидит, опустив голову, не поднимая глаз?

Эта зоркость далась ему великим трудом, далась напряжением души и верой в свое предназначение.

Мы можем заглянуть в «Ганса Кюхельгартена» и увидеть, как он искал, как пробивался к своему слову, не страшась быть даже смешным.

«И с невыразною тоской слезу невольную уронит...»

И «заплата малая моя» вместо «плата»...

И «трепетанье серебряных крыл, когда ими звукнет, резвясь, Израил...»

«А голос — как звуки сирины ночной»...

— все это было, через все это надо было пройти, чтобы наконец подвыпивший Каленик «косвенными шагами пустился бежать» за «замысловатыми девушками», чтобы перецеловать их всех разом, чтобы «высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок», «всеобщий хохот разбудил почти всю дорогу», а Павел Иванович Чичиков, предотвращая покушение на его личность, «схватил Ноздрева за обе задорные его руки».

... На пьедестал возведен великий труженик в утомлении труда и мысли, обративший загадочную энергию своего гения в живую кровь отечественной речи, попираемой и предаваемой повсеместно и ежечасно!

Здесь, посреди Москвы, сегодня он один из немногих, кто знает, что «до сих пор остаются также пустыни, грустны и безлюдны наши пространства; также неприютно и неприветливо вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор не у себя дома, не под родной крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной выюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей»».

«Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастье, выше всех мирских несчастий».

Эти ли строки вставали в цепкой и злой памяти «корифея всех наук», проезжавшего через Арбатскую площадь в Кремль для управления Россией?

Неуместный ли трагизм памятника, согнутая ли в вопросительный знак фигура, не желание ли поднять голову и увидеть преobraженное Отечество, трудно сказать, что раздражало устроителей всеобщего счастья, повелевших памятник убрать.

Безмерная печаль Василия Васильевича Розанова и всех, кто разделял его авторитетное мнение, была утешена, трагические прогнозы не подтвердились, и ровно через сорок два года, через срок длиной в жизнь Николая Васильевича Гоголя, в начале Пречистенского бульвара, ставшего отныне Гоголевским, вознесся новый монумент...

В день рождения Гоголя был открыт памятник надломленному, скорбному, но живому, страдающему человеку, столь непохожему ни на кого на свете, каким и является в мир гений. В столетнюю годовщину со дня смерти на пьедестал взошел благообразный, узнаваемый по тетрадным обложкам, карамельным оберткам и аптечным упаковкам двойник писателя, быть может, и похожий на него, но не больше, чем призраки, населяющие его волшебные создания, похожи на живых людей. Если на цоколе андреевского памятника значилось одно слово: ГОГОЛЬ, и этим было сказано много, то на пьедестале, поддерживающем стоящего в рост молодого и миловидного человека с книжечкой в руке, золотом по черному мрамору была начертана как бы выписка из трудовой книжки о вынесении благодарности: «Великому мастеру русского слова от Советского правительства». Число. Месяц. Год.

Кто же был у нас тогда в Советском-то правительстве, в марте 1952 года? Сталин. Берия. Молотов. Каганович. Маленков Георгий Максимилианович... Какие имена!

И даже сам Гоголь на пьедестале кажется чуть-чуть смущенным той честью, на которую он от этого правительства уж никак не рассчитывал, хотя к славе был чрезвычайно ревнив.

Знаменательно то, что автора этой работы, и по сей день украшающей одну из центральных площадей преобразившейся столицы, не помнят даже те, кто предлагает этот памятник обязательно уничтожить, взорвать, например. Да, да, точно так же, как и андреевскую работу, вызывающую ярость и раздражение, призывали «взорвать и уничтожить» вовсе не пустые люди («тогда, по крайней мере, когда-нибудь, кто-нибудь воздвигнет достойное Гоголя и Москвы»), ну вот, воздвигли достойное, и опять же люди серьезные и не пустые призывают сокрушить. Времена меняются, а мы остаемся все те же, то есть сами собой;

то-то нам хочется во все времена доказать свою правоту обязательно динамитом!

А вот сам-то Николай Васильевич Гоголь, может быть, как раз и хотел бы видеть себя перед лицом потомков в полный рост, на высоком постаменте, в хорошо отглаженной шинели и с приветливым выражением на лице, а в руке томик с «Выбранными местами...»

Стоит вспомнить, как осерчал он, чуть не до ссоры, на одного из самых близких ему людей, на превосходного человека и великолепного живописца А.А. Иванова за то, что тот пустил в свет портрет Гоголя, не одобренный Николаем Васильевичем.

Современники находили много схожего с оригиналом, сам же оригинал был недоволен и некоторой растрепанностью усов, присутствием халата и отсутствием того самого выражения на лице, известного нам по его повести «Портрет», — «всегда стоял за правду».

И почему это Гоголю должен быть один памятник? И почему это столь многоликий и неуловимый в самых разных своих чертах человек вдруг оскорбляет своим бронзовым благообразием души, жаждущие всей правды разом?

Гоголю как минимум необходимо иметь три памятника, и он их обрел.

Один — андреевский, во дворе на Суворовском бульваре, второй, «от Советского правительства», на Гоголевском бульваре, и третий... ну, не то чтобы в прямом смысле памятник, но как бы напоминание о памятнике, монумент монументу, в общем, красного камня невысокий такой кукиш, красующийся вот уже сорок два года (все те же сорок два!) на одной из площадей города, обретшего в нетерпении «возрождения» имя Санкт-Петербург и утратившего улицу, носившую имя Гоголя.

Петербург — открытый для русского сознания так, как открывают новые земли, Николаем Васильевичем Гоголем, Петербург, предъявленный соотечественникам фантастической своей сущностью, Петербург, приманчивый, прельстительный, всеильный, чем отплатил ты, чем воздал своему выдающемуся первооткрывателю и великому портретисту?

В мелкотравчатом педантизме «возрождения» отнял имя у улицы, забыл про обещание воздвигнуть памятник...

В тот самый день и час, когда упало полотнище, скрывавшее подарок Советского правительства «великому мастеру русского слова», тогда еще в Ленинграде, на Манежной площади, рядом с Невским проспектом, в скверике, захватившем середину довольно обширной площади, установили

красного камня урезанную призму в полметра высотой, с надписью, уверявшей отдыхающих в сквере старушек в том, что «Здесь будет сооружен памятник Н.В. Гоголю». И дата — «4 марта 1952 года».

Долговечность обещания служит наглядным указанием на то, что «гоголевский период» в русской литературе, быть может, и закончили, а в русской истории — нет.

Пусть Москва, о которой Гоголь Николай Васильевич не написал ни одного сочинения, украсилась двумя памятниками, но все-таки именно с Петербургом малороссийского насмешника и остроумца связывают особые, неизъяснимые нити.

Он ли не воздал должное всей этой куче «наброшенных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безотрадной куче мод, нарядов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности»?..

Если андреевский памятник насмешники называли памятником «носу», то закладной камень на Манежной площади не что иное, как сам по себе уже памятник «преглупому, ровному и гладкому месту», на котором у каждого порядочного человека должно быть что-нибудь осязаемое.

Стало быть, не дошел этот город еще до *порядочного* состояния, если продолжает уже чуть не полвека терпеть это «преглупое и пустое» место.

Нет, что ни говори, а Николай Васильевич Гоголь во всем равен сам себе, и предугадать, что с ним или вокруг него может случиться, просто нет никакой возможности.

Так что же это за явление такое — Гоголь, если любовь к нему выворачивается фарсом, если и сам он ускользает от дотошного внимания комментаторов и не дает возможности сказать о нем окончательное слово, если не только жизнь его, самим же Николаем Васильевичем изрядно мистифицированная, но и сама смерть и события, после смерти последовавшие, — все та же «гоголиада»?

«Как странно, как непостижимо играет судьба наша! Получали мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли... Все происходит наоборот».

Ну что ж, понять хоть что-нибудь в Гоголе можно лишь вчитавшись в его сочинения, лишь взглядевшись после этого в ту жизнь, которая породила его, которую он так замечательно зорко увидел и подлинную ее суть запечатлел. И жизнь эта не осталась в прошлом веке, как не в прошлом веке и началась.

«Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени...» Это Виссарион Григорьевич Белинский.

«Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке». Это Чернышевский, Николай Гаврилович.

А что же памятник, нельзя же без памятника!?

Одна из самых обширных и подробных глав «Завещания», составленного и широчайше обнародованного тридцатишестилетним Николаем Васильевичем Гоголем, касается его портрета и хлопот вокруг портрета, который был без его ведома кем-то опубликован, в то время как «сделан дурно и без сходства». Купивших портрет автор просит покупку тут же уничтожить, а покупать тот, «на котором будет выставлено: Гравировал Иорданов».

Что же касается памятника, то здесь воля автора не требует от нас, потомков и почитателей, ни поисков, ни затрат, ничего, кроме душевного усилия:

«ЗАВЕЩАЮ НЕ СТАВИТЬ НАДО МНОЮ НИКАКОГО ПАМЯТНИКА И НЕ ПОМЫШЛЯТЬ О ТАКОМ ПУСТЯКЕ, ХРИСТИАНИНА НЕДОСТОЙНОМ. КОМУ ЖЕ ИЗ БЛИЗКИХ МОИХ Я БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОРОГ, ТОТ ВОЗДВИГНЕТ МНЕ ПАМЯТНИК ИНАЧЕ: ВОЗДВИГНЕТ ОН ЕГО В СЕБЕ САМОМ СВОЕЙ НЕКОЛЕБИМОЙ ТВЕРДОСТЬЮ В ЖИЗНЕННОМ ДЕЛЕ, БОДРЕНЬЕМ И ОСВЕЖЕНЬЕМ ВОКРУГ СЕБЯ».

ЕВРЕЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

... Sua fata habent libelli — и у книг есть судьба. Во всяком случае у книг на тему «Достоевский и евреи». Может быть потому, что она все еще пульсирует притяжениями и отталкиваниями, враждой и любовью, не избытыми за полтора века. Мне пришлось уже писать о романе «Лето в Бадене» (см. книгу вторую З.З.). Судьба книги известного ученого и биографа Достоевского Леонида Гроссмана «Исповедь одного еврея» не менее драматична. Изданная в 1924 году (в Германии в 1927), она так и пропала бы «без вести», если бы наше время не вернуло ее из тридчетвертвекового забвения, почти небытия в печать (изд. «Деконт+» изд. дом «Подкова», 2000).

... История Авраама-Урии Ковнера (выходца из гетто, ешиботника, потом — боевого русского журналиста, потом — уголовного преступника и арестанта, а под конец исправного чиновника), на которую ученый наткнулся, занимаясь разысканиями о Достоевском, столь же исключительна, сколь и массовидна, даже модельна. Из тюрьмы, перед отправкой в Сибирь Ковнер обратился к писателю с письмом и был услышан. Так этот мятежный и взыскующий дух вошел в русскую словесность: как корреспондент Достоевского, а впоследствии и философа Розанова, тоже известного антисемитизмом...

1. Еврей

Можно с уверенностью сказать, что и в наши дни — взрыва этничностей на пороге глобализации — Авраам-Урия, он же Альберт, он же Аркадий Ковнер, был бы фигурой проблемной... Начало его биографии похоже на многих бунтарей позапрошлого века. Увидев свет в многолетней нищете и тесноте Виленского гетто (1842 г.), он до девятнадцати лет не знал даже титульного языка Российской империи. Отец его был учен, но беден, нищ, но учен, так что способный отпрыск «в четыре года уже сидел над Библией, а в шесть приступил к Талмуду». Восьми лет он был отдан в раввинскую школу, двенадцати бежал и стал странствующим студентом-«бохуром», состоящим на кормлении у каких-либо семи имущих семей. Полтора века спустя, когда вся эта «еврейская жизнь» погибла в газовых камерах, обычай кажется высоким. Но можно представить, что «тинейджер», как нынче говорят, обедающий по чужим, не всегда «добрым людям», а восемнадцати лет отданный по сватовству в примачи в незнакомую семью лавочника, вынес из детства и отрочества дерзкую мечту стать реформатором своего народа. Из древней традиции — как многие тогда — он катапультировался в пространство-время современности и совершил невозможное: за четыре года сдал экзамен на аттестат зрелости, овладев русским, немецким и французским, основами философии и естественных наук, которые и стали его символом веры. Из талмудиста сделался атеист, из еврея «общечеловек» — короче, пламенный «шестидесятник» позапрошлого века. Первые книги (еще на библейском языке) принесли ему среди соплеменников ярлык отступника. Добравшись из Киева до столицы империи, он отдался русской боевой публицистике («либерал с оттенком радикализма, — напишет о нем впоследствии Розанов, — «еврейский Писарев»). Сторонник ассимиляции, социальный критик, утилитарист, «экономист», он, однако, столкнется с русской литературой на самый странный, даже фантастический лад и станет знаменит на всю Россию не как реформатор, а как уголовный преступник.

2. Достоевский

Известно, что прямого влияния на жизнь литература не оказывает. Все же некоторые молодые люди в известных обстоятельствах выбирали самоубийство: «уже написан “Вертер”». Так и искусительное исповедание Раскольникова: «Тварь я дрожащая или право имею?» попало в солнечное сплетение жизненных проблем Ковнера, когда, оставив журналистику, он стал мелкой сошкой в банке. Судьба, как назло, подстроила ему подобие «предлагаемых обстоятельств» героя «Преступления и наказания». Бедная семья Кангиссеров, путившая его на квартиру («нищета была страшная, жили без всяких средств»), кажется еврейским подобием Мармеладовых, вплоть до «бедной Сонечки» (не «уличной», правда, зато больной туберкулезом). Мотив Раскольникова не фантазия — он будет даже муссироваться в суде. Правда, вместо радикального жеста убийства старухи-процентщицы Ковнер ограничится подлогом («три процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка в России»). Грехопадение «либерального» экс-журналиста сделает его незаменным героем громкого судебного процесса. Вот тогда-то, признав уголовную ответственность, но не моральную вину, он обратится за судом совести к автору романа...

Здесь нет места останавливаться на перипетиях их переписки («Я редко читал что-нибудь умнее... Письмо Ваше увлекательно-хорошо...»). Но внимание Гроссмана привлечет не только «синдром Раскольникова». Не менее удивительно, что — преступник для одних, отступник для других — («русский Уриель Акоста» назовет его Гроссман), обращаясь к писателю, так сказать, *de Profundis*, не о себе одном печется, но задает нелицеприятный вопрос о предрассудке «ненависти к «жиду» — не только к «эксплуататору» относящейся, но и к «громадной массе нищенствующего народа».

3. Евреи и Достоевский

Очевидное несхождение между постулатом «всемирной отзывчивости» и «единения» у Достоевского и сводом аргументов пошлого бытового антисемитизма (служащего и ныне для желающих «классикой» жанра) заставляет Гроссмана посвятить «проклятому вопросу» собственное послесловие, поверяя публицистику писателя — творчеством, а творчество — публицистикой. Приходя к мысли о том, что «совмещение философского семитофильства с практическим антисемитизмом было уделом многих мыслителей», он глядит не только в прошлое, но и — увы — в наши дни. Но если практический антисемитизм есть нередко ревность одного мессианства к другому — древнейшему, то что такое влечение евреев (того же Гроссмана, многолетнего исследователя писателя) к Достоевскому?

Выскажу предположение, что, невзирая на антисемитские декларации «Дневника писателя», они могли вполне узнавать и отождествлять себя с персонажами романов Достоевского. Из всех «униженных и оскорбленных» они были заведомо унижены «специальными карательными законами». Пусть в жизни они не нравились ему; зато «Книга Иова» — это первое и мятежное вопрошание о безвинном страдании — с детства и до смерти была его вечным спутником и «первоисточником». Эта родственность его духа со «сложной сущностью» духа «библейского», «грандиозного в своих отчаяниях и надеждах» (наблюдение того же Гроссмана), была и обратной родственностью. Не оттого ли писатель услышал своего странного корреспондента, что Авраам — Альберт — Аркадий Ковнер и был практическим — и потому искаженным «правдой жизни» — воплощением пламенного — до саморазрушительности — искательства его персонажей? Разумеется, то, что увлекательно в человеке-идее, в человеке реальном принимает вид морального изъяна. Стоит, впрочем, отметить, что прокурор Муравьев, ставши министром, поможет своему бывшему обвиняемому, отбывшему наказание, получить в провинции место чиновника. Стало быть, поверит, что можно, будучи честным и совершив «под влиянием обстоятельств» преступление, «остаться опять и навсегда вполне честным человеком». Но исправно неся госслужбу и даже приняв ради молодой невесты крещение, Ковнер в переписке с Розановым станет, как и прежде, страстно защищать пострадавший атеизм, а будучи «отступником» иудаизма, снова и снова с болью поднимать «проклятый вопрос».

... Если согласиться, что экзистенциальные романы Достоевского диалогичны (Бахтин), то можно сказать, что Урии-Аврааму Ковнеру досталось исполнить будоражащую и взыскующую партию эманипированного еврея в мучительных диалогах русской судьбы, не избытых и по сей день...

«ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЬЛА»

(глава из готовящейся к публикации книги «Русские врата»)

O rus! Quando ego te aspiciam

Гораций

С некоторыми вариантами (пришли по приглашению или по своей охоте) работала примерно такая схема:

...бысть межю ими рать велика и усобица. И вѣсташа градъ на градъ, и не бе въ нихъ правды. И реша къ собе: «поищимъ собе кѣнзя, иже бы владелъ нами и рядилъ ны по праву». Идоша за море... и реша: «Земля наша... обильна, а наряда въ ней нету; да поидете къ намъ княжить и владеть нами». Изъбрашася три братия съ роды своими и пояша съ собою дружину мѣноу и придоша...

Дружина состояла из трехсот всадников. Рыцари с севера изгнали всех врагов, объединили страну и основали династию.

В подобного рода повествованиях очень важен номер «3». Как Три Марии (на самом деле их было четыре), Три богатыря, или Три храбрых у Давида во Второй книге Царств: Исбосеф Ахаманитянин – главный из Трех (всегда есть главный), Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, и Шамма, сын Аге, Гараритянин. Эти трое были главными из тридцати вождей – опять три десятка. И в той же книге Авесса, брат Иоава, сын Саруин, убил копьем своим триста человек. Опять цифра три. В конечном счете оказывается, что тридцать вождей не тридцать, а целых тридцать семь. В книге же Судей Израилевых – «отпустил Гедеон всех Израильян по шатрам, и удержал у себя триста человек». И снова три. «Начало земли Русьсте. Быша три братия: единому имя Кый, а другому Щекъ, а третиему Хоривъ». Никуда не денешься: три.

Понятно: три.

Три брата, конечно, условность. Их может быть два – третьего всегда можно присобачить. Их может быть шесть, пять, а лучше всего четыре, как три мушкетера.

Итак: «Идите княжить и владеть нами». Здесь речь идет не о трех братьях по имени Рюрик, Синеус и Трувор.

Нет. Речь, она о других братьях: Вильгельм, прозванный Железная рука, Дрогон и Гумфрид. К ним можно добавить братьев побочных: Рожер и Роберт, по прозвищу Гвискар.

И, конечно, это не история Руси и не основание династии Рюриковичей. Это история королевства двух Сицилий, а династия – Отвиль или, по-итальянски, Альтавила. Рыцари из северной Европы и иже с ними выгнали византийцев с арабами и объединили страну под своим началом.

За несколько лет до появления «трех» братьев, в Апулии их соплеменники сражались с византийскими войсками. Поначалу успешно, но в Канне, в той самой Канне, в которой Ганнибал одержал победу над римлянами, потерпели поражение. Множество было убито, некоторые попали в плен, прочие нашли себе применение как наемники лангобардских владык. Победу одержали «русские», которые воевали в византийских рядах и «дрались лучше всех».

Смелые рыцари напали на... землю [византийского императора]», а тот «против [них] отправил самых храбрых людей, каких только он мог найти... В первых трех сражениях... остались победителями, но в четвертой битве, где им пришлось бороться с народом Русским, они были побеждены, обращены в ничто и в бесчисленном количестве отведены в Константинополь, где до конца жизни были истязуемы в темницах.

Подвиги храбрых рыцарей оставили глубокий след в народе, чем объясняется возникновение легенды о призвании их соплеменников – несколько лет спустя – во главе с «тремя» братьями.

В истории основания сицилийского царства ясно одно – пришельцы были норманнами. И откуда эти норманны тоже известно – из Нормандии, куда попали из Скандинавии.

Норманны появлялись на Руси под разными именами. Свие, урманы и т.д. Торговали, грабили. Как везде. На Руси утвердилось название «варяги». Варягов принято отождествлять с викингами, выходцами из Норвегии, Швеции или Дании. С теми же свиями и урманами. Только одни совершали налеты на Западную Европу, другие – на Восточную. Рассказывают, что варяги стали основателями русской государственности и положили начало правящей элиты.

...И реша сами в себе: «Поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву». И идоша за море къ варягом... Реша русь, чюдь, словени и кривичи и вси: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да поидете къ намъ княжить и владеть нами». И избрашася три браться с роды своими и пояша [съ собою дружину мъногу] и придоша: старейший, Рюрик, седе Новегороде, а другой, Синеус, на Беле-Озере, а третий Изборъсте, Трувор.

В Новгородской легенде о призвании варягов, судя по все еще незакрытой полемике норманистов и антинорманистов, не так все однозначно. В России люди всегда делились по принципу «норманисты-антинорманисты», «западники-славянофилы». Вопрос самосознания.

Говорят, что Синеус и Трувор на самом деле были не братьями, что существовал один только Рюрик со своими родичами (sine hus) и верной дружиной (tru war). Значит ли это, что хронограф использовал источник, написанный на каком-то германском языке, а мы имеем дело с плохим переводом на старославянский? Но в таком случае легенду о призвании сочинили сами приглашенные, и варягов «призвали», как чехи призывали советские танки.

Судя по всему, варяги не самоназвание. Много ли таких источников, в которых кто-то назвал бы себя варягом? Называли другие. Называлось непонятно что. Варяги, варанги, varegi, varingi, вэринги, vaeringjar. В любом случае называлось что-то *постороннее*. И норманны ли они вообще? Варяги непонятно откуда. То из Скандинавии: варяги были шведами, варяги были датчанами – Рюрик, Рурик «благородный датский сеньор», Рерик Ютландский; то из Вагрии, то из Пруссии; в любом случае – из балтийской «Славонии».

Неправедно рассуждает, кто варяжское имя приписывает одному народу. Многие сильные доказательства уверяют, что они от разных племен и языков состояли и только одним соединялись обыкновенным тогда по морям разбоем –

пишет Ломоносов. Отец наук российских поясняет:

варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною...

Варяги были кельтами. Варяги были англичанами. Варяги были наемной охраной византийского императора из разных племен. Варангой и Марангой, что одно и то же. Служилый класс. Купеческое сословие.

Второе пришествие варягов началось в петровское время. Оно было вполне реальным. В очередном вале особенно выделились Готлиб Зигфрид Байер, Август Людовик фон Шлецер и Герхард Фридрих Миллер, по-русски Федор Иванович. Призвание трех немецких историков сочинить историю Руси не легенда. Факт. (Опять призвание, опять троих, хотя их было больше, но чаще цитируют именно этих.) Как Максим Грек исправлял священные книги, перекладывая с греческого языка через латынь на незнакомый язык, так ученые варяги из Германии приступили к изучению источников, написанных на незнакомом языке. Байер не знал русского языка, летопись изучал в латинском переводе и свои труды публиковал в основном на латыни. Остальные два писали по-немецки. В какой степени они освоили русский язык, определить не дано, — тем паче, древнерусский. Это они стоят у истоков русской современной историографии, это они — основатели скандинавской школы. Хотя, говорят, работали вполне научно. А разве могло быть иначе? Они ведь были немцами.

И реша сами в себе: «Поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву». И идоша за морем къ варягом, к руси. Сице бо ся зваху ты варязи русь, яко се друзии зъвуться свие, друзи же урмане, анъглыне, друзии гъте, тако и си. Реша русь, чюдъ, словени и кривичи и вси: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да поидете княжити и володети нами». И избрашася три браться с роды своими, пояша по собе всю русь, и придоша... И от тех варяг прозвася Русская земля».

«Сице бо ся зваху ты варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъглыне». Эту фразу норманисты переводят так: «те варяги назывались русью подобно тому, как другие звались шведами, а иные норманнами и англами». Но есть и те, кто читает не так, а сак: «те варяги назывались русью, подобно тому, как другие [варяги] звались шведами»

и т.д.

«Варяги... были колена славенского... происходили... из древних россов» и «жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною...»

Начальник давно мечтал написать статью о возникновении Руси: «Чем меньше источников — документов и памятников (documenta et monumenta) — тем больше исследований, “научных” трудов, теорий, школ и авторитетов», — писал Начальник. Сколько потрачено чернил вокруг записи, найденной на бересте: “Anna Reyna”. На этом Начальник остановился и обескураженно выключил компьютер.

В России любят тайны — вот тайна происхождения Руси.

Под рождество министр-советник решил совершить налет на УПДК. Накануне оттуда поступило сообщение, начинавшееся, как обычно, словами «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса свидетельствует свое уважение...» и создавшее большой переполох в посольстве —

отныне предписывалось все авиабилеты оплачивать не рублями, а в иностранной валюте. Причина такого необычного волнения состояла в том, что сотрудники посольства получали часть зарплаты в рублях. Причем, обмен производился не по официальному советскому курсу, а по цюрихскому, гораздо более выгодному – рубли поступали прямо из Цюриха диппочтой. Естественно, покупательная способность посольского рубля была гораздо более высокой. Теперь, после письма из УПДК, авиабилеты будут стоить сотрудникам посольства гораздо дороже.

Министр-советник был высокого роста, тощий и длинный как жердь, с сине-седой бородкой и сине-седыми редующими волосами. Немножко был похож на испанского актера Франсиско Рея и вел себя с подобным же апломбом. В машине, по пути в УПДК, министр-советник долго объяснял Аграфандру особенности русского менталитета и как себя вести. Аграфандр слушал краем уха, как всегда в подобных случаях. Он думал: что он мне втюхивает? Спросил бы лучше. Индюк надутый, русского не знает, общаться без переводчика не может. О чем он говорит?

Сам Аграфандр знал, как трудно по-настоящему проникнуть в недра самосознания чужого народа. В принципе невозможно.

Надо знать язык, знать, как едят: хлебать уху у реки, есть селедку, хрустеть огурцом, пить водку – у Аграфандра полностью отсутствовало кулинарное измерение, он не мог есть почти ничего из того, что едят прочие люди, тем более русские. Аграфандр и не ел.

Он пил.

Надо читать их книги, а также книги иностранных авторов, которые у них самые популярные. Но Хемингуэй для них не то, что Хемингуэй для нас. Кроме того, у них популярны Фейхтвангер да какие-то скандинавы.

Привыкнуть к запахам можно, хотя научиться осязать и обонять, как они – нельзя. В Зальцбурге и Мюнхене по утрам пахнет кислой капустой и сосисками. А чем пахнет Россия? В московском метро пахло советской химчисткой. Приятно пахнет природа. Аграфандра тошнило, когда в начале рабочего дня он входил в лифт Советского коммерческого представительства – в Турине, на площади Сан Карло. В лифте пахло чесноком и луком. В Милане все встают раньше, чем в Мюнхене и Москве, и пахнет свежим кофе, печеньями и розовой газетой.

Привыкать к ранней темноте зимой и позднему закату солнца летом, к холодной погоде. Это оказалось довольно легко. Россия самая жаркая страна в мире. Выходишь редко, а в помещениях невыносимо топят, и хочется на улицу. В Милане ни один сибиряк не выдержит ноль градусов зимой, когда сырость пронизывает кости.

Петь их песни, плясать с ними. Это сближает больше всего. Музыка, футбол, математика – языки универсальные, не надо слов, чтобы понять друг друга.

Аграфандр знал соотечественников, которые говорили по-русски без акцента, во всем имитировали поведение русских, жестикуляцию. Ели то же, что русские, ругались матом не хуже русских, много пили, рассказывали еврейские анекдоты. И все-таки получалась карикатура.

А министр-советник ему объясняет, как понять...

В каких только местностях не находят русов историки, археологи и языковеды норманисты и антинорманисты, в каких источниках и формах – имя Русь. И сколько схем придумано, основанных на одних озарениях.

Недолго задумываясь, Начальник добавил: «Происхождение имени и народа “Русь” столь смутно, сколь неуловим Христос как историческая личность». «В Россию можно только верить».

Как считают норманисты, русы, варяги и скандинавы – одно и то же. «Русь» происходит от угро-финского Ruotsi, а у финнов руотсами назывались шведы, норвежцы, собственно русские,

а также финны. «Руотси» из шведского Рослагена. Рослаген обитали россы, родсы, рюссы или росы. Эсты называли шведов «роотс», что означает ребро, хребет, скала, шест. «Руотсима» (Швеция) – страна скал. И так далее.

Люди, которые появились в 15 календу июня (18 мая) 839 года при дворе императора Людовика Благочестивого в Ингельгейме, рассказывали, что они из народа «рос» и что хакан (chachanus) народа «рос» отправил их к нему, императору франков, ради дружбы. Эти люди оказались свеонами.

А не может ли быть, чтобы эти шведы, эти «варяги», у которых был хакан, называли себя русами потому, что они жили в русской среде? В советское время «русскими» на Западе было принято называть всех, и узбеков, и украинцев и балтов.

Изобретатель пассионарности, который объявляет источниковедение *мелочеведением*, отправляет русов-неславян в сторону американского материка:

В 844 русы, «жуткие разбойники», высадились в Андалузии и попытались пробиться к Севилье. Мусульмане отразили удар и сбросили врагов в море. Они великолепно знали дорогу на Запад, и потому через век с лишним путь их из Киевской Руси снова лежал через Рум в Андалус. Однако, будучи хорошо знакомыми с саблями и стрелами берберов, они предпочли напасть на христианскую Галисию. Там они три года подряд разоряли побережья, сжигали монастыри, разграбили Сантьяго, убили епископа. Наконец Гонсало Санчес собрал войско и разбил захватчиков. Русы погрузились на корабли и уплыли в сторону Америки. Но, так как там их следов не осталось, то, вероятнее всего, они покоятся на дне то Атлантического океана, то Бискайского залива. Русы иногда вступали в тесный контакт со славянами. В Киеве, например, господствовали «русы-славянофилы». Прощаясь, русы оставили славянам свое имя.

Итак, «высадились в Андалузии». Сторонники высадки русов в Испании отсылают к Якуби (Ахмеду-эль-Катибе), написавшему в 889-891 очередную «Книгу земель», в которой упомянуто нападение на Севилью язычниками под названием «русь».

Однако, считают другие, в том числе Борис Александрович Рыбаков, под «Андалус», «Ал-Андолус», «Анадолус» – следует понимать не Андалузию, а Анатолию. Свой довод ученые объясняют следующим образом:

Русы... ходят по торговым делам в страну Андалус, в Рум, в Кустантинию и к хазарам –

писал ал-Масуди в 943 году. Ибн-Хаукаль действительно сообщает о походах русов в страну Ал-Андолус, а греческое житие Георгия Амастридского – о набеге на Амастриду (примерно в этот период) варваров рос, «народа, как знают все, крайне жестокого и безжалостного и не несущего никаких признаков человеколюбия». Амастрида, в древней Пафлагонии, в свое время столица Битинии, и находится в Малой Азии – Анатолии.

Русы были славянами. «Словенский язык и русский одно есть», – пишет Хронограф. Русы были не славянами. Славян и русов разделяет в другом месте тот же Хронограф. Славян (сакалиба) и русов разделяют арабские источники.

Но есть же сегодня словене отдельно (словаки) и словене отдельно (словене), а есть чехи, русские, поляки и хорваты. И все они славяне.

«Русь» происходит от гидронима Рось-Рьсь, притока Днепра, или от топонима Руса (Старая Руса), Россотар, Рукуста. Но тогда, возражают ученые другой школы, «по всем законам словообразования, этнокатойконим (из гидронима Рьсь) должен иметь форму «Рьшане», а не русь-рось», а из топонима Руса – рушане. А как насчет варианта этнонима пруссов «прушане», который тоже иногда встречается?

Ломоносов в полемике с Миллером связывает этноним Русь с Боруссией, Пруссией:

Когда Рурик с братьями, со всем родом и с Варягами Россами переселился к Славянам Новгородским, тогда оставшиеся жители после них на прежних своих местах Поруссами или оставшимися по Руссах проименованы...

Семерано производит топонимы Боруссия, Пруссия от аккадского *parasu* – делить, разделять, *parsu* – часть, лат. *pars*. Итак Боруссия, Поруссия, Пруссия, Русь – часть, край, сторона. *“O rus! Quando ego te aspiciam”* О деревня! Когда тебя увижу!

Еще по одной теории имя «Русь» является первой составной частью названия этнического конгломерата, занимавшего огромное пространство от северного Кавказа до Днестра – роксоланы (Рокс-Аланы): Белые Аланы. В данном контексте белизну следует понимать в смысле господства, главенства. Тут есть точка соприкосновения с другой теорией, согласно которой греческое *Рос* для обозначения некоего народа на севере Черного моря позаимствовано из библейского «Рош»: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала... и поверну тебя и поведу тебя, и выведу тебя от краев северных и приведу тебя на горы Израилевы... падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою... И пошлю огонь на землю Магог...» «Рош» на древнееврейском означает глава.

Есть еще более фантастические теории: русов обнаружили даже в Северной Италии в районе озера Гарда – русский граф Эрно возглавлял отряд, который воевал на стороне лангобардов, защищая Павию от Карла Великого.

Словено-русы около 774 г. отличаются при защите от войск Карла столицы лангобардов Павии... где был замечен со своей дружиной «русский граф Эрно» (вспомним Ирнека, царя Скифии после Атиллы). Опорой русов в округе Вероны был округ Гарды. «Русские плащи» громили франков в 778 г., хотя некоторые русы переходили и на сторону Карла.

Итак. Русь находилась в приморской шведской области Упланде. *Rugi* – от острова *Ruegen*. Русы – потому что рыжие. *Rhos*, Рокс(аланы), Россо(моны), Ругия. Русь подунайская – на территории Венгрии, на территории Австрии, балтийская, причерноморская, неманская, тмутораканская, северная, киевская, жмудская, аланская, шведская.

Сколько топонимов: *Russbach* в Австрии, Резия в Северной Италии, *Ruhhia*, *Russia*, *Ruthenia*, *Rojana*, *Reune*, *Rugia*, Руща, Руса, Росса. Этнонимов *Ruzi*, *Ruzzi*, *Rusci*, *Ruszi*, *Ruizi*, *Ruzeni*, *Reuze*, *Riuze*.

Рухиа, рухи. Руги. «Лингвистической закономерности перехода “г” в “с”... на германском материале автор не находит». Однако есть примеры перехода «с» в «г», «х». Спросите у бергамаска сегодня, как он русских и Россию называет. Он вам точно ответит – рухи, рухиа.

Ан нет: неверный путь, говорят другие. Слово «русь» обозначает не этнос, не народ и не местность. Русь – термин социальный, означает господствующий слой, дружина – «беша у него варязи и словени и прочи прозвашася русью». «И избрашася три братья с роды своими, пояша по себе всю русь» – то есть «дружину». Происходит «русь», «руотси» от древнескандинавского «*rods*» – гребсти. А шведская община гребцов называлась «родсы», «ротсин».

Нет даже согласия в том, куда следовал путь из Варяг в Греки. Тот же Борис Александрович Рыбаков пишет, что не было пути из варяг в греки, а был только путь из грек в варяги, ибо только этот путь, обратный, описан Хронографом.

Бе путь (из Варяг в Гръки и) из Грък по Дънепру, и върх Дънепра волок до Ловати вънити в Илмерь езеро великое, из него же езера потечеть Волхов и втечеть в езеро великое Нево, и того езера внидеть устье в море Варяжское; и по тому морю ити доже и до Рима, а от Рима прити по тому же морю ко Цесарюграду, а от Цесаряграда прити в Понт море, в неже вътечеть Дънепр река.

В этой фразе слова в скобках «из Варяг в Гръки» – интерполяция, считает Рыбаков.

В УПДК министр-советник был принят на самом высоком уровне. Беседа длилась более двух часов. Начал он самоуверенно. Позиция была четкой: в какой стране это видано, чтобы товары и услуги оплачивались чужой валютой? Разговор развивался по этой линии и возвращался на круги своя. «А какая вам разница? – говорили представители УПДК. – Ведь вы все равно обязаны обменивать рубли по официальному курсу... У вас что, печатный станок в подвале?» Эта фраза была сказана почти в конце беседы. Вдруг министр-советник захныкал. «Пожалейте старого человека. Сделайте исключение хотя бы для меня. Ведь скоро Рождество, Новый год. Я собираюсь провести время с внуками. Они ждут меня. Ну как они будут праздновать Рождество без бабушки? Я ведь небогатый человек».

Аграфандру стало не по себе. Стыдно за министра-советника, обидно за страну, за себя.

Билетная касса была расположена прямо у входа в УПДК. Перед кассой длинная очередь. Обращаясь к Аграфандру, министр-советник сказал: «Сделав “А”, сделайте “Б”. Лиха беда – начало. Займите очередь, купите мне билеты». И ушел, задравши нос после успешного выполнения столь сложной дипломатической миссии.

Начальник не написал статью о возникновении Руси. Сочинив концовку, он оставил эту идею навсегда.

«Допустим, скандинавы основали русскую государственность», – писал Начальник. Значит ли это, что славяне были не способными создать ее сами? Англичан несколько не волнует, что их страна была колонизирована сначала римлянами, а затем завоевана норманнами, что на троне сидела норманнская династия и что королевская семья с 18-го века, как и царская в России, немецкого происхождения. Никаких комплексов по этому поводу там нет. Великобритания – великая страна, с великой историей и великой культурой. То же можно сказать о России, которая становилась в течение веков, в том числе путем слияния и ассимиляции разных этнических и культурных элементов. Независимо от того, кто основал русскую государственность. Кто бы ни основал, кто бы ни правил Россией в ту или иную эпоху, это ни в коем случае не может служить доказательством неполноценности русского народа, его неспособности создать свою культуру и государственность, не очерняет его прошлое и не принижает его. К сожалению, в России, в отличие от Великобритании, комплексы сохраняются.

И так ли уж это важно, «откуда есть пошла»?

Она есть, и это главное. Называлась по-разному – Русь, Московия, Россія, Советский Союз, Большая зона...

А сегодня РФ.

ВРАЩАЯ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГЛОБУС

Продолжение

АРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Отважный монах Сюань Цзан, герой классического китайского романа «Путешествие на запад», добрался-таки до священного места рождения Будды — на современном глобусе оно находится в местечке Лумбини, на территории современного Непала. Именно там родился принц Гаутама Сиддхартха, наследник царя народа шакьев, названный также Шакьямуни. Он не знал ничего о людских горестях и, столкнувшись с ними, предался безграничной печали. Тайно покинул царский дворец и отправился в путь в одежде слуги, смешавшись с толпой. «Хождение в народ» привело его в деревню Бодх-Гая, где под развесистым деревом пипал на него снизошло просветление, и с этого момента он стал известен миру под именем Будда — «просветленный». Отростки от этого дерева до сих пор сажают в буддийских странах; я видел их в Камбодже, Таиланде, Шри Ланке...

Непал, как ни странно, страна вовсе не буддийская, хотя и стоит на пути к одному из оплотов мирового буддизма — Тибету. Около 70 процентов населения исповедуют индуизм, причем Непал — единственная страна в мире, где индуизм является государственной религией.

Вот уж, действительно, страна контрастов — и на крошечной площади, едва заметной на нашем глобусе. С одной стороны — тераи, непроходимые джунгли с неперменными тиграми, слонами и носорогами. С другой — Эверест, или Джомолунгма, самая высокая гора планеты, ее сестра Аннапурна. И — до сих пор не могут точно подсчитать количество языков, на которых говорят непальцы. Во всяком случае, не меньше шестидесяти.

Когда-то, более двухсот лет назад, династия Шах захватила престол и правит по сей день. Власть долгое время обеспечивали гуркхи — воинственное племя, сыгравшее не последнюю роль и в колониальной политике Великобритании, и даже в Первой и Второй мировых войнах. Мы часто видим на блошиных рынках и даже в дорогих магазинах их традиционное оружие — «ххукри», короткий тяжелый меч, изогнутый лезвием вперед. Именно меч, а не кинжал, как считают некоторые, хотя его длина может не превышать и 20 сантиметров. Но гуркхи пользуются им как мечом — и выходят победителями из любой схватки. Около двух столетий назад они заключили соглашение с Англией и придерживаются его до сих пор. Около десяти тысяч гуркхов служат в элитных частях британской армии и около пятидесяти тысяч — в армии соседней Индии, которая, кстати, строго придерживается британских военных традиций.

Помню, как в Москву приезжал король Махендра Бир Бикрам Шах Дэва. В общем-то, просто Махендра — «бир бикрам» означает «муж доблестный», дэва — «бог», «божественный». Шах, как вы понимаете, это династическое имя. Не тот шах, что был в Иране. Хотя и тот тоже приезжал.

Хрущевское было время — кто-то называл его «оттепелью», кто-то бегал за продуктами и мечтал вырваться из коммуналки, а я просто убежал с лекций, не ощущая в своей памяти пагубных следов недавнего прошлого. Всякие приезжали — запомнилось лишь: «Он создан был непальцем и непалкой».

Вскоре трудное время настало для Непала. Махендру сменил его сын Бирендра, учившийся в Гарварде и Итоне. Он-то и начал активизировать парламентскую демократию, введенную еще отцом (после абсолютной монархии). Результатом явилось то, что в 1994 году к власти в Непале пришла маоистская Объединенная коммунистическая партия (марксистско-ленинская). Продержалась она недолго, уже на следующий год получила вотум недоверия. И тут же начала партизанскую войну, которая продолжается до сих пор. Многие помнят трагедию в Катманду —

в 2001 году наследный принц Дипендра перестрелял всех членов королевской семьи, включая отца, и застрелился сам. На трон вступил его дядя Гьянендра, делающий попытки подавить маоистский мятеж и укрепить центральную власть. Пока — лишь с переменным успехом. Но в любом случае ясно, что за пределы Непала этот мятеж не распространится и не будет больше попыток строить «бесклассовое общество» по образцу Камбоджи Пол Пота.

Любознательный читатель неизбежно задаст вопрос — что за «эндра» такая, что в любом королевском имени? Это Индра — один из верховных богов индуизма, и присоединение его имени к имени монарха символизирует и святость самой династии, и ее приверженность индуистской вере. А буддистов сейчас в Непале всего около пятнадцати процентов, не то, что было во времена Сюань Цзана.

Впрочем, он уже закончил свое «Путешествие на запад», достиг своей великой цели. Возможно, монах не предполагал, что Земля круглая, да еще и вертится, но мы-то в этом убеждены! (Хотя мне бы хотелось более очевидных доказательств.) Так или иначе, мы продолжаем двигаться на запад, каждым шагом своим отдаляя закат.

И все-таки сначала вернемся немного назад, к тому месту, где неугомонный путешественник вступил на священную для него землю Индии, где буддизм тогда был распространен гораздо шире, чем теперь, и претендовал на звание доминирующей религии. Мы знаем, что такое положение продержалось сравнительно недолго, и индийцы (на самом деле огромное множество народов и племен) вернулись к древней ведической религии — индуизму, который, правда, к тому времени уже распался на несколько течений, не противоречащих, впрочем, друг другу. Саму эту религию принесли на новые для них земли воинственные кочевые племена арьев, или, как их называли в недавнем прошлом, арийцев. Кто-то считает — с востока, кто-то — с запада; дела, отстоящие от нас на три тысячелетия, трудно проследить со стопроцентной достоверностью. Большинство относит прародину арьев к Северному Причерноморью, откуда они двигались в разных направлениях — и на юг, и на восток, и на запад. В конце 18-го века английский лингвист У. Джонс предположил, что древнегреческий, латинский, древнеиндийский санскрит, древнегерманский и кельтский языки происходят из одного источника. Чуть позднее датчанин Расмус Раск и особенно немец Якоб Гримм развили эту теорию, названную индогерманской и позже — индоевропейской; оказалось, что не только, скажем, немцы и русские — родственники по крови и по языку, но к этой семье родственных народов относятся также и греки, и армяне, и осетины, и иранцы с таджиками, и многие индийцы и пакистанцы, и многие афганцы, и даже вымершие хетты.

Потом появилась теория «нордической расы» якобы высшей среди арийцев (Гобино, Чемберлен), согласно которой «неарийские народы» — в трактовке Гитлера семиты и цыгане — подлежат уничтожению. Что Гитлер и сделал одним из принципов политики Третьего рейха. Впрочем, вряд ли стоит относить цыган к неарийским народам — они происходят из Северной Индии и говорят на одном из индоевропейских языков. Их самоназвание — «рома», «человек, мужчина» явно восходит к Раме, герою древнеиндийского эпоса «Рамаяна». «Синти» — другое самоназвание цыган — может иметь отношение к Сите, супруге и соратнице Рамы.

Что же касается семитов, то для Гитлера это были лишь евреи. С арабами, семитами намного более многочисленными, он, наоборот, старался установить тесные отношения и до сих пор имеет многих высокопоставленных поклонников в арабском мире.

Библейская история доносит до нас факты первых контактов евреев с индоевропейскими народами — те же хетты упоминаются неоднократно. Но, пожалуй, наибольшее впечатление оставляет Книга Эсфирь — история взаимоотношений с двором персидского шаха Артаксерса (Ахашвероша) Первого.

События V века до нашей эры. Согласно Книге Эсфирь, Персия тогда владела ста двадцатью семью областями от Индии до Эфиопии. Покорила она и Вавилонскую державу, царь которой Навуходоносор (Набукаднеззар) ранее угнал в плен покоренных евреев. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, вспоминая о Сионе...» — знаменитый 136-й Псалом, вдохновивший десятки художников и музыкантов — от Верди до «Бони М». Персидский царь Кир Великий отпустил иудеев на родину, но многие так и остались «в странах рассеяния (*греч. диаспора*)» — и в самом Вавилоне, и в городах начавшей победоносное шествие Персидской империи. В Сузах, «престольном городе», жили сирота Эсфирь и Мардохей, ее дальний родственник и приемный отец. Девушка стала любимой женой царя, скрыв свое еврейское происхождение (видимо, антисемитизм уже тогда был силен!). И когда царский советник Аман (что-то вроде

Адольфа Эйхмана древних времен) вознамерился уничтожить всех евреев на имперской территории, Эсфирь и Мордехай сорвали этот зловещий план. В ознаменование этого каждый год евреи отмечают праздник Пурим — наверное, самый веселый и бесшабашный праздник в традиции иудаизма.

Персы, вероятно, были первыми из древних завоевателей, которые посягнули на Европу. Греко-персидские войны тянулись бесконечно долго и с переменным успехом. Победы греков при Марафоне и Саламине, какими бы славными они ни были, сыграли только временную роль; давление с Востока продолжалось, однажды персы дошли до Афин и сожгли их. И только в первой половине IV века до н. э. Александр Македонский разгромил стареющую державу Ахеменидов и поставил править Персией одного из своих полководцев, Селевка Никатора. Менялись цари и династии, на троне воцарились парфяне, постоянно угрожавшие власти Рима. В 53-м году до н. э. Марк Красс, триумвир Римской республики, решил снискать военную славу. Два других триумвира уже имели ее достаточно: Юлий Цезарь покорил Галлию, Гней Помпей — Ближний Восток. У Красса же за плечами — лишь подавление мятежа рабов, победа над которыми, как бы ни был опасен Спартак, не давала ему права на военный триумф (эта высшая римская почесть воздавалась лишь победителю суверенного противника, а рабы и гладиаторы таковыми не считались). Наплевав на все ранее заключенные договоры, он двинул свои легионы на Парфию, преемницу державы Селевкидов. В битве при Каррах его ждал разгром — и бесславная смерть. Десять тысяч римлян были пленены, отрезанную голову триумвира принесли парфянскому царю как охотничий трофей. Царь в тот момент смотрел в театре трагедию Эврипида «Ваханки»...

Наивысший и последний взлет Персидской империи был уже в VII веке нашей эры, в конце правления династии Сасанидов. Шах Хосров Парвиз («Победоносный») громил на всех фронтах византийские войска, взял Армению, Дамаск, затем Иерусалим, разорил храм Гроба Господня и перевез Истинный Крест, на котором был распят Христос, в свою столицу Ктесифон. Попутно были разгромлены христианские арабские княжества — арабы уже массово селились в этих местах. Затем он завоевал Египет, но на этом военное счастье кончилось. Византийский император Ираклий собрался с силами, в союзе с хазарами отвоевал Армению, потом Сирию и Месопотамию. Наконец, выдержав осаду Константинополя, Ираклий двинулся на Ктесифон — и персидская держава пала. После смерти Хосрова прошло всего 12 лет — и Персия стала легкой добычей арабской конницы мусульманского халифа Омара. И, разумеется, исламизирована настолько, насколько это возможно было сделать.

А сделать это было нелегко. Древняя дуалистическая религия зороастризма, восходящая к верованиям ариев, была систематизирована еще в VI веке до н. э. великим реформатором Заратуштрой (в греческой интерпретации Зороастром). Результатом явилась «Авеста» — многотомный труд, записанный на воловьих шкурах, священная книга древних персов. По имеющимся источникам, большая часть книги была уничтожена Александром Македонским, насаждавшим в покоренных странах эллинскую религию и культуру. Лишь через десять веков, при династии Сасанидов, удалось что-то из утраченного восстановить из устной традиции и оставшихся томов. «Авеста» существует и сейчас, но далеко не в первоначальном виде. Вот только приверженцев зороастризма осталось немного — в самом Иране небольшая община в городе Йезд, а многие, спасаясь от мусульманских преследований, еще более тысячелетия назад перебрались в соседнюю Индию, в район Бомбея. Там их называют «парсами», в веротерпимой Индии они занимают солидные экономические и общественные позиции. Все мы, конечно, помним Индиру Ганди, и многие убеждены, что она находилась в родстве с отцом индийской независимости Махатмой Ганди. На самом деле — это ее фамилия по мужу, функционеру Индийского Национального Конгресса Ферозу Ганди, который был парсом и не имел никакого отношения к Махатме.

Арабы насаждали ислам в Иране огнем и мечом; может быть, с тех времен сохранилось довольно неприязненное отношение персов к арабам, не имевшим за плечами многовековой культуры и только-только выходявшим из полукочевого состояния. Выражением этого глухого протеста стало широкое распространение в Персии «еретического» толка ислама — шиизма, в то время как завоеватели придерживались суннизма, ортодоксального направления.

Династии сменяли друг друга, Персия оказывалась то под властью сельджуков, то монголов, то их преемников — Тимуридов, то османских завоевателей, то восставших губернаторов — сатрапов. Это слово прочно вошло в европейские языки, в значении явно отрицательном. Хотя

в Персии – всего лишь название должности... И обычай, согласно которому государственные чиновники берут взятки, тоже был еще в персидской древности. Нам это представляется предосудительным, а там это было разрешено законом – до определенных пределов. Взятка называлась «пешкеш» – «подарок», в индийские языки вошла как «бакшиш».

И в это же смутное время явилась миру плеяда великих персидских поэтов. Трое гениев – Фирдоуси, Омар Хайам и Хафиз – этого достаточно, чтобы персидская литература стала важной частью мирового культурного наследия.

Политическая история Персии пережила еще один подъем при шахе Аббасе Великом (1587 – 1629), когда ему удалось поставить под свой контроль значительную часть древней империи. Правда, ненадолго. Надир-шах еще мог вторгнуться в Индию, захватить знаменитый «павлиний трон» и огромный бриллиант «Кох-и-нур». Но – наступало уже новое время, и на арену истории выступили европейские державы, в первую очередь Англия и Россия. Во время Первой мировой войны они кратковременно оккупировали Персию, чтобы обеспечить ее нейтралитет. То же самое повторилось и во Второй мировой войне. Советский Союз, опираясь на иранских коммунистов (партия «Туде»), попытался создать на территории Ирана марионеточные образования – «Народную республику Азербайджан» и «Курдскую народную республику». Это стало поводом для знаменитой «фултонской» речи Уинстона Черчилля, своего рода декларации «холодной войны».

Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, подвергавшийся давлению с обеих сторон, в конце концов выбрал Запад и в военно-стратегическом, и в экономическом отношении. Гигантские запасы нефти и доходы, получаемые от их эксплуатации, позволили ему начать так называемую «белую революцию», направленную на демократизацию общества и улучшение участи населения страны. Увы, деньги уходили в песок, и ожидавшееся счастье так и не пришло. Пришло недовольство, которым воспользовалось мусульманское духовенство и близкие к нему партии и движения. Сопротивление шахскому режиму нарастало, и 11 февраля 1979 года высшее мусульманское духовенство Ирана захватило власть в стране.

Александр Бовин, бывший тогда руководителем группы консультантов отдела международной информации ЦК КПСС, произнес в одной из телевизионных передач сакраментальное: «Товарищи, это революция». Прямого эфира тогда не было, но из записи это не вырезали – Цека, человек, досконально знает, что говорит. Я был рядом, в монтажной, и у меня эта фраза никаких особых чувств не вызвала. Зато суловские старички были категорически против, Идеологический отдел ЦК настаивал: «Революция – это святое!» Не знаю, получил ли автор определения какое-либо возмещение, но термин «исламская революция» получил хождение по всему миру и является сейчас единственно адекватным описанием происшедших событий.

Радикальное изменение общественного строя произошло почти внезапно, старые ценности (в общем-то, общечеловеческие), на которые была ориентирована «белая революция» шаха, были отвергнуты, и на смену им пришли новые, «исламские» ценности. Принято считать, что нынешний Иран – это полностью теократическое государство, регулируемое нормами шариата – исламского свода законов и установлений времен Пророка Мухаммеда, то есть финальной стадии родового общества на Аравийском полуострове (VII - VIII века нашей эры). На самом деле все, конечно, совсем по-иному. Такие понятия, как конституция, президент, премьер-министр, да и многие подобные, не могли существовать в шариате, но действуют в Иране. Другое дело, что высшее шиитское духовенство прочно удерживает власть и определяет как внутри-, так и внешнеполитический курс страны. «Большой Сатана» – США, «Малый Сатана» – Советский Союз. Такие внешнеполитические ориентиры определил покойный вождь «исламской революции» аятолла Рухолла Хомейни. Антизападная риторика (иногда и реальная политика) соседствует, и достаточно непротиворечиво, с международным сотрудничеством, без которого было бы невозможно бурное развитие иранской экономики. Налицо и обратный процесс – экономическая самодостаточность порождает иллюзии, что она достигнута исключительно благодаря «исламскому» правлению, и верхушка иранского общества все дальше отходит от понимания реальных процессов, происходящих в мире. «Сон разума порождает чудовищ», и нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад открыто призывает к уничтожению Израиля... На этот раз это не просто рецидив антисемитизма, впервые проявившегося в Иране две с половиной тысячи лет назад, – это устоявшееся и тщательно культивируемое мнение всего мусульманского мира. Иран же не просто ощущает собственную принадлежность к этому миру – он претендует на лидерство.

ИСЛАМ, ИСЛАМИЗМ – РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

Что же такое «всемирная мусульманская община» – «умма», или, выражаясь более понятным языком, мусульманский мир? И правомерно ли вообще это понятие?

Религиозный признак как таковой не дает оснований для формирования целостного (и общего для большинства) мировоззрения ни в отдельно взятой стране, ни тем более в группе стран. В принципе, конечно, можно сказать: «весь христианский мир», но это понятие не намного более содержательно, чем «все человечество». «Христианский» – то есть отличающийся от всех иноверцев, «человечество» – то есть отличающееся от инопланетян...

Были моменты, когда именно религиозная идея объединяла народы, до этого различные в своих устремлениях, в едином движении – вспомним Крестовые походы или Реформацию. Потом все возвращалось на круги своя, и те же народы продолжали соперничать и даже воевать друг с другом. Возможно, более устойчивым показалось бы объединение по этническому признаку: «славянский мир», «англо-саксонский мир», «романский мир» и так далее. Но разве не воевали Россия с Польшей, разве не была такая близкая нам Болгария в двух мировых войнах на стороне противников России? Англия не воевала с Америкой, а Франция с Испанией? Значит, и этот принцип не является безупречным.

Вернемся к понятию «мусульманский мир». Грубо говоря, его можно разделить на две большие части – «суннитский мир» и «шиитский мир». Прочие ответвления, толки и секты мы пока оставим в покое – за редкими исключениями, они не делают погоды. Сунниты составляют большинство, и самой влиятельной суннитской страной является Саудовская Аравия – там находятся Мекка и Медина – места, связанные с жизнью и деятельностью Пророка. Мекка является целью ежегодного паломничества мусульман всего мира – «хаджа», что считается священной обязанностью каждого верующего. За исключением Ирака и, возможно, Йемена, суннизм доминирует во всех арабских странах, в Пакистане, Индонезии, в Турции, в Средней Азии, в Северной и Центральной Африке, в мусульманских странах Европы – Боснии и Албании... Шииты же составляют подавляющее большинство лишь в Иране и Азербайджане; в остальных же странах это либо просто солидное большинство (как в Ираке), либо незначительное меньшинство. В целом численность их не составляет более одной десятой части всех мусульман.

Раскол произошел еще в VII веке, после убийства четвертого халифа мусульман Али, зятя Мухаммеда. Само слово произошло от «шиа Али» – «партия Али», которая настаивала, чтобы лишь потомки его и дочери Мухаммеда Фатимы наследовали халифский титул. Их более прагматичные противники, которые назвались суннитами (от «сунна» – жизнеописание Пророка), посчитали, что халифом может быть каждый, кто заботится о правильном исполнении религиозных предписаний и поддерживает порядок в мусульманском мире. Сунниты оказались в большинстве, а шиитов до сих пор рассматривают как «раскольников» или даже «еретиков». Кровавопрлитные столкновения между фанатичными последователями двух направлений не раз имели место на протяжении минувших столетий. Да и сегодняшний Ирак наглядно демонстрирует нам, что эти противоречия живы до сих пор. Они были лишь притушены во время затянувшегося диктаторского правления Саддама Хусейна, но сейчас вновь выпущены в обращение и, как нетрудно предположить, усиленно подогреваются из-за рубежа.

Можно ли в этом случае говорить о «мусульманском мире» как о некоем единстве? Казалось бы, столько противоречий между входящими в него странами, да и внутри самих этих стран, что ни о каком единстве и помышлять не приходится. И тем не менее, понятие такое существует и вполне правомерно. Главный объединяющий фактор – религия занимает в жизни жителя этого мира гораздо большее место, чем, скажем, в жизни европейца или американца. Одна причина – это скудость светской духовной жизни мусульман. Много ли мы можем вспомнить заметных имен из современной иранской или сирийской, или египетской литературы? В Европе, где переводится все, заслуживающее внимания, литература мусульманского мира практически не представлена. Исключение составляет лишь Турция, ее писатели известны и пользуются популярностью. В отсутствие собственной значительной литературы можно было бы пользоваться переводной – но, увы, на местные языки, даже крупные – арабский, фарси, урду – переводится ничтожное по мировым меркам количество произведений мировой литературы. Чаще всего – по причине «неприемлемости, несовместимости с мусульманской моралью». Возникающий дефицит «духовной пищи» восполняется Кораном, его толкованиями, различной литературой сугубо мусульманского содержания. То же самое происходит на телевидении и радио.

Другая причина – это процессы, происходящие внутри самого ислама. Некоторые называют это «исламским возрождением», явно видя в качестве аналога европейское Возрождение, хотя сравнение это едва ли правомерно. Прежде всего – из-за отсутствия подчеркнута гуманистического содержания, характеризовавшего эту эпоху в Европе. Скорее можно было бы сравнивать «исламское возрождение» с эпохой Реформации, когда главным лозунгом было возвращение к истокам христианства. Но протестанты боролись против лицемерия и стяжательства официальной католической церкви, а исламские фундаменталисты, объявляющие полугосударственное образование, созданное Пророком в Аравии, вершиной общественного развития, ни с кем не сражаются. И против них никто не выступает, во всяком случае, открыто. Фундаменталисты спокойно и методично завоевывают ведущие позиции в мусульманском богословии, а стало быть, и в общественной жизни мусульманских стран. Аргумент у них практически один – вопиющая отсталость многих арабских (и вообще мусульманских) стран происходит оттого, что люди забыли заветы Пророка и пытались идти по пути прогнившего Запада. Единственный выход, который они предлагают, заключается в неуклонном следовании нормам изначального (средневекового) ислама.

Собственно, в самом фундаментализме как религиозном течении ничего плохого нет – напротив, он призывает верующих к неукоснительному исполнению норм шариата, прямо перекликающихся с библейскими Десятью заповедями. По сути дела, и некоторые направления христианства (баптизм, например) являются фундаменталистскими в своей основе, то есть базируются на изначальных ценностях христианской веры. Ортодоксальный иудаизм в его наиболее последовательном выражении – это тоже не что иное, как фундаментализм. И едва ли следует слепо верить аналитикам и публицистам (а их много), которые утверждают, что мусульманский фундаментализм – это главная угроза человечеству.

Другое дело – использование фундаментализма в политической практике. Политические деятели, зачастую весьма далекие от богословия, избирательно используют фундаменталистские или вообще исламские лозунги в своих целях, из которых одна является главной – завоевание (или удержание) власти. Это – политический ислам, чаще называемый исламизмом.

Само это явление опять же особой опасности не представляет; исламистские партии давно занимают определенное место на политической арене мусульманских стран, и некоторые из них придерживаются достаточно реалистических позиций. Другое дело – радикальный исламизм (исламский экстремизм, «джихадизм»). Лозунги его просты и понятны: «сокрушить Запад», «сокрушить Израиль», «убить неверного – богоугодное дело», «жертвовать собой во имя Аллаха – прямая дорога в рай» и тому подобные. Они легко налагаются на уже давно существующие представления, впитанные практически каждым мусульманином еще в начальной школе – «Запад нас поработил и эксплуатировал», «Израиль незаконно отнял наши земли», «они отбирают то, что нам принадлежит, поэтому им выгодна наша отсталость». Они действительно чувствуют себя отсталыми и униженными, но не могут обвинить в этом себя – таково свойство человеческой натуры. Лучше свалить это на внешние причины. В интерпретации радикальных исламистов «причины» становятся целью нападения – и в качестве аргумента приводится одна из версий коранического изречения, что «то, что завоевано исламом, навсегда остается его владением». Испания была под властью исламских правителей – должна быть и сейчас. Франция, до битвы при Пуатье, – была завоевана. Потом – Восточная Европа, вплоть до Вены. Индия, находившаяся под властью мусульманских правителей... Практически – претензии на мировое господство, и общество, воспитанное на идее собственной религиозной исключительности, своего морального превосходства над всем остальным миром, готово эти претензии разделить. Общество – но далеко не всегда руководители государств, среди которых есть и союзники Запада. Тем не менее, радикализация общества продолжается, антизападные настроения все сильнее муссируются, и в этой связи можно безошибочно заключить, что «мусульманский мир» становится непримиримым врагом Европы и Америки. Заметьте – не ислам или какое-то из его направлений, и даже не какие-то отдельные государства. Против нас настроено общество, особенно его обездоленные низы, легче всего становящиеся жертвой пропаганды. И отголоски этих настроений мы все чаще видим у нас, в безмятежно благополучной Европе.

Но – об этом позже, а пока наш разноцветный глобус продолжает крутиться, и мы дошли до Ирака, граничащего с Ираном, которому, без сомнения, стоит уделить особое внимание. Современные события, связанные с атомной программой Ирана, накатываются на нас чуть ли не каждый день; это тема отдельного подробного разговора. Важно то, что роль Ирана в мировой

политике (и экономике тоже) больше, чем предполагалось до сих пор, и последствия этого пока трудно предсказать.

АРАБСКОЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ

Ирак. Сначала эта страна, бывшая лишь географическим понятием, принадлежала Персии. К VII веку, то есть к началу арабских завоеваний, арабы там уже жили и, возможно, составляли большинство населения. Они были христианами — монофизитами или несторианами; последние пользовались особым расположением персидской верхушки общества, исповедовавшей зороастризм. Дело было просто в том, что Византия, непримиримый противник Персии, считала несториан еретиками и всячески их преследовала. Они отвечали тем же; несторианами были и многие из монголов, позже участвовавших в великом походе Чингисхана и его наследников. Язычники не проявили бы уважения к русским церквям, многие из которых остались нетронутыми...

Стремительное продвижение арабских армий, вооруженных только что возникшей верой — исламом, покончило и с Персией, и с прежними религиями. Ирак стал провинцией мусульманского халифата, простиравшегося от Синда в Пакистане далеко на запад, до Испании. Столицей его была Медина, один из городов Пророка. Однако столицей четвертого халифа Али стал город Куфа, в Ираке. Халифа, как известно, злодейски убили, его сын Хусейн был разгромлен и убит при Кербеле. Эти города, а также Неджеф, где находится могила Али, являются наиболее почитаемыми святынями шиитов. Захватившая халифскую власть династия Омейядов из Сирии превратила Ирак снова в бесправную провинцию — несмотря на то, что Ирак был самым населенным и самым экономически развитым районом всего мусульманского мира. Расцвет наступил при новой династии Аббасидов, отдаленных родственников Пророка, живших ранее на юге нынешней Иордании. Они-то и выбрали Ирак в качестве оплота своей власти. Сначала столицей вновь была Куфа, но в середине VIII века халиф аль-Мансур (Альманзор, в старой европейской традиции) основал новую столицу в районе бедной деревушки Багдад. Решение было гениальным в стратегическом отношении — рядом междуречье Тигра и Евфрата, в арабской традиции — «Аль-Джазира», «остров», с древнейших времен житница всего Ближнего и Среднего Востока. С другой стороны — дорога, ведущая через горы Загроса к Иранскому плато и на юг, к Басре. К тому же рис и финики доставлялись из Басры в Багдад по полноводному Тигру. Очень скоро Багдад стал крупнейшим центром, он был больше, чем любой другой город не только в Западной Азии, но и в Европе. Временем наивысшего расцвета Багдада стало правление халифа Харуна ар-Рашида, героя сказок и легенд, того самого, кто послал живого слона в подарок своему современнику Карлу Великому. Потом начался упадок, кульминацией которого стало разрушение древнего канала Нахраван, тысячелетиями обеспечивавшего плодородие земель Центрального Ирака. В годы хаоса Ирак был наводнен воинственными племенами с севера, как иранскими по языку, так и тюркскими. В 1055 году вождь сельджуков Тогрул-бек взял Багдад и фактически положил конец независимости халифата. Потом были монголы, туркмены, вновь персы и, наконец, Османская империя, подмявшая под себя практически весь арабский мир. Какое-либо экономическое или духовное развитие стало невозможным — султанская Турция безжалостно эксплуатировала свои вассальные территории и не допускала каких-либо поползновений к независимости и вообще к прогрессу. Так продолжалось без малого четыре столетия, до тех пор, пока не пала сама Османская империя. В 1918 году, по итогам Первой мировой войны, Ирак стал британской подмандатной территорией. Это продолжалось недолго — во всяком случае, не настолько долго, чтобы у нынешних арабских «властителей дум» мог появиться повод упрекать Англию в «колониальном угнетении Ирака». Уже в 1921 году на трон в Багдаде взошел Фейсал, бывший ранее (правда, недолго) королем в Сирии, а до этого возглавлявший знаменитое арабское антиосманское восстание (заметную роль в нем сыграл британский агент, Лоуренс Аравийский). В октябре 1932 года Ирак получил полную независимость.

В начале Второй мировой войны Ирак сначала придерживался союза с Англией, но потом, после падения Франции, склонился на сторону Гитлера, присоединившись к мнению других арабских лидеров. Это вынудило Англию вновь оккупировать Ирак, разгромив его недееспособную армию в течение месяца. Это не нарушило, однако, принципа независимости Ирака. Бурное политическое развитие продолжалось, и оно привело к мятежу «Свободных офицеров» в 1958 году. Вся королевская семья была истреблена, казнены были многие видные политики из

«старой гвардии». Бригадный генерал Касем провозгласил республику, но на самом деле это была военная диктатура. Очень скоро он растерял всех своих союзников; только Советский Союз продолжал его поддерживать, но этого оказалось мало. В 1963 году Касем был убит, и к власти пришли офицеры, связанные с Партией арабского социалистического возрождения (Баас). Борьба за власть внутри этой партии, которую КПСС признавала «братской», продолжалась до 1979 года, когда к власти пришел Саддам Хусейн. Железной рукой, с помощью послушных соратников, ему удалось устранить всяческие намеки на оппозицию. Сколько человек было при этом казнено, едва ли возможно подсчитать. У власти остался «тикритский клан» — близкие и не слишком близкие родственники Саддама, выходца из этого же города. Тикрит — это один из оплотов суннитского меньшинства в Ираке, и у власти в стране оказались не просто сунниты, а убежденные противники шиитов, которые составляют большинство населения Ирака. Вина за тираническое правление Саддама Хусейна косвенным образом легла и на суннитов — и сейчас Ирак продолжает оставаться на грани гражданской религиозной войны.

У всех, конечно, на памяти и война в Персидском заливе, и последовавшая оккупация Ирака, и арест Саддама Хусейна. И до сих пор продолжаются споры: правомерна ли была эта война (ведь повод — стремление Ирака к обладанию ядерным оружием — оказался ложным), изменила ли эта война соотношение сил между Востоком и Западом, и если изменила, то не в худшую ли сторону? Недавняя волна антиамериканских демонстраций по всему миру, как это ни покажется неожиданным, подтвердила правоту Америки. Ведь что такое массовая демонстрация? Еще по советскому опыту мы знаем, что стихийно они не возникают, и даже для того, чтобы написать плакаты, нужны деньги. Всевозможные арабские фонды, действующие под маской благотворительности, охотно эти средства выделяют. Как выделял в свое время ЦК КПСС миллионы на поразившие Европу массовые манифестации против размещения на континенте американских ракет «Першинг-2»...

Раз деньги тратятся, значит, они должны окупаться. Цель — спровоцировать скорейший уход Америки из Ирака и отдать его в безраздельную власть исламистских партий. События, однако, идут по другому руслу — американцы и их союзники уже редко становятся целью террористических актов, их жертвами становятся сами иракцы, то шииты, то сунниты. То, независимо от веры, армейские новобранцы на вербовочных пунктах, то сотрудники государственных учреждений. Война идет не с Америкой, как нас пытаются убедить и арабские, и европейские политики, — идет процесс самоидентификации различных религиозных и этнических общин, наглухо задавленных при режиме Саддама. Внезапная свобода не всегда приводит к миру, но американцы по мере сил стараются играть роль стабилизирующего фактора.

Вердикты прессы разделились странно. Одни считают: Америка проиграла, потерпела поражение в Ираке. Другие уверяют: не совсем, еще не все потеряно, нужно только изменить политику. И лишь сама американская администрация настаивает: все было сделано правильно — стратегически, а от тактических ошибок не гарантирован никто. Вероятно, это и есть самое разумное мнение — ведь историю не повернуть вспять, и пусть не было ядерного оружия у Саддама, само его устранение от власти (вспомним ирано-иракскую войну, уничтожение курдских деревень химическим оружием, захват Кувейта и сопутствовавшее насилие) сделало мир лучше. Ирак занят самим собой, поисками собственного пути и в арабском, и в большом, таком разноцветном, мире. И мало что здесь зависит от Америки — Ирак все сделает сам.

Сирия, лежащая к западу от Ирака, относится к одному из районов, называемых «колыбелью человечества». Считается общепринятым, что письменность появилась за три тысячи лет до нашей эры на юге Вавилонской державы. Есть, однако, данные, что элементы, приведшие к письменности, появились в Сирии еще в VIII веке до н. э.!

В середине III тысячелетия возникло могущественное царство с центром в Ибле, к югу от нынешнего Халеба. Сохранившиеся 17 тысяч глиняных табличек подробно, в мелочах, описывают социальную, экономическую, религиозную и политическую жизнь царства. Язык определен как северо-западный семитский. Впрочем, семиты властвовали и в Аккадской, и Вавилонской империях, которые и расправились с независимым царством, до сих пор не имеющим имени. Но вскоре последовал ответ — племена аморитов (пришедших с запада) наводнили Месопотамию и основали там сотни поселений. Великий законодатель Хаммурапи был по происхождению аморитом...

Полагают, что именно из Сирии началось движение кочевников-гиксосов, завоевавших великий и мощный Египет. Гиксосы были индоевропейцами по происхождению; их союзники хурриты научились от них коневодству и искусству боя на легких колесницах, а потом основали восточнее

Евфрата могущественное царство Митанни. Изгнав гиксосов, Египет покорил это царство; затем пришли индоевропейцы-хетты, владевшие способом обработки железа. И лишь потом страна была наводнена завоевателями поднимавшейся к вершине мировой власти Ассирийской державы.

Примерно с XIV века до нашей эры ассирийцам пришлось столкнуться с растущей силой новых семитских пришельцев – арамейцев, основавших множество процветающих городов. Ассирийцам приходилось только отбиваться, и позиции их слабели. Примерно к этому времени относится и исход евреев из Египта, и основание собственного государства со столицей в Иерусалиме. XI век до нашей эры – и тогда же арамейцы основывают свое царство со столицей в Дамаске. Натиск индоевропейских народов с севера продолжался – сначала киммерийцы, потом скифы... Они, вместе с мидийцами, подорвали могущество Ассирии. Последний рывок: владетель Вавилона Навуходоносор разгромил нападавших с юга египтян, взял Иерусалим и угнал его жителей в рабство. Вскоре после этого Ассирия пала под ударами Персии, а через два века Александр Великий уничтожил Персидскую державу.

Оставаясь провинцией Греческой и Римской империй, а потом и Византии, Сирия превратилась в замечательный центр культуры. Антиохия, новая столица Сирии, была причислена к крупнейшим городам империи; местные школы риторики, юриспруденции, медицины славились по всему миру, равно как и литература и изобразительное искусство. При этом сохранялась удивительная веротерпимость – допускались и греко-римское многобожие, и христианство, и местные языческие верования. Причем по-гречески говорила лишь верхняя прослойка общества, а большинство сирийцев – по-арамейски или на других семитских диалектах. Никакой насильственной «интеграции» не было и в помине.

Потом пришли арабские завоеватели. Сначала насильственного обращения в ислам не было – даже не все немногочисленные арабские племена, поселившиеся к тому времени в Сирии, восприняли призыв Пророка. Семитское большинство было христианским; лишь некоторые остались при своих древних верованиях (это не была иудейская вера, скорее наоборот – то, против чего яростно боролись все еврейские пророки). При египетской династии Фатимидов наступил расцвет культуры, давший миру философа аль-Фараби и писателя Абу-ль-Фараджа.

Потом пришли сельджукские завоеватели и все разрушили. На развалины, уже в XI веке, явились крестоносцы. Разгромленные впоследствии Саладином, они продержались недолго. Потомков Саладина сменили бывшие наемники – мамлюки, и их султан Бейбарс покончил и с крестоносцами. Начавшееся экономическое развитие было остановлено в 1401 году Тимуром, который разорил и разрушил все, что оставалось в Сирии после предыдущих войн. Через столетие пришла Османская империя. Правление было относительно мягким – Турция признала полномочия христианских патриархов и еврейских общин, город Халеб (Алеппо) стал центром международной торговли, в которой решающую роль играли французские и английские купцы, равно как и коммерсанты из сирийских христиан и евреев. В городах стали носить европейскую одежду, открывались школы, преподавание в которых велось по западному образцу...

Когда Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Германии, державы Антанты начали против нее военные действия. Войска английского генерала Алленби взяли сначала Иерусалим, а потом при поддержке арабских повстанцев уже упомянутого Лоуренса Аравийского – Дамаск. В 1920 году Сирия стала подмандатной территорией Франции. Когда в 1940 году Франция пала под ударами гитлеровской Германии, вишистское правительство разрешило немецким самолетам заправляться в Сирии для последующих ударов по Ираку. Через месяц, в июне 1941 года, войска Англии и Свободной Франции захватили страну и сразу же провозгласили ее независимость.

Сокрушительное поражение объединенных арабских армий в войне против Израиля вызвало резкое недовольство правительством – антиизраильские настроения в обществе и тогда еще были очень сильны. Тогда и возникла партия Баас («возрождение»), привлекавшая в свои ряды студентов и молодых офицеров. Политическое развитие в Сирии сопровождалось частыми беспорядками, межобщинными столкновениями, стремлением отдельных группировок к безраздельной власти, что приводило к военным переворотам. Провалом закончилось и создание Объединенной Арабской Республики (Сирия – Египет), в котором египетский президент Насер требовал для себя лидирующей роли. Это искусственное образование просуществовало всего 3 года, с 1958 по 1961. И уже в 1963 году власть в Сирии захватила партия Баас и после продолжительной борьбы президентом стал генерал Хафез Асад. Под его руководством Сирия

еще трижды воевала с Израилем, и все три раза проиграла. Тем не менее, власть он удерживал прочно, до своей смерти в 2000 году, когда новым президентом стал его сын Башар.

Примечательная особенность: отец и сын Асады, а также все высшие руководители страны — и гражданские, и военные, и партийные — принадлежат к секте алавитов, хотя, скажем, президентом по конституции должен быть суннит.

Алавиты — их еще называют нусайритами, по имени основателя — довольно странное явление для мусульманской страны. Нусайритское учение переполнено элементами шиизма, христианства и домусульманских астральных культов. Алавиты обожествляют Иисуса, празднуют христианское Рождество и Пасху. Одновременно нусайриты сохранили культ солнца, звезд и луны. Соблюдение основных мусульманских заповедей — молитва, паломничество, пост, обрезание и пищевые запреты — не признается. Во время богослужения нусайриты причащаются хлебом и вином, читают Евангелие.

Возможно, это является фундаментальной слабостью династии Асадов — но пока не предвидится конца их правлению. Сирия под правлением Асада-старшего оккупировала соседний Ливан и вышла из него без особых политических потерь; висит лишь обвинение в убийстве бывшего ливанского премьера Рафика Харири. Но и тут даже в самом крайнем случае найдут, кого принести в жертву. Кроме того, Сирия открыто позиционирует себя в качестве активного члена «общеарабского единства» — отсюда и поддержка террористических организаций, действующих против Израиля, и практически открытые границы с Ираком, через которые свободно проходят сотни боевиков, действующих против союзных войск во главе с Америкой. Сейчас она испытывает серьезное давление со стороны Запада, и нельзя исключить, что Башару Асаду придется менять свою политику. Первый шаг уже сделан — Сирии пришлось срочно уйти из Ливана, куда ее войска вошли еще почти два десятилетия назад. За это время многие крупные ливанские предприятия срослись с сирийскими, и уход Сирии из Ливана серьезно повлиял на экономическую конъюнктуру в обеих странах. Впрочем, Ливан, древняя торговая держава, пока вроде бы справляется с возникшей ситуацией.

Возделывание культурных растений и разведение одомашненных животных началось на территории нынешнего Ливана еще около десяти тысяч лет назад. Потом, на исходе бронзового века, с берегов Эритрейского моря (Персидского залива), если верить Геродоту, пришли семитские племена финикийцев и основали свое государство. Главным занятием жителей стало мореплавание и торговля с соседними странами, в первую очередь с Египтом. Но и не только — в Библии документировано, сколько и чего прислал финикийский царь Хирам для строительства Соломонова храма. Финикийцы основали множество колоний по всему Средиземному морю, мы можем найти остатки их и на Сицилии, и на Мальте, и на любимой немцами Майорке, и на испанском побережье. Карфаген, бывшая финикийская колония на северном побережье Африки, превратился в могучую державу и всерьез угрожал Риму. А Финикия — исчезла неизвестно куда. Однажды мой приятель-арабист познакомил меня с симпатичным рыжеволосым ливанцем. «На самом деле он — финикиец». Совершенно неожиданно оказалось, что этот человек смог подтвердить свое финикийское происхождение и даже получить соответствующий паспорт от ООН — единственный в мире!

Как и все соседние страны Ближнего Востока, Ливан был освобожден от владычества Османской империи лишь после Первой мировой войны. В 1923 году он стал республикой, в 1946 году получил полную независимость. В Ливане, как, пожалуй, нигде в арабском мире, в те годы огромное влияние имели христиане-марониты (одно из направлений православия, правда, находящегося в союзе с Папой Римским). И до сих пор, по сложившейся конституционной традиции, пост президента должен занимать маронит, премьер-министра — суннит, председателя парламента — шиит.

Политическое развитие Ливана проходило достаточно бурно; менялась и демографическая ситуация, отнюдь не в пользу христиан. Экономика, тем не менее, процветала, и Ливан часто называли «ближневосточной Швейцарией». Многочисленные туристы могли кататься на лыжах в хорошо обустроенных горах и через полчаса купаться в теплом море. Так продолжалось до тех пор, пока арафатовская Организация освобождения Палестины, изгнанная из Иордании в 1970 году, не избрала Ливан своей базой. Уже к 1973 году каждым десятым жителем страны был палестинец. Как и везде до этого, они рвались к власти — и в апреле 1975 года в стране разразилась полномасштабная гражданская война. Одновременно палестинцы резко активизировали свои действия против соседнего Израиля; в ответ в марте 1978 года израильская армия перешла границу и уничтожила множество палестинских баз. Рейд был коротким, и

вскоре после него палестинцы вернулись на прежние позиции — с еще большей жадой стрелять по Израилю, чему в немалой степени способствовала Сирия. Лишь в июне 1982 года Израиль решил с этим покончить — 60 тысяч солдат фактически оккупировали Южный Ливан. Им помогало в этом христианское ополчение (почему-то никто не посмотрит в словарь: у нас принято выражение «христианская милиция»). Ошибка командовавшего операцией Ариеля Шарона — он позволил христианским отрядам произвести «зачистку» лагерей беженцев Сабра и Шатила, и, когда тем оказали вооруженное сопротивление, они начали стрелять куда ни попадя. Более тысячи человек погибло, в основном действительно мирных беженцев. Марониты были возбуждены убийством их лидера Башира Жмайеля, избранного президентом, но не успевшего вступить в должность. Вину за Сабру и Шатилу взвалили на Израиль — все были довольны. Израильские войска ушли — их место тут же заняли сирийские соединения, гораздо более мощные. Арафатовцы были еще раньше вынуждены бежать из страны в Тунис, согласившийся их принять, но, как говорится, свято место пусто не бывает — на позиции ООП, в том числе и в знаменитой долине Бекаа, явилась шиитская организация «Хезболла» («партия Аллаха»), вооружаемая и финансируемая Ираном. Израильская операция, победно завершившаяся, ни к чему серьезному так и не привела — шло сменилось на мыло, а Сирия забрала всю власть в Ливане. Так продолжалось до недавних пор — и сейчас, после ухода сирийских войск, Ливан имеет солидный шанс на возрождение.

Мы двигались на запад почти напрямик, не ставя целью охватить весь арабский и мусульманский мир. В стороне остался Египет, где арабские нищие назойливо выдают себя за прямых потомков древнейшей на земле цивилизации; лежащие от него на запад Ливия, страны Магриба — Алжир, Тунис, Марокко; и далее — Мавритания, Мали, Чад, Нигерия в своей северной части, Гвинея, Занзибар и часть Кении; в общем, значительная часть и Азии, и Африки осталась за рамками нашего путешествия. В противном случае оно не закончилось бы никогда, во всяком случае, для читателей нашего журнала и для меня, автора, ввязавшегося в безнадежную затею.

И все-таки — южнее Ливана лежит земля Израиля, древней и великой страны, которой многие века не существовало на нашем глобусе. Теперь она есть — и самим своим существованием определяет наиболее значительный сегмент мировой политики. Прежнее противостояние «Восток — Запад» закончилось с крахом Советского Союза и всей «социалистической системы». На смену ей пришло другое противостояние, но тоже: «Восток — Запад». Элементы этого мы видим каждый день — и в прессе, и на улицах, по которым мы ходим, и в разговорах с друзьями и знакомыми. А все началось — с Израиля...

Израиль, находящийся на Ближнем Востоке, лишь по взрывному темпераменту может быть причислен к Востоку. И по происхождению жителей в момент основания, и по образованию, и по трудолюбию — это европейская страна; другое дело, что она не очень хочет иметь дело с Европой, предавшей евреев, продавшей их Гитлеру за иллюзорный кусочек благополучия.

И все-таки Израилю приходится иметь дело и с Европой, и с Америкой, и со всем миром, арабским в том числе, который поклялся сбросить его в Средиземное море. То самое, по которому путешествовал апостол Павел, донося слово Господа до чуждых народов...

У нас впереди — Европа. И Израиль как часть Европы. Путешествие на запад продолжается.

Продолжение следует

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Алексей АБАКШИН

СТИХИ

* * *

...Гопники, они мешают мне жить...

Майк Науменко

Груба, изменчива, тупа
Непросвещенная толпа вандалов.
Отборный мат, жестокий взгляд,
Бухло, плакат за три рубля
Ван-Дамма.

Безмелодийный рэпа треск,
Вульгарно-однотипный блеск
Подруг-помоек.

Да разномастный звон мобил,
Добытых ночью, без любви,
Но с мордобоем.

Ведь гопник — тоже человек,
Ему же в двадцать первый век
Быть чмо — не в жилу.

Он хочет все как у людей:
Машину, пива и бл...дей, мобилу.

...А кто-то наверху так рад,
Что есть развратный, равнодушный,
Злой, пустоглазый и бездушный,
Зато понятный и послушный,
Такой ручной электорат.

* * *

Погиб магнат — владелец «Челси».
Случился с дядей передоз.
Ну что ж, бывает и такое —
Не надо кушать наркоту.

Спецслужбы потирают руки —
Сумели ключик подобрать.

Они – неглупые ребята,
Ты с ними лучше не шути.

* * *

...Работяги кроют матом,
Набиваясь в электричку.
Тихо дремлет мирный атом
И уже не лезет в бычку.

Юрик обнимает Пашу –
Будет пара идеальной.
Всех чеченов раздолбашить
Вылетает гусь хрустальный.

Долгожданная свобода
Спит, нажравшись, под забором.
Рядом дядя из народа
С пузырем и «Беломором».

В цирке лихо пляшут пони
Вальс-бостон и летку-енку.
Тетя от восторга стонет,
На манеж тараща zenки.

Живописец, перенесший
СПИД, чуму и скарлатину,
Демонстрирует картину:

Вот картина, вот герой,
У героя – геморрой.

Раньше – вина да фокстроты,
Нынче – техно да текила:
Завестись с пол-оборота
Да пустить огня по жилам.

Птица Сириндж* прилетела
Продырявить чье-то тело,
Сделать каждого рабом:
Белый – Бим, а черный – Бом.

Есть бабло – опять кайфуешь,
Нету денег – в стену лбом.
Убивай, воруй, проси,
Только денег – принеси...

Пятиклассники хохочут,
Глядя новости столицы:
Тут опять кого-то мочат,
Там испортили герлицу.

*Сириндж (англ.) – шприц

Вновь астрологи страшат –
Скоро все лишимся крова.
На одних часах – четыре,
На соседних – полвторого.

Чуешь, сивка, к ночи дело?
Закрывай покрепче двери.
Песнь про радость беспредела
Нам провозит группа «Звери»...

Над Москвой сгустилась полночь,
Бьют бухих бомжей куранты.
И выходят на охоту
Демократии гаранты.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Високосный год, пистолет у виска,
За окном, как листва, зеленеет тоска.
Мне чудится – я сын Британской империи,
Но мне почему-то никто не верит.
Пусть не самый крутой, а совсем небольшой,
С древне-скифско-монгольско-славянской душой...

Каждый день в тисках предсказуемых фраз:
Про Госдуму, теракты, наркотрафик и грязь.
А мне хочется, к примеру, махнуть в Ноттингем,
Где я не был и, наверно, не буду совсем.
Побродить там в лесах, где когда-то
Совершал свои подвиги сам Робин Гуд.
Для меня он важней, чем все ваши госпланы,
Сериалы, скандалы и группа «Тату»...

Посидеть на трибуне, поболеть за команду,
Что блистала в Европе, когда я был юн.
Расспросить старожилов про славные годы,
Коим вот уже четверть века в обед...

Почему меня манят чужие просторы?
Почему мне так хочется в Шервудский лес?

Високосный год, зашифрованный код,
Замурованный вход, в никуда пароход,
Без колес тепловоз, самолет без шасси...
И кому рассказать, и кого расспросить?

НАВАЖДЕНИЕ

Выпил с Петровым водки раз
И с той поры лишился покоя.
Глаза закрою – все чудится мне
Юный Набоков на красном коне,

Пьяный Булгаков в арбатском окне,
Пан Жириновский на белом слоне,
Кепчатый мэр на лихом скакуне,
Летов Егор на священной войне,
Белая скатерть в красном вине...

Зря я пил водку с Петровым.

Б А Т Ь К А

Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко

Из-под усов усмешка
Привычно светла и строга.
Батяка не будет пешкой –
Ферзем пойдет на врага!

Может сказать, но и слушать,
Скромно сидя в углу.
Что там какие-то буши –
Махом свернет скулу.

Нет – кабинетным повадкам,
Лыжи, бассейн – О.К.
С клюшкой летит по площадке –
Трус не играет в хоккей!

Пусть улыбается редко –
Столько тревог и забот.
Знаю, что с ним в разведку
Всякий русский пойдет!

Воля народа свята –
Только тревожно вдвойне:
Коль победят «демократы» –
Быть на коленях стране!

В буйстве продажной спеси
Бьется слепая толпа.
Но сквозь содом мракобесья
В Пущу ведет тропа.

Где у ручья оленье
Густо темнеют следы,
Батяка встает на колени –
Выпить живой воды...

Мудро намечены цели,
Поступь легка и тверда.
Есть что-то в нем от Фиделя,
Что победил года!

...Небо над Минском синее,
Скорость – сто двадцать узлов.

Батяка, с тобою Россия!
Батяка, мочи козлов!

* * *

Я поэт, зовусь Абакшин,
От меня вам — сатисфакшн,
От меня вам, ёлы-палы,
Восемь рельс, четыре шпалы,
Телефон Эдиты Пьехи,
Звуки труб, помехи, смехи,
Граммофонную иглу
И Чубайса на колу
(Вместо петушка на палочке —
чтобы скучно не было).

Коротко об авторах

Алексей Абакшин Поэт, прозаик, бард. Родился и живёт в г. Александров Владимирской обл. Автор нескольких магнитоальбомов и множества публикаций в различных изданиях. Лауреат нескольких фестивалей авторской песни и литературного конкурса «Посадская лира». Лучший русскоязычный автор по версии журнала «Литературный вестник» (Воронеж, 2000).

Владимир Жуков Прозаик, публицист. Родился в 1955 году в Харькове. Окончил Московский областной педагогический институт им.Н.К. Крупской и аспирантуру Академии педагогических наук СССР. Кандидат педагогических наук. Работал учителем и завучем в школе, редактором в периодических изданиях. В 1990-х гг. вел авторскую программу на Втором федеральном телеканале (РТР). Постоянный автор журнала «Новое время» (Москва), а также ряда русскоязычных изданий Болгарии, Великобритании и США. Живет в Москве.

Игнатий Ивановский Поэт, переводчик, эссеист. Родился в Ленинграде. Закончил Ленинградский университет. Автор множества книг и публикаций в российской и зарубежной периодике. Лауреат премии Шведской королевской академии. Живёт в Санкт-Петербурге.

Александр Кабанов Поэт, журналист. Родился в 1968 г. в Херсоне (Украина). Окончил факультет журналистики Киевского госуниверситета. Автор четырёх книг стихов и множества публикаций в журнальной и газетной периодике. Победитель конкурса, проходившего под эгидой американского Пен-клуба и конкурсов НЛС, первый лауреат премии Юрия Долгорукого в области поэзии и интернет-премии Союза писателей России. Живёт в Киеве.

Мария Киселёва Родилась в 1986 г. в Москве. Студентка третьего курса филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Роман «Разные миры» был опубликован в московском журнале «Я и все». Два цикла рассказов напечатаны в нью-йоркском журнале «Слово\Word». В настоящий момент стипендиат Союза российских писателей. Живёт в Москве.

Марио Корти Писатель, публицист, радиожурналист. Родился в 1945 г. в Треццо-суль-Адда под Миланом. Детство и отрочество провел в Аргентине. В 1961-63 гг. учился в Миланской консерватории. Работал на заводе в Германии, переводчиком на ФИАТе в Турине и на фирме Пирелли в Милане. В 1972-75 гг. переводчик в посольстве Италии в Москве. В 1977 г. – организатор Сахаровских слушаний в Риме. С 1979 г. работал на радио «Свобода» в Мюнхене, с 1995 г. – в Праге. Аналитик, начальник отдела самиздата, редактор и издатель еженедельника «Материалы самиздата». В 1990-1994 гг. – заместитель директора, затем директор Отдела информационных ресурсов НИИ РС-РСЕ. В 1998-2003 гг. – директор Русской службы. Автор множества публикаций о советском диссидентском движении, двух книг прозы, а также радиопередач на исторические, историко-музыкальные и общекультурные темы. Живёт в Артенье (Италия).

Евгений Кочанов Публицист-международник. Родился в 1943 году. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. Ломоносова. С 1968 года – сотрудник международного отдела Всесоюзного радио, с 1976 по 1993 г. – корреспондент Советского (впоследствии Российского) телевидения и радио в странах Южной и Юго-Восточной Азии, печатался в московской и зарубежной периодике. С 2000 года живет в Германии (г. Бонн), регулярно печатается в русскоязычной периодике. Член Международного союза журналистов.

Юрий Кудлач Прозаик, журналист. Родился в 1944 году в Ташкенте. Как пианист окончил консерваторию в Одессе. Преподавал в различных консерваториях бывшего Советского Союза и Германии. Работал редактором большой газеты. Повести и рассказы публиковались в России, Германии, Украине, Казахстане и Соединённых Штатах. Живёт в Ганновере.

Михаил Кураев Прозаик, литературовед, публицист, кинодраматург. Родился в 1939 г. в Ленинграде. В 1961 году окончил театроведческий факультет Ленинградского ин-та театра, музыки и кинематографии. В 1961-1988 гг. работал редактором на киностудии «Ленфильм». Автор множества книг и журнальных публикаций. Книги переведены на множество иностранных языков и изданы во многих странах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе Премии правительства Санкт-Петербурга (1993), РФ им. Довлатова (1995), премии журнала «Новый мир» (1996), Государственной премии России (1998). С 1995 г. сопредседатель СРП. Живёт в Санкт-Петербурге.

Юрий Малецкий Прозаик. Родился в 1952 году в Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета и заочное отделение искусствоведческого факультета Ленинградской академии художеств. С 1977 года по 1996 год жил в Москве. С 1996 года – в Германии. В 1995 году заведовал отделом прозы журнала «Новый мир». Первая публикация – в 1986 году в парижском «Континенте» под редакцией В. Максимова – повесть «На очереди» под псевдонимом Юрий Лапидус. С 1990 года – публикации в «Знамени», «Новом мире», «Дружбе народов», «Континенте» и др. толстых журналах. Неоднократно номинирован на Буковскую премию, в 1997 году вошел в шорт-лист. Автор двух книг, которые вышли в московских издательствах «Книжный сад» и «Вагриус». Живёт в Аугсбурге.

Александр Радашкевич Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, детство провёл в Уфе. В 1978 г. эмигрировал, жил сначала в США, где работал в библиотеке Йельского университета, затем переехал во Францию, работал в редакции «Русской мысли», в 1991-97 гг. был личным секретарём великого князя Владимира Кирилловича, затем его семьи. С конца 70-х гг. широко печатался в эмигрантской периодике, с конца 80-х – в русской. Живёт в Париже.

Майя Туровская Писатель, культуролог, сценарист, театровед, киновед, классик отечественной театральной и кинокритики. Родилась в г. Харькове, с детских лет жила в Москве. В 1947 г. закончила филологический факультет МГУ, в 1948 г. – театроведческий факультет ГИТИСа, доктор искусствоведения. Автор нескольких киносценариев (в т.ч. соавтор всемирно известного «Обыкновенного фашизма»), множества книг, журнальных и газетных публикаций по истории и проблемам театра и кино. Лауреат международной премии Станиславского. Живёт в Мюнхене.

Марк Харитонов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1937 г. в Житомире (Украина). В 1960 году окончил историко-философский факультет МГПИ. Работал учителем, ответственным секретарём в многотиражной газете, редактором в издательстве. Переводил с немецкого Г. Гессе, С. Цвейга, Э. Канетти, Ф. Кафку и др. Автор множества книг и журнальных публикаций. Лауреат Буковской премии за 1991 год. Живёт в Москве.

Борис Шапиро Поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1944 г. в Москве. Окончил физический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова. Автор пяти книг стихов, поэм и множества публикаций в российской и немецкой периодике. Лауреат четырех литературных премий. С 1975 г. живет в Германии (Берлин).

Сергей Шелковый Поэт, эссеист. Родился в 1947 году во Львове. Окончил инженерно-физический факультет и аспирантуру Национального технического университета «ХПИ» (Харьков). Кандидат технических наук. Работает доцентом в этом же университете. Автор двенадцати книг стихов и эссе, вышедших в свет в Москве, Киеве, Харькове. Лауреат литературных премий Б. Слуцкого и Н. Ушакова. Стихи и эссеистика публиковались в России, Украине, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиле, США. Живёт в Харькове.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 12.08.2006

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 952 973 0 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в восьмом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Ефима Курганова (Париж)
Хаима Соколина (Иерусалим)
Людмилы Агеевой (Мюнхен)
Андрея Кучаева (Мюльхайм-на-Руре)
Михаила Блехмана (Торонто)

Стихи

Веры Павловой (Москва)
Марины Палей (Голландия)
Александра Медведева (Москва)
Владимира Берязева (Новосибирск)
Анны Павловской (Москва)

Публицистику и эссеистику

Александра Мелихова (Санкт-Петербург)
Самсона Мадиевского (Аахен)
Евгения Кочанова (Бонн)

и другие интересные материалы

